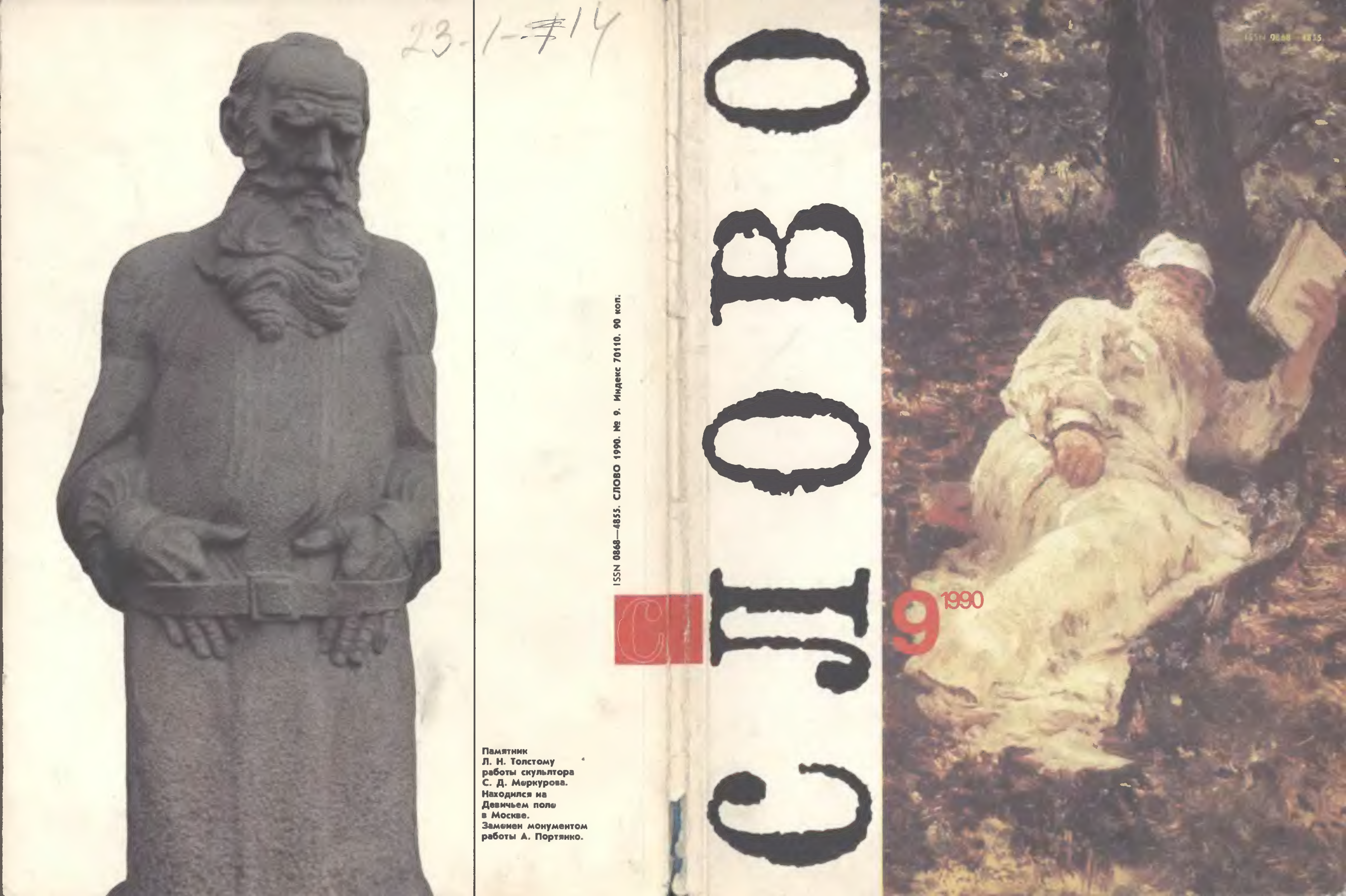


ISSN 0868—4855. СЛОВО 1990. № 9. Индекс 70110. 90 коп.

Памятник
Л. Н. Толстому
работы скульптора
С. Д. Меркурова.
Находился на
Девичьем поле
в Москве.
Заменен монументом
работы А. Портянко.



«Вообще дом выходит очень хорош. А уж покой — чудо. Мне выходить не хочется из флигеля — так тихо, хорошо, деревья шумят».

1882 год, сентября 12.
Москва. Воскресенье, утро.
(Из письма Л. Н. Толстого С. А. Толстой).

Фото ПАВЛА КРИВЦОВ.

О встрече И. А. Бунина с Л. Н. Толстым в Хамовниках читайте на стр. 72.

ЛЕВ ТОЛСТОЙ

ВЕРЬТЕ СЕБЕ

(Обращение к юношеству)

Верьте себе, выходящие из детства юноши и девушки, когда впервые поднимаются в душе вашей вопросы: кто я такой, зачем живу я и зачем живут все окружающие меня люди? и главный, самый волнительный вопрос, так ли живу я и все окружающие меня люди? Верьте себе и тогда, когда те ответы, которые представятся вам на эти вопросы, будут несогласны с теми, которые были внушены вам в детстве, будут несогласны и с той жизнью, в которой вы найдете себя живущими вместе со всеми людьми, окружающими вас. Не бойтесь этого разногласия; напротив, знайте, что в этом разногласии вашем со всем окружающим выразилось самое лучшее, что есть в вас, — то божественное начало, проявление которого в жизни составляет не только главный, но единственный смысл нашего существования. Верьте тогда не себе, известной личности, — Ване, Пете, Лизе, Маше, сыну, дочери царя, министра или рабочего, купца или крестьянина, а себе, тому вечному, разумному и благому началу, которое живет в каждом из нас и которое в первый раз пробудилось в вас и задало вам эти важнейшие в мире вопросы и ищет и требует их разрешения. Не верьте тогда людям, которые с снисходительной улыбкой скажут вам, что и они когда-то искали ответов на эти вопросы, но не нашли, потому что нельзя найти иных, кроме тех, которые приняты всеми.

Не верьте этому, а верьте только себе, и не бойтесь несогласия со взглядами и мыслями людей, окружающих вас, если только несогласные с ними ответы ваши на представляющиеся вам вопросы основаны не на ваших личных желаниях, а на желании исполнить назначение своей жизни, исполнить волю той силы, которая послала вас в жизнь. Верьте себе, особенно когда ответы, представляющиеся вам, подтверждаются теми вечными началами мудрости людской, выраженной во всех религиозных учениях и в наиболее близком вам учении Христа в его высшем духовном значении.

Помню, как я, когда мне было 15 лет, переживал это время, как вдруг я пробудился от детской покорности чужим взглядам, в которой жил до тех пор, и в первый раз понял, что мне надо жить самому, самому избирать путь, самому отвечать за свою жизнь перед тем началом, которое дало мне ее. Помню, что я тогда, хотя и смутно, но глубоко чувствовал, что главная цель моей жизни это то, чтобы быть хорошим, в смысле евангельском, в смысле самоотречения и любви. Помню, что я тогда же попытался жить так, но это продолжалось недолго. Я не поверил себе, а поверил всей той внушительной, самоуверенной, торжествующей мудрости людской, которая внушалась мне сознательно и бессознательно всеми окружающими. И мое первое побуждение заменилось очень определенными, хотя и разнообразными желаниями успеха перед людьми, быть знатным, ученым, прославленным, богатым, сильным, то есть таким, которого бы не я сам, но люди считали хорошим.

Я не поверил себе тогда, и только после многих десятков лет, потраченных на достижение мирских целей, которых я или не достиг или которых достиг и увидел бесполезность, тщету, а часто и вред их, я понял, что то самое, что я знал 60 лет тому назад и чему не поверил тогда, и может и должно быть единственной разумной целью усилий всякого человека.

А какою иною, более радостною для себя и более полезной людям могла бы быть моя жизнь, если бы я тогда, когда голос истины, Бога, в первый раз заговорил в не подвергшейся еще соблазнам душе моей, поверил бы этому голосу и отдался бы ему?

Да, милые юноши, искренно, самостоятельно, не под влиянием внешнего внушения, а самостоятельно и искренно пробудившиеся к сознанию всей важности своей жизни, да, не верьте людям, которые будут говорить вам, что ваши стремления только неисполнимые мечты молодости, что и они так же мечтали и стремились, но что жизнь скоро показала им, что она имеет свои требования и что надо не фантазировать о том, какая бы могла быть наша жизнь, а стараться наилучшим образом согласовать свои поступки с жизнью существующего общества и стараться только о том, чтобы быть полезным членом этого общества.

Не верьте и тому особенно усилившемуся в наше время опасному соблазну, состоящему в том, что высшее назначение человека — это содействие переустройству существующего в известном месте, в известное время общества, употребляя для этого всевозможные средства, даже и прямо противоположные нравственному совершенствованию. Не верьте этому: цель эта ничтожна перед целью проявления в себе того Божественного начала, которое заложено в душе вашей. И цель эта ложна, если она допускает отступления от начала добра, заложенного в душе вашей.

Не верьте этому. Не верьте тому, что осуществление добра и истины невозможно в душе вашей. Такое осуществление добра и истины не только не невозможно в душе вашей, но вся жизнь, и ваша, и всех людей, только в одном этом, и только это осуществление в каждом человеке ведет не только к лучшему переустройству общества, но и ко всему тому благу человечества, которое предназначено ему и которое осуществляется только личными усилиями каждого отдельного человека.

Да, верьте себе, когда в душе вашей будут говорить не желания превзойти других людей, отличиться от других, быть могущественным, знаменитым, прославленным, быть спасителем людей, избавителем их от вредного устройства жизни (такие желания часто подменивают желание добра), а верьте себе, когда главное желание вашей души будет то, чтобы самому быть лучше, я не скажу: совершенствоваться, потому что в самосовершенствовании есть нечто личное, удовлетворяющее самолюбие, а скажу: делаться тем, чем хочет тот Бог, который дал нам жизнь, открывать в себе то вложенное в нас, подобное ему, начало, жить по-Божьи, как говорят мужики.

Верьте себе и живите так, напрягая все свои силы на одно: на проявление в себе Бога, и вы сделаете все, что вы можете сделать и для своего блага, и для блага всего мира.

Ищите царствия Божия и правды его, а остальное приложится вам. Да, верьте себе в то великой важности время, когда в первый раз загорится в вашей душе свет сознания своего Божественного происхождения. Не тушите этот свет, а всеми силами берегите его и давайте ему разгореться. В этом одном, в разгорании этого света — единственный великий и радостный смысл жизни всякого человека.

О СОЗНАНИИ ДУХОВНОГО НАЧАЛА

I. *Жизнь есть сознание неизменного духовного начала, проявляющегося в пределах, отграничивающих это начало от всего остального.*

II. Пределы этого отграниченного от всего остального начала представляются человеку движущимся телом своим и других существ.

III. Отдельность, несливаемость, непроницаемость одного существа другим может представляться только телом (материей), движущимся независимо от движения других существ.

IV. И потому, как телесность и пространство, так и движение и время суть только условия возможности представления отделенности нашего духовного существа от всего остального, т. е. от не ограниченного, не телесного, не пространственного и не движущегося; не временного духовного существа.

V. И потому жизнь наша представляется нам жизнью пространственного тела, движущегося во времени.

VI. Нам представляется, что наше тело, составляя одну часть бесконечного в пространстве телесного мира, происходя от родителей, предков, живших прежде нас в бесконечном времени, получает начало в утробе матери, рождается, растет, развивается, потом слабеет, сохнет и умирает, т. е. теряет свою прежнюю телесность, переходя в другую, перестает двигаться и — умирает.

VII. В действительности же истинную жизнь нашу составляет только сознание того духовного существа, которое отделено от всего остального и заключено в пределы тела и движения.

VIII. Духовное существо это всегда равно само себе и не подлежит изменениям; нам же кажется, что оно растет и расширяется во времени, т. е. движется. Движутся же только пределы, в которых оно находится; нам это кажется так же, как кажется, что движется месяц, когда тучи бегут через него.

IX. Жизнь есть жизнь только тогда, когда проявляется сознание, когда из-за пределов выступает сознание. И оно всегда есть. Те промежутки отсутствия сознания, которые нам кажутся, нам кажутся только тогда, когда мы смотрим на движение пределов сознания в других существах. Когда же мы смотрим из себя, мы знаем, что сознание одно и не изменяется, не начинается и не кончается.

X. Жизнь представляется сначала человеку материально-пространственной и движущейся, временной. Человек признает сначала своей жизнью те пределы, представляющиеся ему движущейся материей, которые отделяют его от всего, и полагает, что его жизнь материально пространственна и самодвижно-временна, и в движении этой материи во времени видит свою жизнь. В прекращении же движения этой материи он видит прекращение своей жизни.

XI. В этой уверенности человека поддерживает наблюдение над другими людьми, постоянно представляющимися ему материальными в пространстве и движущимися во времени. Наблюдение непрерывности движения материи в других существах заставляет человека думать, что и его жизнь непрерывно движется во времени, хотя внутренно он не только не испытывает этой непрерывности движения, но испытывает одно неподвижное, всегда равное себе сознание, которое только для внешнего наблюдения разделяется промежутками сна, сумасшествия, страстей, — в действительности же всегда одно.

XII. Так что люди приписывают два различных значения слову «жизнь». Одно значение есть понятие движущейся, отделенной от всего остального материи, признаваемой человеком собою, и второе — неподвижное, всегда равное себе духовное существо, которое человек признает собою.

XIII. Понятия эти кажутся различными, но в сущности: это не два, а только одно понятие: понятие сознания себя *духовным существом, заключенным в пределы.* Признание жизнью пространственного и временного существования отделенного существа есть только недоумянность. Сознание себя отделенным от всего существом возможно только для духовного существа. И потому жизнь всегда есть жизнь духовного существа. Духовное же существо не может быть ни пространственно, ни временно.

XIV. И потому признание всей жизнью материального временного существования человека есть ошибка мысли, есть признание части за целое, последствия за причину, — есть такая же ошибка мысли как признание силою, движущею колесом мельницы, падающей струи воды, а не реки.

XV. Различие между признанием жизнью духовного неизменного начала, а не проявления его в тех пределах, в которых оно проявляется, всегда было делаемо всеми религиозными учителями. На этом разъяснении различия двух понятий жизни основано учение евангелия об истинной жизни: жизни духа и ложной жизни: жизни плотской, временной.

XVI. Разъяснение это очень важно потому, что из сознания того, что истинная жизнь заключается только в Духовном существе, вытекает все то, что называют добродетелью, и что дает наибольшее благо людям. Из этого сознания вытекает то, что составляет основу всех добродетелей: вытекает любовь, т. е. признание собою жизни всех существ мира.

XVII. Из этого же сознания, которое и есть не что иное, как то, что мы называем совестью, вытекает воздержание, бесстрашие, самоотвержение, потому что только при воздержании, бесстрашии, самоотвержении возможно исполнение основного требования сознания: признание собою других существ, т. е. любви.

XVIII. Человек, познавший свою жизнь, подобен (кажется, так говорил Паскаль) человеку рабу, который вдруг узнает, что он царь.

Из редких материалов Л. Н. Толстого. Публикацию нам любезно предложил писатель, библиофил из Ленинграда В. Соловьев.

100-томный Толстой

Целая программа академических, то есть исчерпывающе полных, изданий классиков русской литературы XVIII—XX веков принята в двух институтах — московском Институте мировой литературы им. А. М. Горького и ленинградском Институте русской литературы. Мы, наконец, вполне осознали, что для подлинного исследования, толкования нужно исчерпывающее знание. Сколько историко-литературных концепций строилось на зыбкой почве одностороннего подходов!

И вот Толстой, новый Толстой. Зачем, почему? Ведь было 90 томов, выпущенных в 1928—1958 годах. Правда, теперь 90-томник стал даже не библиографической, а просто недоступной редкостью (выходил немыслимо малым тиражом — 5 тыс. экз.). Кроме того, он уже не устраивает нас, кажется недостаточным, хотя приходится по-прежнему удивляться, какая грандиозная задача — издать всего Толстого — была тогда поставлена и как много сделано было за сравнительно короткий срок. Но рукописи Толстого не были напечатаны полностью, а то, что давалось, чаще всего дробилось на фрагменты применительно к окончательному тексту. Между тем в истории художественного слова важно не только оно само, но и окружающий контекст: движение образов, композиция, сюжет. Все это можно понять лишь в исчерпывающей публикации, построенной по хронологическому принципу и воссоздающей историю текста.

Существует много легенд о том, как работал Толстой. Например, в том, что Софья Андреевна семь раз переписывала «Войну и мир». На самом деле все было иначе: некоторые сцены переделывались по нескольку раз, другие — десятки раз. Все это читатель увидит, когда будут опубликованы все сохранившиеся рукописи: их в случае с «Войной и миром» (рукописей и корректур) — более 5 тысяч листов. Скажут: это нужно не всем. Конечно, хотя нужно очень многим: филологам всех рангов, преподавателям, студентам, да и просто читателям, глубоко интересующимся отечественной словесностью. Завершающееся сейчас 30-томное издание Ф. М. Достоевского завоевало авторитет во всем мире, потому что все напечатано полностью, включая черновые записи, наброски, фрагменты, подготовительные материалы. Допущена, пожалуй, лишь одна ошибка: одинаковый тираж для всех томов.

С Толстым положение еще более сложно: рукописей сохранилось великое множество. На 18 томов художественных произведений, куда войдет все оконченное и незавершенное автором, предполагается не менее 20 томов других редакций и вариантов. Естественно, что эти 18 основных и 20 дополнительных томов составят две серии, с разным тиражом, различными комментариями и т. п. Читатель вправе будет подписаться на одну из серий или на обе вместе.

Современная текстология требует проверки печатного текста по всем сохранившимся источникам. Это условие было соблюдено в 90-томнике весьма относительно. Прежде всего потому, что нужна слишком большая и трудоемкая работа. Рядом с образцами такого рода (например, подготовка Н. К. Гудзием текста повести «Крейцерова соната», пьесы «Власть тьмы», трактата «Так что же нам делать?») соседствуют тома, где проверки по рукописям не было вовсе: просто не успели... Случились даже такие казусы: «Война и мир» печаталась в составе 90-томника дважды — на рубеже 30-х и затем в конце 30-х годов, по разным прижизненным текстам!

Дневникам Толстого в 90-томнике повезло более всего. Серьезнейшие специалисты, под строгим наблюдением В. Г. Черткова, прочитывали и комментировали их. Напечатано все, даже то, что сам Толстой вымарал и не хотел видеть когда-нибудь опубликованным (резко отрицательные записи о жене и детях). Не воспроизводились только ругательные, нецензурные слова — как это принято в нашей стране, в отличие от современной мировой практики. Надеемся, что эта добрая традиция сохранится и в новом издании. Впрочем, в записных книжках молодого Толстого были оставлены за бортом его «хозяйственные» записи. Это было сделано напрасно: следует, конечно, напечатать полностью весь текст.

Эпистолярное наследие громадно: за свою долгую жизнь он написал более 10 тысяч писем, а получил около 50 тысяч. Все, что удалось собрать, было напечатано, составив 31 том (59—89). Но за прошедшие 30 с лишним лет найдено немало нового. Например, благодаря сотрудничеству с американскими славистами (проект «Толстой и США») обнаружены неизвестные раньше письма Толстого к переводчице И. Хэпгуд, последователю его учения Э. Кросби, английскому биографу и переводчику Э. Мооду, архив которого теперь находится в США. Все это войдет в новое издание, где писем будет не менее 30 томов.

В Институте мировой литературы создана Толстовская группа под руководством К. Н. Ломунова, работа идет полным ходом, и можно надеяться, что не позднее 1994 года первые книги нового издания выйдут в свет.

Л. ОПУЛЬСКАЯ-ГРОМОВА,
доктор филологических наук,
зав. Отделом русской классической литературы ИМЛИ
им. А. М. Горького.

Навернов, наши читатели обратили внимание, что уже второй номер в этом году имеет посвящение. А готовимся еще в октябре отметить бунинский юбилей, декабрьский же номер хотим посвятить Ф. М. Достоевскому...

К сожалению, духовное падение общества всегда начинается с утраты духовного родства, с потери интереса к отечественным духовникам. Великие книги Пушкина, Толстого, Достоевского стали школьными учебниками, несколько утратив свое былое назначение как учебники жизни. Что, конечно, несправедливо.

Среди гигантов русской и мировой культуры, несомненно, особое место занимает Лев Николаевич Толстой. Его имя, равно как и имена Пушкина, Достоевского, достаточно часто произносилось в последние семьдесят лет. Но это вовсе не предполагает, что нам открылось целиком, во всей полноте и ясности величайшее художественное, философское, историческое наследие гениев. Наоборот, многое как раз скрывалось, многое не включалось в популярные, массовые издания. Мы узнавали только то, что нам считали необходимым сообщить. Теперь потихоньку скрытое становится доступным. И мы посчитали, что должны активно помочь нашим читателям открыть Толстого.

Вместе с сотрудниками музея-усадьбы «Ясная Поляна» и читателями нашего журнала — поклонниками Л. Н. Толстого мы подготовили материалы, вошедшие в этот номер. Такие номера мы хотим сделать традиционными (каждый девятый номер), во всяком случае пока будет очевидной новизна толстовских публикаций. А потому просим наших читателей высказаться о номере этого года и активно, с вашей помощью, начнем готовить новый, уже 1991 г.

ВЕЧНЫЕ СПУТНИКИ



Лев Толстой

П Р И М Е Ч А Н И Е

Предлагаем вниманию издателей и читателей отрывок из новой книги «Дети Толстого», только что вышедшей в парижском издательстве «Перрэн». Ее автор — Сергей Михайлович Толстой, внук великого русского писателя. Книга написана на французском языке — Сергей Михайлович с двадцатых годов живет во Франции. Врач по образованию, С. М. Толстой является президентом ассоциации «Друзья Толстого» в Париже.

В основе книги — переписка Льва Николаевича Толстого со своими детьми, личные воспоминания автора, который поддерживает тесные отношения со многими своими родственниками.

Перевод главы «Возвращение в Россию» осуществлен научным сотрудником музея-усадьбы Л. Н. Толстого в Ясной Поляне Аллой Полосиной.

О Т Р Е Д А К Ц И И

СЕРГЕЙ ТОЛСТОЙ

ВСТРЕЧА

Я вновь обрел Россию, о которой никогда не переставал думать, в 1960 году. Весь мир в этом году отмечал 50-летнюю годовщину со дня смерти Толстого.

В Венеции на средства комитета «Культура и свобода» под покровительством графа Чини был организован международный симпозиум. В нем приняли участие французские и иностранные писатели, советские ученые.

Как генеральный секретарь Парижского медицинского общества, я, под предлогом изучения системы здравоохранения, вызвался сопровождать нашу делегацию на свою бывшую родину. Мы встречались с медицинскими работниками, знакомились с медицинским оборудованием и уровнем лечения, все это в целом нас глубоко разочаровало. Главной же целью моей поездки было побывать на родине, встретиться с родственниками и с двумя еще здравствующими секретарями моего деда.

Я был взволнован до глубины души с самых первых минут моего пребывания в Москве. В старой гостинице «Метрополь», что неподалеку от Большого театра, я не спал всю ночь. Слишком много впечатлений, слишком много воспоминаний.

На следующий день я пошел пешком на Арбат, место жительства старой московской аристократии, который напоминал парижский пригород Сен-Жермен, только Арбат был скромнее и очаровательнее. Арбат сильно изменился. Недоставало многих старых церквушек и милых часовен. Некоторые двух-трехэтажные дома, выкрашенные в зеленые и желтоватые тона, были еще целы, при домах сохранились просторные внутренние дворики, где когда-то размещались конюшни и даже хлева.

Во времена молодости моей матери было принято держать собственную корову, которую каждую осень пригоняли из деревни, в прежние времена не принято было покупать молоко неизвестного происхождения. Каждое утро пастух свистел в рожок, собирал небольшое стадо и гнал его на пастбище на окраину города.

Я нашел улицу и дом, где мы жили, но не посмел переступить порог квартиры из страха стереть те первые воспоминания о спальне, в которой мы жили с братьями, Петей и Мишей.

Каждый вечер наша кормилица, няня, купала нас по очереди. Каждый раз я с удовольствием погружал деревянный термометр и целлулоидного лебедя в воду, чтобы наблюдать, как они внезапно выскакивают из мыльной воды на поверхность, когда я отпускал их. После растирания жесткой перчаткой (этой процедуры мы очень боялись), нас укладывали в постель, накрывали красными, как наши тела, одеялами. А чашка липового чая с медом, который золотистой лентою лежал спиралью на дне чашки, довершала наше блаженство. Стоя на коленях перед маленькой иконой преподобного Сергия, висящей в углу, перед которой горела красновато-коричневая с золотым отливом лампада, я читал «Отче наш» и молил своего святого вступиться перед Богом за меня и послать здоровья и счастья всем людям, особенно моим родителям, братьям и сестрам, которых я перечислял по именам. Няня тушила свет, и долгий день кончался. Мигающий свет лампады отражался на серебряном окладе иконы, освещая коричневый лик святого Сергия.

Пройдя мимо домов, где жили поэт Лермонтов и композитор Глазунов, я рискнул войти в дом, стоящий поблизости на Большой Молчановке, 20, это был дом моих деда и бабки по материнской линии. Этот особняк, купленный по случаю их свадьбы, состоял из двадцати комнат, расположенных вокруг большой столовой, высотой в два этажа, освещавшейся через стеклянный потолок, на котором трепыхались разноцветные воздушные шары, которые мы выпускали, возвращаясь с прогулки. Обеденный стол, за которым могло разместиться тридцать человек, один раз в неделю выносили из столовой, для уроков танцев.

Бывший танцовщик из Большого театра приходил нас учить танцевать польку, вальс и мазурку.

В этом зале устанавливалась новогодняя елка. Перед тем как ее зажечь, нас отправляли в соседнюю комнату, обитую голубым шелком, где стояла мебель из карельской березы. По случаю праздников мальчиков наряжали в русские блузы или матроски, девочкам надевали кисейные платья, а в косы им заплетали разноцветные ленты, и мы ждали лихорадочно перед дверью с двойными створками. Наконец, дверь открывалась, раздавалась музыка, и чувство восторга охватывало нас перед елкой, достающей макушкой до потолка, сияющей сотнями огней, украшенной разноцветными гирляндами, множеством мешочков с финиками, изюмом, конфетами, печеньем всех сортов, папильотками, хлопушками с сюрпризом. Под блистающей елкой стоял дед Мороз, подзывал нас по очереди и раздавал подарки, некоторым с особыми символическими знаками.

Дом был неузнаваем, в состоянии полного упадка, обои свисали клоками, комнаты перегорожены продырявленными перегородками или ширмами; в доме жило несколько семей. Из комнат выглядывали старушки и какой-то бледный юноша с лицом, искаженным тиком. «Да, это был дом Глебовых... Видно, важные были люди. К ним несколько раз приезжал царь». Народная молва идеализирует прошлое, особенно, если настоящее беспросветно. Это была полуправда, не царь приезжал, а его дядя, великий князь Сергей Александрович, друг моей бабушки, губернатор Москвы, в самом деле не раз к ней приезжал.

Зато дом Толстых, превращенный в музей, остался неизменным. Все вещи стояли на прежних местах, как будто семья только вчера покинула дом. В столовой был накрыт стол, а в спальнях убраны постели. Ученические тетради моего отца лежали на столе, и его студенческий мундир висел в шкафу. На письменном столе деда около чернильницы лежала ручка; она как будто отдыхала от руки Толстого, от писания бесчисленных страниц неразборчивым почерком.

Через несколько дней мы были в Ясной Поляне. Дом Толстого производил то же впечатление, что и московский — недавнего присутствия семьи. Мебель, двадцать тысяч книг, картины, семейные реликвии — свидетели жизни нескольких поколений нашего семейства, все было на прежних местах и сохранялось благодаря персоналу Ясной Поляны, ставшей музеем после Революции, и благодаря старанию моей двоюродной сестры Софьи Толстой, вдовы поэта Сергея Есенина, которой удалось в начале войны всё, что возможно, перевести за Урал. Инициатива более, чем удачная, так как немцы, оккупировавшие музей-усадьбу, за две недели все разграбили. (На самом деле Ясная Поляна была оккупирована немцами в течение 45 дней. — Прим. переводчика.)

Больше всего в жизни я боялся тогда услышать об оккупации Ясной Поляны, и все же я услышал об этом по радио в 1941 году. Странные сюрпризы готовит нам иногда случай. Через несколько лет после войны я встретил командира немецкого полка, который оккупировал Ясную Поляну. В тот год я был в гостях у своих друзей князя Павла Меттерниха и его жены Татьяны, урожденной Васильчиковой, в замке Иоханнисберг, принадлежавшем когда-то знаменитому канцлеру. Во время обеда, на котором присутствовали видные политические деятели и промышленники из Западной Европы, местные аристократы, один из гостей, граф, имя которого я сейчас не помню, настаивал на знакомстве со мной, хотел рассказать о своем пребывании в Ясной Поляне с полком, которым он командовал. Он говорил об очаровании нашего имения, о поражении немецкой армии под Тулой, расположенной в пятнадцати километрах от Ясной Поляны. «Около двадцати моих бравых soldaten погибли в боях под Тулой, — добавил он с грустью. — Я приказал похоронить их в имении. Знаете, ваше имение очень красиво и поэтично»... Я стал бледным как полотно, комок застрял в горле. «Хотел бы добавить несколько слов, — проговорил я с трудом. — Известно ли вам, что крестьяне после вашего отступления немедленно перезахоронили тела ваших бравых солдат в общей могиле, так как они осквернили это место? А другие ваши солдаты, те, которых не убили в сражении, они перед отступлением подожгли наш дом по вашему приказу. Благодаря крестьянам, которых вы не успели повесить за время оккупации, пожар был потушен. Прощайте, я надеюсь, мы с вами больше никогда не увидимся».

Возвращение в дом наших предков после сорока пяти лет отсутствия было чрезвычайно волнующим, но роль гида, которую я должен был исполнять для своих коллег врачей, приехавших со мной, немного сгладила волнение. Я снова увидел, как и в былые времена, в большом зале самовар, царящий на накрытом обеденном столе: портреты предков, которые так интриговали меня в детстве, висели на своих прежних местах. В спальне моей бабушки, в правом углу ее просторной комнаты, висела большая икона Христа Спасителя, доставшаяся ей в наследство от бабушки Льва, урожденной княгини Горчаковой, там же стоял секретер, над которым она в течение стольких лет до глубокой ночи после многочисленных забот дня склонялась, расшифровывая и переписывая своим аккуратным и четким почерком тысячи страниц своего мужа...

Выбор книг в рабочем кабинете, конечно, не случаен. Лев Толстой продолжал искать в них ответы на вопросы, которые он задал себе в юности, о смысле жизни и как сделать всех людей счастливыми.

Любя до бесконечности русский народ, особенно крестьян, он находил в пословицах вершину русской народной мудрости. «Чтобы понять жизнь, — писал он, — я должен понять жизнь простого трудового народа». Учение Генри Джорджа, все сочинения которого он прочел, включая «Прогресс и бедность», было, по мнению Толстого, единственной возможностью уничтожить социальное неравенство через введение единого налога на земельную собственность. В «Опытах» Монтеня он ценил прежде всего то, что ему самому было близко: познание самого себя, возвышенное чувство, которое проходит через все творчество этого мыслителя, чувство родины. Монтень писал: «До глубины души любя Францию, я уважаю всех людей и обнимаю поляка так же, как и француза». Наконец, слова Монтеня «философствовать — это значит учиться умирать» были особенно близки Толстому.

Шопенгауэр интересовал Толстого всю жизнь. Заканчивая «Войну и мир», в эпилоге (существует 42 варианта эпилога) он ссылается на работу немецкого философа «Мир как воля и представление», чтобы поразмышлять о принципе свободы воли в области истории. Кант и Шопенгауэр отрицали свободу человека, допуская свободу его воли. Для Толстого, наоборот, «выражение воли исторических личностей» существует в зависимости от случайности событий внешнего мира. Интерес Шопенгауэра к восточным философам сближает его с Толстым, но Толстому был чужд пессимизм восточных философов, которые не знали другого убежища для человека, как нирвана философов Индии. Толстой, наоборот, верил в человека. Он считал, что самосовершенствование и любовь к ближнему — основа всех великих религий и основа проповедей всех пророков, начиная с Будды, в противовес всем политическим доктринам, — было единственным выходом для человечества. Натура глубоко религиозная, но освобожденная от мистицизма, Толстой, в письме толстовцу Соколову, отбывавшему срок в тюрьме за свои взгляды, писал в июне 1909 года, что признает за Шопенгауэром заслугу понять разумом смысл жизни и отбросить все выдумки и отклонения всех религий. И все-таки, по мнению Толстого, христианская религия, освобожденная от мистики, позволяет ближе, чем какая-либо религия, приблизиться к Богу, а значит, к Любви.

В связи с вышесказанным интересно отметить, что последней книгой, которую Толстой перечитывал, были «Братья Карамазовы»: книга осталась открыта на главе, которая называется «О аде и адском огне, рассуждение мистическое».

Отношение Толстого к Достоевскому, с которым он ни разу не встретился, было двойственным. Он восхищается «Записками из мертвого дома», но критиковал стиль и особенно концепцию персонажей его романов, считая

их слишком надуманными и искусственными; но талант Достоевского он признавал и плакал, когда узнал о смерти Достоевского.

В главе «О аде и адском огне» Достоевский излагает размышления старца Зосимы о том, что человек рожден для деятельной любви и для превращения жизни своей в подвиг любви.

Я далек от претензии разгадать мысли Толстого, рожденные чтением этих мистических и пророческих строк о страданиях в аду грешников, особенно гордецов, которые познали всё за свою земную жизнь, но никогда не могли любить. Что значит Бог для Толстого? Об этом он говорит постоянно. Бог — это любовь? А ад? Может быть, неспособность любить?

Всю свою жизнь Толстой боролся между порывами своего великодушного сердца и императивами разума. Осознавая глубину своего ума и знаний, власть своей мысли, он часто жил в суете между искушениями гордости и искренним смирением и жаждой любви.

Николай Пузин, хранитель дома-музея, счастливо сочетающий в себе увлеченность Толстым и глубокое знание его жизни и творчества, проводил нас по размытым дождем дорожкам парка к могиле моего деда. Он оставил меня там одного. Мысли и воспоминания нахлынули на меня. Что стало с поисками Толстым справедливости, любви и братства? «Неужели тесно жить людям на этом прекрасном свете... Неужели может среди этой обаятельной природы удержаться в душе человека чувство злобы, мщения или страсти истребления себе подобных?» — восклицает Толстой в рассказе «Набег», который он написал на Кавказе. Этот вопрос до сих пор остается без ответа. После смерти Толстого мир пережил две мировые войны, не считая других малых войн, произошли революции, холодно проводилась политика геноцида, людей истребляли в концлагерях, ненависть и насилие не уменьшились. Неужели призыв Толстого (он ведь только повторил еще раз призывы Будды и Иисуса Христа) остается напрасным? Неужели «зеленая палочка», тайна счастья человеческого, никогда не отыщется?

Погруженный в свои мысли, я медленно пошел по дороге к дому-музею и увидел, что мне навстречу идет пожилой человек, подойдя, он спросил меня, правда ли я внук Льва Толстого? Он очень искренне обрадовался, когда я подтвердил это. Он рассказал мне, что очень болен и, предчувствуя близкую смерть, в последний раз пришел остаться наедине со своими мыслями на могилу Толстого. За последнее время родилась удивительная традиция: молодожены после регистрации брака приезжают в Ясную Поляну. Они торжественно идут с цветами на могилу Толстого, чтобы там собраться с мыслями.

С тех пор, как паломники новых времен, я много раз приходил к этому простому холмику, покрытому летом цветами, а зимой еловыми ветками. Было ли это летом в тени дрожащей листвы, окруженной тучами комаров, или холодным и прозрачным зимним утром, когда удивительная тишина нарушается треском деревьев, согнувшихся под тяжестью снежных шапок, я испытывал глубокое волнение.

Перед отъездом в Москву я побывал на деревенском кладбище, где покоятся те, чьи портреты я видел в доме Толстого; кладбище находится около церкви XVII века, которая описана Толстым в «Утре помещика» и в «Воскресении». Эта церковь одна из немногих действующих в округе. Приятного вида молодой священник проводил меня к могилам, он меня уверил, что каждый день молится за упокой души моих усопших родственников. На кладбище похоронены первые владельцы Ясной Поляны, устарелые эпитафии на их могилах полустерлись от времени, священник показал мне могилу деда Толстого, князя Волконского и усыпальницу родителей моего деда. Рядом с церковью могилы братьев Толстого, Сергея и Дмитрия, его теток Туанетты, Полины и Алины. На надгробном камне Алины можно прочесть трогательную эпитафию в стихах, сочиненную ее племянником Львом в 13 лет. Моя бабушка похоронена рядом со своей сестрой Татьяной, Наташей из «Войны и мира». В этом тихом поэтическом убежище старой России покоится прах детей и внуков Толстого, их слуг и крепостных крестьян. Как обычно в таких местах, я думал о жизни и смерти, о вечности и нашем эфемерном пребывании на этом свете, о далекой эпохе, когда те, кто покоится здесь, были живыми. Идея написать книгу «Толстой и Толстые», опубликованную в 1980 году, первый раз пришла мне в голову здесь. Я вспомнил о своих родителях, похороненных в чужой земле. Как относительно время! Мне кажется, что эпоха моего деда была ближе к той, которую он описал в «Войне и мире», хотя она и отдалена на сотню лет от дня его смерти, чем время моего детства по отношению к современной эпохе. Из-за насыщенности нашего века великими историческими событиями эпоха дореволюционной России невозвратима и кажется такой же далекой, как эпоха до 1789 года во Франции или даже эпоха античной Греции, настолько образ жизни и новые нравы радикально переделали мир, особенно Россию старых времен. Однажды во время одной из первых моих поездок в СССР я в беседе упомянул имя Керенского, с которым я был лично знаком, и он еще был жив: удивление, выразившееся на лицах моих собеседников, можно было сравнить с тем же, которое мог выказать француз, если бы я ему сообщил, что накануне я обедал с Мирабо.

Вернувшись в Москву, я пошел в гости к Николаю Гусеву. Он принял меня во внутренней пристройке музея в Москве, в бывшем особняке Лопухиных. Он автор многочисленных биографических работ о Толстом, неисчерпаемом источнике для биографов писателя. Он был в числе семнадцати русских ученых, приглашенных на международный симпозиум в Венецию. Как и пятнадцати другим специалистам, Гусеву отказали в визе. На открытии симпозиума я прочел его сообщение, в котором Гусев утверждал, что гении, подобные Толстому, рождаются один или два раза в век.

Наполовину слепой и глухой, он сохранил светлый ум. Он мне рассказывал о стремлении Толстого к совершенству в работе, который семнадцать раз переделывал одну строчку в описании внешности Катюши Масловой, героини романа «Воскресение» и двести один раз переделывал две страницы одной философской статьи. «Гений — это терпение», — писал Бюффон.

Я встретил в его просторной квартире музыканта Гольденвейзера, его игру на рояле любил слушать Толстой. Профессор консерватории, Гольденвейзер производил впечатление человека, жизнь которого прошла безмятежно. Он мне показал чернильницу и ручку Толстого. В своей книге «Вокруг Толстого» он выставил мою бабушку в совершенно неприглядном виде.

Встреча с Николаем Родионовым была куда более приятной. Он нас пригласил к своей знакомой, вдове писателя Пришвина, у которой мы провели очень интересный и приятный вечер. Родионов был другом дяди Сережи, он был одним из редакторов знаменитого юбилейного издания собрания сочинений Толстого в 90 томах. С 1937 года я раз в год получал по тому юбилейного издания, но с 50-х годов пересылка прекратилась. Родионов объяснил мне причины. Во время войны, несмотря на суровые условия, подготовка томов продолжалась. Во время блокады Ленинграда подготовленные к печати тома перевозили по ледяной дороге через Ладогу. Когда последние тома были готовы, цензурный комитет запретил их печатать.

— Знаете, — сказали Родионову, — Толстой слишком много говорит о Боге. У него есть даже высказывание о коммунизме, которое не совпадает с генеральной линией партии, и лучше это изъять или по крайней мере изменить.

— Тексты Толстого менять нельзя, — ответил Родионов, — это даже не вопрос.

— Если откажетесь, мы прекратим печатание оставшихся томов.

Отчаявшись, Родионов не мог найти выхода из тупика. И тут один из его друзей вспомнил, что в одной из своих речей Ленин, восхищаясь романами Толстого, провозгласил, что печатать произведения Льва Николаевича нужно целиком, не пропуская ни одной запятой. Газету, где был

опубликован этот текст, удалось разыскать в библиотеке имени Ленина. Со статьи сделали фотокопию, которую представили авторитетным инстанциям. Слово Ленина для них было священным, и разрешение было получено. Но тираж собрания сочинений Толстого был лимитирован и предназначался только для библиотек и исследователей творчества писателя. А значит, эти произведения стали недоступны широкой публике, что и нужно было цензуре.

Пока мы беседовали и пили чай, мадам Пришвина угощала нас пирогами и вареньем, которое мне очень понравилось. Когда я уходил, она вручила мне два горшочка с вареньем. «Берите, берите, я знаю, во Франции такого нет», — говорила она с улыбкой.

Во второй раз я приехал в Ясную Поляну с женой и двумя детьми летом 1967 года, и нас поселили в прекрасном здании начала XVIII века, в доме Волконского, похожем на въездные башни, построенные в то же время. Дом, видимо, принадлежал первым владельцам Ясной Поляны до князя Волконского, при котором началось строительство других построек в имении. В доме Волконского была ковровая фабрика, а потом, при Толстом, дом использовали для хозяйства. А после революции в доме Волконского разместилась дирекция и сотрудники музея.

Мы заняли две маленькие комнаты, приготовленные для очень важных персон. Обедали мы в ресторане, недалеко от башен, или сами готовили еду на маленькой электроплитке.

Крестьяне из деревни Ясная Поляна, узнав о нас, предлагали нам овощи со своих огородов и подробно рассказывали, как лучше дойти до их домов.

Некоторые сами приносили нам сметану, картофель, землянику. Пожилые вспоминали о моем семействе, расспрашивали о новостях, рассказывали о тетке Александре. Они вспоминали ее доброту, веселость, ее громкий смех во время катания на коньках на большом пруду. Сын кучера, Алеша-пчеловод, ковыляя на деревянной ноге (он потерял ногу на фронте), принес нам золотистого сотового меда. Деревенские дети подружились с моими детьми. Один из них был Зябрев. Он был потомок кормилицы моего деда, я рассказал об этом своему девятилетнему сыну Сергею, и он стал называть нового друга «мой молочный брат».

Я был очень рад вновь увидеть Колю Пузина, хранителя дома-музея, он проводил нас в дом. Несколько туристов в надежде попасть в музей, опередив сотню других, ждали, когда откроются двери дома.

Пузин проводил нас в дом, закрыл на ключ дверь зала, снял веревки, которые в музеях отгораживают экспонаты от посетителей, и сказал:

— Садитесь, куда хотите, забудьте все, что с вами в жизни было, и представьте себе, что вы снова у себя дома.

Мои глаза наполнились слезами. Безумная мысль пришла мне в голову. А если Ясная Поляна на самом деле могла бы мне принадлежать? В противовес обычаям прошлых времен имение Ясная Поляна доставалось всегда по наследству самому младшему в семье. Сначала имение получил мой дед, потом Ваничка, его последний сын. После его смерти мой отец был самым младшим в семье. А потом пришел бы и мой черед.

В конюшне, напротив дома Волконского, стояло полдюжины лошадей и пролетка, в которой темной ноябрьской ночью Толстой навсегда покинул Ясную Поляну. Конюх Гаврила Цветков предложил нам совершить прогулку в лес. На следующий день перед домом Волконского остановился шарабанчик, которым давно никто не пользовался, и в него запрягли рысака Волнушку. Я спросил у Гаврилы его отчество, он ответил мне, широко улыбаясь: «Называйте меня без отчества, Гаврюшка, я — ваш». Мы въехали в лес, потом по дороге, среди цветущих лугов вдоль березовой рощи, посаженной моим дедом, доехали до Воронки, там купались дети. Проехали и через деревню, в единственной бакалейной лавке купить было нечего. Жители деревни смотрели на нас с доброжелательным и забавным любопытством. Восседая на козлах, Гаврюшка гордо кричал: «Не видите вы что ли, я привез наших молодых графов?» Я подружился с этим шутником. Он расспрашивал меня о жизни во Франции, а когда я его спросил, как он живет, он уклонился от ответа и стал говорить о космонавтах, расхваливая их заслуги. Крестьяне, во имя которых была совершена Октябрьская революция, так и не дождались обещанного процветания. Его изба, куда он меня привел, представляла собой картину полного запустения. Перед отъездом мы ему отдали все излишки нашей одежды.

Вечером, на закате солнца, после отъезда туристов, я пошел один прогуляться по лесу. Возвращаясь, я подошел к дому Толстого, так захотелось нарвать роз, которые с любовью выращивала моя бабушка, их запах показался мне ни с чем не сравнимым.

В день отъезда сотрудники музея и народ из деревни пришли проститься с нами и пожелать скорого возвращения. Многие плакали.

Директор подарил нам целый ящик яснополянских яблок, вкуса которых я никогда не забывал с детства. Яблоки мы оставили московским родственникам, для них они были тоже дорогой редкостью.

В 1978 году я был приглашен на празднование 150-летнего юбилея со дня рождения Толстого, отмечавшегося в России особенно широко: в школах читались лекции о Толстом, в больших городах проводились научные конференции, в кинотеатрах демонстрировались фильмы по произведениям Толстого, в театре ставились пьесы Толстого, увеличился поток почитателей Толстого в Ясную Поляну, в толстовские музеи в Москве и Астапове. В Москве открылась выставка дочери Толстого Татьяны.

«Общество друзей Толстого» в Париже, президентом которого я являюсь, а должность почетного президента принял на себя г-н Жискар д'Эстен, при поддержке префекта Мориса Роша, подготовило различные мероприятия: торжественное заседание в актовом зале Сорбонны закончилось концертом, оркестр де Пари исполнял любимые сочинения Толстого, прошли конференции, в Институте изучения славянских языков открылась выставка; на доме 206 на улице Риволи, где Толстой жил в 1857 году, была установлена мемориальная доска; прошел фестиваль фильмов по произведениям Толстого, некоторые были поставлены до первой мировой войны, например, «Война и мир» — первый полнометражный фильм в истории кино.

В Москве 8 сентября, накануне дня рождения моего деда, открылось торжественное заседание в Большом театре, на котором были я, мои двоюродные братья и многочисленные потомки, приехавшие из Швеции.

Марков, первый секретарь правления Союза писателей, открыл заседание высокопарной речью: «Празднование 150-летнего юбилея этого гениального писателя, как вешнее половодье, охватило всю страну... Подвиг Толстого бессмертен, любовь к нему неохватна...»

И в самом деле, любовь к Пушкину и Толстому в России стала национальной особенностью русского характера. Когда я пришел в Большой театр, служащая раздевалки, узнав, что я внук Толстого, к моему великому смущению, поцеловала мне руку. Советская власть, заменив общечеловеческие исторические ценности России на свои коммунистические идеалы, пытается перекроить Толстого на свой лад. Так, выступавший после Маркова Бердников, директор Института мировой литературы, не преминул напомнить пророчество Ленина: «Вспомним: всего лишь около 70 лет назад В. И. Ленин писал о том, что творения Толстого знакомы лишь меньшинству русского народа. Ленин был убежден, что с таким положением может покончить лишь социалистическая революция. Наследие Толстого стало теперь неотъемлемой частью духовной жизни всех народов СССР». Толстого нет, и славословие его может происходить при полном единодушии.

Я глубоко убежден, что Толстой горячо критиковал бы нынешний социалистический строй, так же как когда-то царизм. Однако царский режим не посмел применить против Толстого ни одной санкции. А если бы Толстой дожил до коммунизма, вряд ли он благодушно благословил бы и этот строй.

ВРЕМЯ

Идеи.
Диалоги.
Поиски.

ВЛАДИМИР БОНДАРЕНКО

КРЕДО
ПЛЮРАЛИСТОВ



Александр Солженицын. Октябрь 1987 г. Фото из журнала «Штерн».

Сегодня мы прочитали прозу Александра Солженицына. В нашу жизнь вошли образы Ивана Денисовича и Матрены, Глеба Нержина и Павла Русанова. Вечным памятником всем погибшим в лихие годы стал «Архипелаг ГУЛАГ». Истинная история XX века приходит к нам с «Красным колесом».

Кредо Солженицына — это великая любовь к России. Это — боль за ее незаживающие раны. Это — надежда на возрождение. Его творчество в глазах всего мира восстанавливает традиции классической русской литературы. Как пишет Жорж Нива, «Солженицын раскрыл нам глаза, наглухо зашитые идеологией». Но Солженицын-художник и Солженицын-мыслитель неотделимы друг от друга, продолжают, дополняют друг друга. И потому, время от времени Александр Солженицын откладывает свое перо прозаика... В своей борьбе с «клеветниками России» он не одинок. Также страстно и откровенно пишут и писали Роман Гуль и Сергей Оболенский, Леонид Леонов и Игорь Шафаревич, Зинаида Шаховская и Валентин Распутин...

Публицистики Солженицына боятся не только враги России. Ее боятся восторженные эстеты и либеральствующие интеллигенты, боятся нынешние прорабы перестроек, выступающие в роли самозваных учителей «темного народа». Им тоже адресованы гневные строки «Наших плюралистов». Наряду с «Русофобией» И. Шафаревича, «Раздумьями у старого камня» Л. Леонова, статья А. Солженицына «Наши плюралисты» еще из того далекого 1982 года, когда она была написана, несет в наше сегодняшнее «раскаленное время» свой пророческий смысл. Это глоток спасительной воды народу в нынешней пустыне безверия. Обществу крайне необходимо вовремя услышать столь потребные сегодня всеосмысляющие слова великого патриота России. Прислушаемся к ним:

«Шесть лет не читал я ни сборников их, ни памфлетов, ни журналов, хотя редкая там статья не заострялась также и даже особенно против меня. Я работал в отдалении, не обязанный нигде, ни с кем из них встречаться, знакомиться, разговаривать. Занятый Узлами, я эти годы продремал все их нападки и всю их полемику. Уже загалдели все печатное пространство, уже измазали меня в две дюжины мазутных кистей, уже за меня в одной новоэмигрантской газете удивлялись: да что ж я вовсе не отбиваюсь? да меня не бьет только ленивый, меня бить — легче нет, сношу все удары. Да можно узреть и такое гнездышко, где мечтали бы, чтоб я с ними сцепился, повысил бы им цену, а без этого хиреют на глазах, захлебнулись в собственном яде. И если б касалось только меня, то без затруднения прожил бы я так и еще двенадцать, и умер бы, так и не прочтя, что ж они там понаписали.

Но нет, облыгают — народ, лишенный гласности, права читать и права отвечать. Пришлось-таки взяться, непривычная, несоразмерная работа: доставать и читать эти самосознания, противостояния, альтернативы, новые правые, старые левые, и не везде даже синтаксический уровень. Вот сейчас в первый раз прочитал их, кончивши три Узла, — сразу посвежу и пишу.

О ком я собрался тут — большей частью выехали, иные остались, одни были участники привилегированного коммунистического существования, а кто отведал и лагерей. Объединяет их уже довольно длительное общественное движение, напряженное к прошлому и будущему нашей страны, которое не имеет общего названия, но среди своих идеологических признаков чаще и охотнее всего выделяет «плюрализм». Следуя тому, называю и я их плюралистами.

«Плюрализм» они считают как бы высшим достижением истории, высшим благом мысли и высшим качеством нынешней западной жизни. Принцип этот они нередко формулируют: «как можно больше разных мнений», — и главное, чтобы никто серьезно не настаивал на истинности своего.

Но может ли плюрализм фигурировать отдельным принципом и притом среди высших? Странно, чтобы простое множественное число возвысилось в такой сан. Плюрализм может быть лишь напоминанием о множестве форм, да, охотно признáем, — однако же цельного движения человечества? Во всех науках строгих, то есть опертых на математику, — истина одна, и этот всеобщий естественный порядок никого не оскорбляет. Если истина вдруг двоится, как в некоторых областях новейшей физики, то это — оттоки одной реки, они друг друга лишь поддерживают и утверживают, так и понимается всеми. А множественность истин в общественных науках есть показатель нашего несовершенства, а вовсе не нашего избыточного богатства, — и зачем из этого несовершенства делать культ «плюрализма»? Однажды, в отклик на мою гарвардскую речь, было напечатано в «Вашингтон пост» такое письмо американца: «Трудно поверить, чтобы разнообразие само по себе было высшей целью человечества. Уважение к разнообразию бессмысленно, если разнообразие не помогает нам достичь высшей цели».

Да, разнообразие — это краски жизни, и мы их жаждем, и без того не мыслим. Но если разнообразие становится высшим принципом, тогда невозможны никакие общечеловеческие ценности, а применять свои ценности при оценке чужих суждений есть невежество и насилие. Если не существует правоты и неправоты — то какие удерживающие связи остаются на человеке? Если не существует универсальной основы, то не может быть и морали. «Плюрализм» как принцип деградирует к равнодушию, к потере всякой глубины, растекается в релятивизм, в бессмыслицу, в плюрализм заблуждений и лжей. Остается — кокетничать мнениями, ничего не высказывая убежденно; и неприлично, когда кто-нибудь слишком уверен в своей правоте. Так люди и запутаются как в лесу. Чем и парализован беззащитно нынешний западный мир: потерею различий между положениями истинными и ложными, между несомненным Добром и несомненным Злом, центробежным разбродом, энтропией мысли — «побольше разных, лишь бы разных!». Но сто мулов, тянущих в разные стороны, не производят никакого движения.

А истина, а правда во всем мировом течении одна — Божья, и все-то мы, кто и неосознанно, жаждем именно к ней приблизиться, прикоснуться. Многоразличие мнений имеет смысл, если прежде всего, сравнением, искать свои ошибки и отказываться от них. Искать истинные взгляды на вещи, приближаться к Божьей истине, а не просто набирать как можно больше «разных».

Однако я не настаиваю, что правильно выбрал термин. Будем пользоваться им как рабочим. Зато — какое духовное пиршество нас ждет! Как изумимся мы сейчас бесчисленным переливам плюралистической мысли, бескрайнему спектру!

Увы, доглядясь: даже в иных западных странах сегодня «плюрализм» остается скорее лишь лозунгом, чем делом. Современное западное образованное общество (а оно-то и диктует) — на самом деле мало терпимо, и даже особенно — к общей критике себя, всё оно — в жестком русле общепринятого направления; правда, для обуздания противящихся действует не дубиной, а клеветой и зажимом через финансовую власть. И — подите пробейтесь через клубок предвзятостей и перекосов в какой-нибудь сверкающей центральной американской газете.

С удивлением видим, что таковы и первые крепнущие шажки плюралистов наших: «Проповедывать демократиям о вреде демократий — дело неблагодарное». Справедливо изволили заметить. Но — тоталитаризму о вреде тоталитаризма тем более не напроповедуешься, тогда разрешите узнать, чем демократия вдумчивей и объективней? Странно, вот уже несколько лет ширяет крыльями на Западе наш ничем не стесненный плюрализм (уж ни на кого не кивнешь, что не дали «самовыразиться») — и где же вереница его освежающих спасительных открытий? Всего лишь несколько поверхностно-пленочных, да еще и наследованных убеждений. И первейшее из них — о русской истории. Разумеется — «в целом», в самой общей сводке, а не в конкретном анализе.

Когда я попал в Швейцарию и услышал от тамошних радикалов (есть и там радикалы, а как же?), что «это у вас такой плохой социализм, а у нас будет хороший», — я изумился, но и снисходительно: сытые, неразвитые умы, вы ж еще не испытали на себе всей этой мерзости! Но вот приезжают на Запад «живые свидетели» из СССР, и вместо распутывания западных предрассудков — вдруг начинают облыжно валить коммунизм на проклятую Россию и на проклятый русский народ. Тем усугубляя и западное ослепление, и западную беспомощность против коммунизма. И здесь-то и лежит вся растрава между нами.

И поразительно: разные уровни развития, разные возрасты, разная самостоятельность мысли, а все — в единую оглушающую дуду: против России! Как сговорились.

«Марксистская опричнина — частный случай российской опричнины». — «Сталинское варварство — прямое продолжение варварства России». — «Царизм и коммунизм — один и тот же противник.» — «Все перешло в руки деспотизма не в 1917, а в 1689» (по другому варианту — в 1564). — «Русский мессианизм под псевдонимом марксизма.» — «Разделение русской истории на доoктябрьскую и послеоктябрьскую — под сомнением...» — «Коммунизм — идеологическая рационализация русской империалистической политики, — более универсальная, чем славянофильство или православие.» — «Нет изменения в русской политике с 1917 года.» — «Преувеличенное отношение к октябрьскому перевороту:... уничтожение первоначальной модели (революции), возврат русской истории на круги своя.» — «Семена социализма погибли в русской почве.» (Тут соглашусь: почва оказалась для социализма крепенькая, пришлось киркой добавлять.) — «К а к до революции господствовало зло и подавлялось добро, т а к и после революции.» — «Между царизмом и советизмом прямая преемственность в угнетении», «качественное сходство».

Господа, опомнитесь! В своем недоброжелательстве к России какой же вздор вы несете Западу? зачем же вы его дурачите? Не было ЧК, не было ГУЛАГа, массового захвата невинных, ни системы всеобщей присяги лжи, проработок, отречений от родителей, наказаний за родство, люди свободно избирали вид занятий, и труд их был оплачен, городские жены не работали, один отец кормил семью в 5 и 7 детей, жители свободно переезжали с места на место, и, самое дорогое, — в эмиграцию тотчас, кто хотел, — и философ нам говорит, что тут качественное сходство?»

Одним из первых обратил внимание Александр Солженицын на подмену понятий «нашими плюралистами». Всю

Гонорар за статью перечислен в фонд восстановления храма Христа Спасителя.

критику советского строя они переносят на русский народ. Все недостатки объясняют рабской душой славянина. Ради этого идут на любые передержки, переписывают историю вдоль и поперек. Когда Татьяна Иванова на страницах «Огонька» объясняет сталинизм — послушностью, смирением русского народа, когда Татьяна Щербина на страницах «Даугавы» объявляет всех русских — сумасшедшими и требует, что русский народ должен быть уничтожен, когда Борис Парамонов по радио «Свобода», нынешнему филиалу леволиберальной советской прессы, призывает «русского человека выбить из традиции» — они лишь дополнительно иллюстрируют мысль, высказанную в 1982 году Александром Солженицыным.

Читатель, когда сегодня, в девяностом году, ты постоянно встречаешь в «Огоньке», в «Московских новостях», «Известиях» и «Юности» тотальное отрицание отечественной культуры, отечественной науки, когда по телевидению уже шельмуют К. Станиславского — сталиниста, великого ученого Павлова — сталиниста, Столыпина — по-прежнему «вешателя» в глазах В. Коротича, бездарных генералов, «непомерно раздутых» писателей-почвенников, вспомни о природе этой русофобии, проанализированной в статье Александра Солженицына. Все те же приемы, ничего нового. От церкви до армии, от литературы до космических исследований — все едино, все — сомнительно:

«Христианство — это путь, не испытанный Россией.» — «Религиозность русского народа и в прошлом была сомнительной.» (Цитаты из разных, из разных, я чаще не указываю кто, однако на полях рукописи помечаю — книгу, журнал, страницу.) — «Русское православие столь же поверхностно, как и русский марксизм.» — «Религия, которую как будто исповедует русский народ» (вернулись к Белинскому). — «Совесть... у нас постоянно находилась на положении пасынка.» (Прочистим уши: это о России? Да где же шире жило покаяние, и на людях? Или, при всеобщем отвращении к судебной волоките, купеческая и ремесленная деятельность по устному слову, а не по письменному договору — много ли такого в Европе? Да даже это проникало и в государственные документы (Екатерина, 1778): купцам платить налог 1% «с капитала, объявленного по совести». Но в народные свойства не погружается глаз их.) Даже: «духовная структура» русских унаследована от монголов, «она застойна, неспособна к развитию и прогрессу» (понимать: унтерменши? безнадежная раса?). «Страна Иванов и Емель.» — «Грузин Сталин больше всех приближается к русскому идеалу.» — «Жандарм Европы Суворов, реакционер Кутузов» (протереть глаза: воскрес Покровский? так же учили в 20-е годы). И на каждом шагу у самых разных: «гениальный маркиз де-Кюстин»... «великолепная книга маркиза де-Кюстина» (это — хором, нашли себе достойного учителя-туриста, отчего тогда не Теофила Готье?). — «Была ли Россия тюрьмой народов? У кого достанет совести это отрицать?» А у кого достало совести эту ленинскую мерзость повторять? У Шрагина.

С большой легкостью рассуждает он (они) о любом веке русской истории — то из XIII века, тут же держи из XVII, да откуда же такая эрудиция крылатая? Да разве можно хотя бы по русской истории знать все века уверенно и равномерно? У меня вот, слабака, вся жизнь ушла на один 1917 год. А секрет прост, доглядитесь в сноски: Шрагин не затрудняет себя чтением источников, он цитаты выдергивает вторичные, из уже нахватанных кем-то обзоров, да всё ревдемократов или радикалов, а уж как они там отбирали? — совесть-то у нас, пишут, была пасынок. (Знаю, знаю я эту слабость, сам когда-то обжегся на «Истории русской общественной мысли» Плеханова, такие же нахватанные цитаты приводил и я. Тому потоку, как понимали все умные люди, нашей освобожденческой идеологии — очень легко поддаться, трудно сопротивиться. Встречалось это и у меня — и пока идешь в направлении потока, с тем большей силой тебя уверенно поддерживает слитное общество.) И Чернышевского цитирует нам целыми страницами, спасибо! С таким фундаментом вот и выводят они «русский либерализм — от конца XIX века». Вот и узнаем: «идея «святой Руси»... предусматривает, что ответственность за все плохое несем не мы с вами», — ну, откуда это притянуто? тогда и понятия г р е х а не было в России?

О самом народе: «Русские — сильный народ, только голова у них слабая», «умственная слабость». «Широкая русская натура Подонка». И о России в целом: «Что это за девушка, которую все, кому ни лень, насилуют?» А один глубокий их мыслитель открыл: все нации — существительные, только «русский» — прилагательное! Так вы что, усмехается, сами себя за людей не считаете? Боже, как это проницательно! Только не подумал ни мыслитель, ни редактор журнала, что ведь «Пинский» и «Синявский» — тоже прилагательные. Да ведь какой «ученый» — а то тоже прилагательное. (Эта мысль до того показалась им глубока, что в двух смежных номерах журнала приводят ее от двух разных лиц, оба претендуют на авторство.)

Но были всё же у России и заслуги: «Россия отличается от азиатских обществ лишь тем, что сумела создать европейски мыслящую интеллигенцию». А уж «вина интеллигенции за удручающие события русской истории сильно преувеличена», хотя, правда, интеллигенция и «пыталась подменить прошлое и будущее России». Вот это — самокритично. Вот это — очень верно сегодня.

В процессе глубокого плюралистического исследования рождены и новые важные термины: не «славянофильство», а «монголофильство». И — «татаро-мессианская Россия», «татарский мессианизм». Термины настолько богатые и загадочные, что хоть объявляй конкурс на истолкование.

И как ни обтрагивают мертвое тело старой России равнодушные пальцы наших исследователей — все вот так, одно омерзение к ней. А потому — вперед! к перспективе! к октябрьской революции!

Рвут к Октябрю, объяснить нам скоренько и Октябрь — но я умоляю остановиться: а Февраль?! Разрешите же хронологически: а что с Февралем?

Вот удивительно! Столько отвращения к этой стране, такая решительность в суждениях, в осуждениях порочного народа — а слона-то и не приметили! Самая крупная революция XX века, взорвавшая Россию, а затем и весь мир, и так недалеко ходить по времени, это ж не Филофей с «Третьим Римом», и единственная истинная революция в России (ибо 1905 — только неудавшаяся раскачка, а Октябрь — легкий переворот уже сдавшегося режима), — такая революция никем из наших оппонентов не упоминается, не то что уж не исследуется. Да почему же так?

Да откровенно: нечего сказать. Трудно объяснить в благоприятном смысле для либералов, радикалов и интеллигенции. А во-вторых, не менее главное, снижу голос: н е з н а ю т. Вот так, все учили, до, и после, и вокруг, и XVI век, а Февраля — не знают. Отчасти потому, что и большевицкие пропагандисты и учащие профессора всегда спешили вперед — к Октябрю и к интернациональному счастью народов, освободившихся из российской тюрьмы. Отчасти — и сами промарщивают эти неприятные 8 месяцев, трудные к оправданию.

А между тем, господа, вот тут-то и был взрыв! Вот тут-то и выхвачен бомбовый черный ров — а вы как легко облетаете его на крылышках.

А я — взялся напомнить. Я годами копил, копил — не цитаты из чьих-то обзоров, а самые первичные факты: в каком городе, на какой улице, в каком доме, в какой день и в котором часу, и несколько сотен важнейших деятелей всех направлений, всех видов общественной жизни, и каждого жизнь осматривается, когда доходит до описания его действий, и повествование без главного героя, ибо не бывает их в истории миллионных передвижений. И начал из тех Узлов публиковать главы, обильные фактами и цитатами из жизни, сгущенный, объективный исторический материал, открытый для суждения всем, дюжина глав, страниц уже до 400, до петита.

И что же? Вот поразительно!

Обмолчали! Любую фразу моей публицистики (десятая часть написанного мной) — выворотили, обнюхали, истолковали, ниспровергли с 10 сторон. А эти главы — как не заметили. Отчего же их перья не клюют вот это? Казалось бы: философу Шрагину с его искренней «тоской по истории» (перепечатывает из книги в книгу, и как верно требует — помнить! вспоминать! — вот бы и брать историю! разведать, оценить, указать на ошибки, раскритиковать, разнести вдрызг? Нет!.. Во-вторых, опять-таки: это не та доступная обзорная либеральная культура, нарастающая сама на себе слоями — вторично, третично, где уже до нас потрудились многие просвещенные умы, а мы только — хвать пример из XV века, хвать из XVIII, — а здесь труда много класть, и здесь потребно собственное вживание в обнаженную историю, стать и ощутить себя в ее трясении беспомощным стебельком. Куда легче порассуждать «вообще». Но и, во-первых, это все — крайне неприятный материал, идущий в противоречие с теориями и желаниями, непривлекательное знание. И — смолчали, обошли, как нет, как не было!

Не все, отдадим справедливость. Один профессор, из самых пламенных плюралистов, окрикнул (это место и другие все заметили): зачем я в думском заседании цитирую крайне правого Маркова 2-го? (А он держал там речь больше полутора часов, ему продляли, как же мне отобрать? я там не председатель. Значит — вычеркнуть, переписать историю по оруэлловскому рецепту?) А главное, окрикнул: «Нет смысла задним числом устраивать суды над Милюковым или, скажем, Парвусом (над Сталиным — нужно, это вопрос иной)». А — почему иной? а как насчет Ленина? — не указал. И еще один историк: «нас не интересует роль Парвуса в русской революции».

Вот так так! Вот это «тоска по истории»! Да ведь и пишут: «что пользы расчесывать язвы, и без того зудящие нестерпимо»?

Ба! Так от демократических плюралистов я слышу то же самое, что слышал от коммунистических верзил с дубинами, когда прорвался «Иван Денисович» (не пускали меня дальше, к «Архипелагу»): н е н а д о в с п о м и н а т ь! з а ч е м в о р о ш и т ь п р о ш л о е? — это так больно, это сыпать соль на старые раны!

Так тем опаснее станет для нас Февраль в будущем, если его не вспоминать в прошлом. И тем легче будет забросать Россию в ее новый роковой час — пустословием. Вам — не надо вспоминать? А нам — надо! — ибо мы не хотим повторения в России этого бушующего кабака, за 8 месяцев развалившего страну. Мы предпочитаем ответственность перед ее судьбой, человеческому существованию — не расхлябанную тряску, а устойчивость».

Пророчески звучат эти строчки об опасности нового «февраля». И вновь у нас перед глазами — «бушующий кабак», пять лет разваливающий страну. Капитализм, социализм — разве об этом спор идет у демагогов всех мастей? За пять лет можно было опробовать десятки разного уровня экономических реформ, отвергнуть ненужное, вернуть крестьянам землю — разве об этом все заботы наших новых «февралистов»? Даже всерьез разобраться в причинах общественного кризиса — никакого желания. Когда лидеры образованщины — все сводят к паранойе Сталина, когда известные ученые и писатели, от Василя Быкова до Георгия Товстоногова, от Дмитрия Лихачева до Олега Ефремова — расхваливают на все лады «Дети Арбата», где «плохому» Сталину противопоставляется «хороший» Киров, когда тридцатым годам все наши левые издания противопоставляют опять же «великолепные», прекрасные двадцатые годы с такими замечательными лидерами мировой революции, как Лев Троцкий, Бела Кун, Феликс Дзержинский — поражаешься легкомыслию, поверхностному уму наших свободолюбивых либералов. Они и не хотят копать — глубже. Они не слушают и не хотят слушать слова Солженицына, более того, они сделают все, чтобы эту публицистику писателя — не слышал вообще никто в России. Они, может быть, и писателя попробуют убедить — в ненужности сегодня его аналитических размышлений о русской революции. В канун нового «февраля» будут уговаривать писателя — остаться лишь художником в глазах соотечественников. Но — горят строки из «Наших плюралистов», прожигают все новые преграды на пути к читателям, возводимые «заботливыми опекунами» писателя. По цитатам уже вся публицистика Солженицына «прорвалась» на страницы патриотической печати. Потому как — надо народу знать правду о своей истории, знать мнение великого писателя о переломных пунктах истории XX века:

«О Семнадцатом годе потому и судят так невежественно и с такой легкостью, что года этого не представляют. (Кто дерзает и на фантастические выкладки, почти вроде марсианского десанта: а вдруг бы «черносотенцы взяли в свои руки»?..) Народную распущенность, возбужденную еще до большевиков всеми образованскими подстрекательствами Февраля, — теперь изображают коренно-народным прорывом векового классового гнева, для которого большевики оказались лишь послушными удобными выразителями.

И поэтому заговорщицкий октябрьский переворот — ? «Бунт народа». — «Лидеры октябрьского переворота скорее были ведомыми осуществителями массовых желаний (а лидеры Февраля — стало быть не массовых? — А. С.). ... Они не порывали с народной почвой» (! — в Женевах, в бреде социал-демовских брошюр). «Как революция, так и ее последствия — национальны.» (Да товарищи-господа, зачем же вы из Советского Союза уезжали? — это можно все и там открыто печатать.) «Взбунтовавшийся народ руками ленинской партии свергнул интеллигентскую демократию», — и барашкам-ленинцам реабилитация. И даже так рыдают: «Развитие марксизма было приостановлено Октябрьской революцией». И размышляет философ: «Октябрьская революция последовательно, ни минуя ни одного пункта, опровергла все утверждения марксизма.» (Например — марксову «науку восстания», захват банков, телеграфа, власти? диктатуру «авангарда», классовую борьбу? атеизм как стержень идеологии, сокрушение «жандарма Европы»? — да многое...) «Октябрьский переворот — прорыв азиатской субстанции». Но, в противоречие с этим, другой философ: «Пока старые большевики не были истреблены — над ЦК и ЧК клубился дух демократии». (Попал бы ты к ним туда!)

От октябрьского переворота мой обзор несколько разветвится: наши плюралисты стопроцентно единодушны в осуждении старой России и в игнорировании Февраля — но с Октября разрешают себе различие оценок, правда, не слишком пестрое. От этого чтение их не так безнадежно уныло, как я опасался; бывает написано совсем не зло, и не со злости.

Можно встретить такое: «Ленин прежде всего был гений, и нет сомнения в его субъективно честных намерениях... Обаяние его все еще сильно в России, перед ним все еще благоговеют и преклоняются.» (Очень сердечно, узнаете? Это Левитин-Краснов.) «Ленин не был убийцей подобно Сталину или Гитлеру» (это наследница ревдемократов. Да это так общеизвестно, что и западным радиостанциям указано не критиковать Ленина, чтобы... не потерять аудиторию в СССР!). «Слово «советский» глубоко привилось в России и не вызывает у большинства населения отрицательных эмоций.» «Советская «нация» существует... Положительные идеалы „советскости"» (это — наследник коммунистического вожака). «Коммунистический интернационализм — общемировое движение с общечеловеческими целями» (это — присоединившийся М. Михайлов) — а не какой-нибудь «прорыв азиатской субстанции», да и приняли же большевики «самую разумную и умеренную эсеровскую программу» по земле (просто отобрали в с ю землю государству и весь урожай). Правда, «правящая партия надругалась над идеалами» (мне и самому неудобно, но это — Шрагин). — «Перерождалась и умирала сама партия.» Той, в которую «я вступила радостно, давно нет в живых.» (Позволительно поправить — что та самая, которая в Киеве 1918 года, вместе и с молодым активом, творила первые

каннибальские убийства, а сегодня — в Абиссинии, в Анголе. И хотя «не берусь ответить, почему произошло то, что произошло», но «отречения от моего прошлого никто не дождется». Какая способность к развитию! Дальше и «советское отношение к литературе, к мысли — это вовсе не выражение советских идей», — так понять, что русская традиция, что ли? И, наконец, отступая, отступая по ступенькам, все ж упинаются, что советское правительство — не «самое гнусное» на планете. (А отчего бы тогда не назвать, какое же гнусней?)

Историю своего просветления и умственного обогащения плюралисты не скрывают: «новая интеллигенция» — от XX съезда КПСС. «В 1953 почти никто не сознавал реальности.» (Совсем уж глупенькими народ представляют. Сознавали — десятки миллионов, да уже полегли, или языки закусили. «Не сознавали» — кто был на элитарном содержании.) А потом «у интеллектуалов будто пала катаракта с глаз». (И как не стыдно такое печатать? Кому «открыл глаза XX съезд» — вот это и есть р а б ы: о миллионных преступлениях им должны открыть сами палачи, иначе они не догадываются.)

Да Михайлов-то, издаля глядя, раньше их всех и открыл: «Что во всем виновата марксистско-ленинская идеология — не выдерживает никакой критики... Идеология ничего не определяла.» Когда уничтожают целые классы по 20 миллионов человек — это оказывается всего лишь «жажда власти». «И борьба с религией ведется не из-за идеологии, а из-за власти», — без уничтожения верующих какая же нынче власть может устоять? «Идеология никогда — (и в коминтерновские времена) — не определяла внешней политики Кремля»! Ну, а из «жажды власти» и американские политики погрызывают друг другу глотку, так что это все понятно, близко, обыденно, и бояться Западу нечего. Да идеологию «мировой революции или построения социализма» наш планетарный автор называет «передовой», ее-то тем более нечего бояться.

Наиболее изо всех раздумчивый Шрагин настойчиво убеждает нас: «дело не в марксистской идеологии, а в нас самих». О да, конечно, в высшем смысле — в нас самих, да! Во всяком грехе, которому мы поддаемся, например, сотрудничаем на марксистских кафедрах, прежде всего виноваты мы сами. И в том, что сегодня человечество на 50% уже проглочено коммунизмом, на 35% туда ползет, а на 15% шатается, — виноваты сами эти 50, и эти 35, и даже те 15. Но почему уж так вовсе «не в идеологии»? Если мы умираем от яда, хотя бы и добровольно выпитого, — хил наш организм, что не мог сопротивиться, — но яд все-таки был?

Итак, что же мы получили в результате величайшего историческо-го и т. д. интернационального (межнационального) акта? Ну конечно же — «то, что у нас называют социализмом», — «это государственный капитализм». — «То, что зовется у нас социализмом, есть типически-азиатское — и русское в том числе — порождение.» — «У внутреннего строя СССР ничего общего с социализмом нет», «когда-то начали строить совсем другое общество» (пожить бы тебе в том военном коммунизме, когда баржами топили, да расстреливали крымских жителей через одного).— «В России коммунизм в прошлом» (да сбудется это как пророчество!), Сталин, де, погубил и убил истинный коммунизм, — размазывают самое затасканное представление о Сталине, какое на Западе мызгают уже четверть века — с XX съезда, когда у всех у них «катаракта пала». (И с их руки русскоязычная радиостанция с дрожью в голосе спешит передать эту новинку в СССР.)

Никто из плюралистов не взялся нам нарисовать подробное историческое полотно, как это коммунизм хотел утвердиться, да не вышло на русском болоте. Но дают нам некоторые бесценные детали. «Ведь не угрожали же тем, кто именовал бы (города и улицы) по-прежнему, ни аресты, ни расстрелы, ни даже увольнения с работы.» (Это в подлом контексте выражено, что быдло русский народ сам не хотел постоять за свое прошлое.) О, коротка же память! О, еще как грозило! Промолвили бы вы «Тверь» или «Нижний Новгород» — где бы вы были? Мой Тверитинов погиб на этом, и случай подлинный. А и за уличный вопрос «где Таганрогский проспект?» вместо «Буденновского» — вели вас в милицию тотчас и неизвестно, с возвратом ли. — «Враждебность интеллигентской и народной психологий в терроре 30-х и 40-х годов.» — «Не случайно жертвы партийных чисток получают название „врагов народа"». — «Вина русской интеллигенции перед самой собою» (а не перед народом). — «Интеллигенция не была информирована, разделена взаимным недоверием и страхом» (как будто масса была информирована и не разделена тем же), и не из советской интеллигенции состоял «контингент давителей», — да побывали, побывали, и в прокуратурах, и в ЧК. (Особенно когда «над ЧК клубилась демократия».) А — среди пылающих партийных, комсомольских активистов и доносчиков 20-х и 30-х годов? «Представляют большевизм естественным порождением интеллигенции, однако это неверно.» (Однако это уже некрасиво, это как в 1937 отречься от осужденного брата. Все ревдемы все революционные годы никогда не оклеветывали так большевиков: верно чувствовали их частью себя, из-за того и бороться с ними не умели.) А все это раскулачивание, 15 миллионов жизней, против чего интеллигенция никогда не протестовала, а кто и тек в деревню в городских бригадах-отрядах, и можно бы теперь хоть покраснеть? — нет! — это «крестьяне сами увлеклись собственным раскулачиванием». (Ахнешь! И это нашлепал уважаемый диссидент.) — «Колхозы — чисто русская форма.» (Смотри ее во всех веках: план посева из города, бригады, палочки трудодней, ночная стрижка колосков.) — «Лишь русские и китайцы могут находить этот социальный порядок естественным.»

То есть «природное» вечное «русское рабство», о котором уже столько нагужено».

Русскому народу еще много времени предстоит выбираться из-под обломков омертвевшей системы. Не так просто и вернуть чувство национального достоинства, самоуважения, особенно в период, когда со страниц многочисленых миллионнотиражных изданий раздаются вопли о «рабском сознании» русских, когда один из руководителей государства А. Н. Яковлев напрямую пишет о «тысячелетней парадигме российской несвободы». Удивляешься, что член Политбюро ЦК КПСС, что советолог-антикоммунист А. Янов — по строчкам не разберешь. Эта «парадигма российской несвободы» — с радио «Свобода» пришла или со страниц советской печати? — разобраться уже почти невозможно. Новое направление советской контрпропаганды напрямую смыкается с направлением американской внешней политики. Где-то на Мальте, или в Рейкьявике они нашли наконец-то общего врага — российское возрождение. И для советских интернационал-коммунистических политиканов, и для части американских политиков — сильная, независимая Россия, возрожденный русский народ — как кость в горле, враг номер один. Отсюда и оголтелая клевета, обвинения в «фашизме», «национал-монархизме». Противопоставлю этим писаниям бесов недавно прозвучавшие слова Леонида Леонова: «После семидесяти лет беспомощного блуждания по вариантам утопического рая... пора и нам благоговейно, строго и вслух назвать свою путеводную и уже беззакатную звезду, единственно способную вдохновить наш народ на титанический подвиг воскрешения бедствующей Отчизны... Священное, все еще полузапретное имя этой звезды давно на уме у всех РОССИЯ».

Сегодня — на поверхности — самооплевывание, все склонны замечать лишь хлам и отбросы, но не пора ли говорить о путях в будущее? Не пора ли намечать опорные пункты российского возрождения?

В давней статье князя С. Оболенского, опубликованной в Париже, читаю о единственно возможной силе возрождения: «Это — «еще тормозящаяся», но «развивающаяся стихийно» идея религиозно-националь-

ного обращения, — «русский национализм», отличающийся от всех современных западных национализмов тем, что он по природе своей «глубоко религиозен»... Тем более важно помнить теперь, что торжество подлинного русского национализма, по самой природе его глубочайших религиозных корней, связано неразрывно с утверждением человечности и действительной, а не отвлеченно-вымышленной свободы... Всестороннее раскрепощение — раскрепощение творческих сил нации в целом, раскрепощение всех, входящих в ее состав национально-этнических групп («националов», как теперь говорят), всяких иных естественных соединений, в особенности это всестороннее раскрепощение человеческой личности».

Мысли о национально-религиозном возрождении России, как единственной основе для подлинного преобразования страны звучат все шире. Об этой реальной основе говорят представители разных народов России, такие как Юван Шесталов и Бронтой Бедюров. Об этом же пишет Александр Солженицын. Он понимает и силу противостояния российскому возрождению. «Для дьявольских целей надо владеть населением безрелигиозным и безнациональным, уничтожить и веру и нацию...» — заявил писатель в «Темплтоновской лекции». Вот откуда и потуги всех «плюралистов», все их старания разрушить «и веру и нацию». Внушить русским «комплекс раба»:

«А плюралисты — не «рабы», нет! Но и не подпольщики, и не повстанцы, они согласны были и на эту власть и на эту конституцию — только чтоб она «честно выполнялась». Это не один только прием у них был — «соблюдайте ваши законы!» Они это писали в СССР и пишут в эмиграции: «У правозащитников не было цели установить в Советском Союзе другой политический строй или хотя бы определенно изменить тот строй, который существует.» Они никак не схожи ни с бойцами белого движения (из того «рабского народа»), ни с крестьянами-партизанами 1918-22, ни с донскими и уральскими казаками (все из тех же «рабов»), ни с Союзом защиты родины и свободы в московском подпольи, ни с ярославскими и ижевскими повстанцами, ни с «кубанскими саботажниками», — а это все наша сторона. В моем «Иване Денисовиче» XX-съезд и не ночевал, он бил не по «нарушениям советской законности», а по самому коммунистическому режиму. На нашей стороне не знали мудрости Померанца, что не надо бороться с окрепшим злом: мол, через 200 лет оно само изведется; что коммунистическому перевороту в Индонезии не следовало противостоять, ибо это «вызвало резню». Так и нашей Гражданской не следовало затевать? — а сразу сдаться переворотчикам? «Пусть Провидение позаботится, как спасти то, что еще можно спасти.» Против безжалостной силы, которая сегодня обливает желтым дождем лаосцев и афганцев, накопила атомные ракеты на Европу, — не надо бороться? Конечно, живя в Советском Союзе, приходится выражения выбирать. Но — не так же далеко. Но ведь это и искреннее убеждение многих плюралистов, что коммунизм — не зло.

А мы, воюй, не воюй, — все равно «рабы». И — «революция в России осталась национальным делом».

Так — заканчивается «тоска по истории». Так — меркнут волшебные переливы плюрализма. Увы, увы, где-то на свете он есть, да что-то нашим не достижим.

Так — не надолго и не далеко разветвлялись течения плюрализма, вот они снова все плотно текут проверенным руслом. — «Это растление человеческих душ не содержит в себе ничего специфически коммунистического.» — «Русский социализм вылился в формы, специфичные для данного народа.» — «Сталин возможен был только потому, что русскому человеку нужен был новый царь-Бог.» — «Из-под коммунистической маски — традиционная российская государственность», советское общество «приобрело структурные очертания Московского царства». — «Хитрый татарский механизм.» — Большевицкое «обоготворение техники — это трансформированное суеверие крестьянского православия.» (И с таким сумбуром автор идет в священство.) — «Россия строила свое народное государство», и получила, что хотела: партия и народ едины, власть общенародна, держится народом, — это мы и в «Правде» читаем, это и общий главный пункт плюралистов, об этом и все рефрены Зиновьева.

В какую же плоскость сплющил сам себя этот плюрализм: ненависть к России — и только.

Таким единым руслом потекли, что в десятке их главных книг даже не встретишь названия «СССР», только пишут «Россия, Россия», можно подумать, что от душевного чувства. И даже чем явнее речь идет об СССР — тем с большей сладостью выписывают: нынешняя «Россия делает достаточно гадостей, а в будущем может их наделать и еще больше». А все же иногда и помучит научная добросовестность: ну Россия ладно, Россия, или там «Советский Союз — это терминологический трюк», — а как же остальные 30 стран под коммунизмом? — они тоже «в структурных очертаниях Московского царства»? И тут, кто пофилософичней, находит мудрый ответ: «К русскому варианту вообще склонны отсталые страны, не имеющие опыта демократического развития». Вот это называется утешил, подбодрил! Так таких стран на земле и есть 85%, так что «хитрый татаро-мессианский механизм» обеспечен. А в оставшихся 15% был бы социализм самый замечательный! — да только их раньше проглотят.

Худ же прогноз.

Прогнозы! В будущем «тоталитаризм может даже отбросить атеизм» (Михайлов. Жди-пожди, кто ж от своего фундамента откажется? Да никого озверённее не ненавидели хоть Маркс, хоть Ленин — как Бога.) — «Что в России происходит духовное возрождение — это вызывает смех.» В освобождении от тоталитаризма «национальное возрождение совершенно не при чем.» — «В качестве общественного человека русский человек останется навсегда рабом.» — Программы будущего? «Есть все основания надеяться, что повторится Февраль и повторятся свободные выборы в Учредительное Собрание — (будто тó были выборы) — и никакие враги плюралистического строя не смогут его разогнать.» — Одни предполагают, что обойдется без революции (неясно откуда тогда Февраль), другие (Плющ) откровенно жаждут революции, которая изменит «и политическую сферу, и экономику». Кто видит лучшим выходом — «как предложил Ленин»! — избрать в нынешний ЦК «сто простых рабочих» — (непонятно, почему Ленин при власти сам же их и не избрал) — можно и нужно инженеров и ученых, но не от всего населения, а от крупнейших предприятий, институтов, и разумеется чтобы все они были членами партии, — и так СССР, простите Россия, будет спасен. Дело в том, что «для великого и образованного народа все дороги ведут к демократии, притом основанной на социалистических идеалах». У народа нет навыков демократии? — неважно, но «есть потребность в ней». Один заносится и на более решительный проект: предлагает внутри переходной России между спорящими группировками или классами установить западный, видимо военный, арбитраж. (Насколько ж надо у дальнего океана потерять реальное чувство соотношения сил, чтобы такое вылепить?) Есть и так: «Обязательно должно сохраняться государственное планирование, пока мы не перейдем к коммунизму» (курсив мой).

А вот — закружившийся планетарист. Он вообще отказывается решать будущее в пределах одной страны: «не будет даже полутора лет и ни для одного народа спокойной жизни, посвященной только внутренним задачам». (Упаси нас Бог от такого будущего! и жить не надо.) Идет «подготовление человечества к общемировому объединению», «путь планетаризации человечества необратим», «так называемое „национальное самосознание"», «никаких национальных государств вообще в мире не будет», — а будет общемировое правительство?

Страшная картина. Грандиозный нынешний кабак ООН, безответственный, на пристрастных голосова-

ниях, не способный ни на какой конструктивный шаг и за 40 лет не решивший ни одной серьезной задачи, — да наделить его кроме парламентарных прав еще и исполнительными? Если даже в малых странах, где всё обозримо, то и дело открываются коррупции, скандалы — то кто ж докричится мировому зевлу о нуждах своего отдаленного края? Все будет — в чужих, равнодушных, а то и нечестных руках. Это уже — конец жизни на Земле. Если серьезно уважать «швейцарский» принцип, что местное управление должно быть сильнее центрального, то в этой иерархии что остается всемирному правительству? Ноль. Тогда — и зачем оно?»

Очень полезно читать «Наших плюралистов» Александра Солженицына — чередуясь с современной советской прессой, новейшие примеры так и просятся в статью писателя. Вот академик и член правительства Л. Абалкин говорит о тупости русского мужика, вот центр социологии во главе с академиком Заславской утверждает, что русский народ наиболее заражен шовинизмом, вот академик Гольданский пугает весь мир национал-монархической угрозой, исходящей из России. Как тут не вспомнить альтернативу, предложенную А. Синявским: «Либо миру быть живу, либо России». И никому нет дела до того, что русские земли планомерно заселяются выходцами из среднеазиатских республик (а «шовинисты» — русские, увы, покорно молчат), никого не удивляет, почему же в западных странах, в самых знаменитых фирмах — представители первой и второй волны русской эмиграции всегда на хорошем счету. Русских ценят, как умелых работников. Что же у себя на родине они (то есть мы) разучились работать? Может, дело все-таки, уважаемый тов. Абалкин, не в народе, презираемом Вами, а в системе, одним из руководителей которой Вы и являетесь?

С другой стороны, если мы такие неумелые и ленивые, если мы — такие «рабы», откуда взяться «национал-монархической угрозе миру»? Тут уж одно из двух: или мы покоряемся всем, кому не лень, и потому никому не опасны, или мы чувствуем себя настолько сильными и могущественными, что смеем «командовать миром»? Мифы, создаваемые нашими плюралистами, могут отрицать друг друга, но сходны в одном — в русофобии, в ненависти к народу:

«Но — снова же об интеллигенции. Дело в том, что интеллигенция «самим фактом своего существования утверждает права личности» — и «именно поэтому всегда была и остается чужда народу»... Да и вообще: «протест их индивидуален, они никого не хотят вести за собой». И даже: «Вести за собою массы могут лишь демагоги, выбрасывающие «народу» вовсе не те лозунги, которые намерены осуществить.» Вот те раз. А как же тогда с ценностью демократии и из чего состоят демократические выборы? Да не волнуйтесь, успокаивает нас запредельный демократ: даже «самые обманчивые, демагогические, подкупные выборы в каком-нибудь американском штате — в моральном, этическом, духовном и христианском смысле несравнимо выше всей (курсив автора) многовековой истории русского самодержавия»! Потому что «идеология демократического общества определяема стремлением к Богу»... (И тот же самый автор убеждал нас, что марксистско-ленинская идеология ни в чем не виновата, ибо «идеология ничего не определяла».) А например, «вполне законно сомневаться, что монополия католической церкви в Польше была бы намного лучше, чем монополия коммунистической партии.» И вот: «Террористы появляются только там, где в самом деле под видом демократии скрывается какая-либо форма неравенства перед законом, а значит и скрытый авторитаризм.» А так как террористы кишат более всего в Западной Европе — то и...? Разбирайтесь сами.

Всё говоримое тут о плюралистах отнюдь не относится к основной массе третьей, еврейской, эмиграции в Штаты. В их газетах на русском языке круг авторов, а значит и читателей, далеко обогнал наших плюралистов в понимании Запада. Они — всё яснее видят язвы Америки и всё отчетливей о них говорят. Приехав в эту страну, эти люди хотели бы прежде всего не теоретизировать о демократии, а видеть тут элементарный государственный порядок. Но тем вопиюще обнажается тыл плюралистов, в котором они были уверены! И теперь они публично жалуются на еврейскую эмиграцию, что та находит американские свободы избыточными до опасности. Нельзя без улыбки читать жалобы ведущего плюралиста, его возмущение трезвыми пожеланиями новой эмиграции: ограничить вмешательство общественного мнения в дела правительства; усилить административную власть за счет парламентаризма; укрепить секретность государственных военных тайн; наказывать за пропаганду коммунизма; освободить полицию от чрезмерных законнических пут; облегчить судопроизводство, при явной виновности преступника, от гомерического адвокатского формализма; перестать твердить про права человека, а сделать упор на его обязанностях; воспитывать патриотическое сознание у молодежи (караул! что это делается? куда мы попали?!); запретить порнографию; усилить сексуальный контроль; искоренить наркотики из молодежного употребления; и еще о многом подобном — о гибели школы, о моральной гибели детей. Но это идет в полный развал идей высочайшего и широчайшего демократизма, с которыми наши плюралисты приехали из Москвы! Они-то привезли, что «Америка через Вотергейт очищалась от грязи вьетнамской войны», а тут — отчаяние: «большинство эмигрантов настроены антидемократически», «антидемократическое настроение как единственно возможное...», «выступления Солженицына воспринимаются большинством наших эмигрантов как выражающие очевидность», «почему среди выходцев из Советского Союза антидемократы берут верх?» Увы, и еще я должен отличить: иные авторы эмигрантских еврейских газет и журналов не скрывают, что навек пронзены русской культурой, литературой, и нападки на Россию в целом у них заметно реже, они открыли в себе глубину сродства с Россией, какого раньше не предполагали. Не то плюралисты. «Выбрав свободу», они спешат выплеснуть в океан самовыражения, что русские — со всей их культурой — рабы, и навсегда рабами останутся.

Комично печальное впечатление от того, как плюралисты несут и слагают свои жалобы и надежды к стопам Запада, ослепленно не видя, что Запад сам — накануне гибели, и сам себя уже не способен защитить.

Кто активнее, кто менее, они спешат преподнести Западу свои советы, как держаться относительно коммунизма. Но вместо ожидаемого плюралистического спектра мы и тут встречаем довольно унылое однообразие. Мы уже видели, что по их оценкам либо не коммунизм виноват в том, что делается в СССР, либо даже это вообще не коммунизм. — «Борются против коммунизма и тем расходуют силы впустую.» Черную и опасную работу — снова, и впредь, и вечно выстаивать против живого коммунизма, они оставляют другим. Себе они видят более актуальные задачи. — «Логически невозможно доказать, что русский вариант коммунизма единственно возможен.» — «Кто знает, возможен и бархатный коммунизм?» «Чего нам бояться? Зачем рисовать грандиозный образ мирового зла? ... Они тоже начинали с борьбы за добро» (Померанц. И даже я бы добавил: во скольких странах прямо сегодня на наших глазах начинают с борьбы за добро при помощи автоматов и ракет.) А вот европейские марксистские компартии — это «грозная опасность Советскому Союзу». — «Мне не хочется встречать анафемой первые шаги еврокоммунизма.» «Такое важное явление как еврокоммунизм.» (А меж тем — он уже и испарился.)

Еврокоммунизм — надежда, а угроза — это русская «националистическая банда», которая всё уже приготовила, чтобы сменить Брежнева в СССР. И когда касается этого — еще острее сужается весь ожидаемый спектр плюрализма. «Проблема национализма» — любимейшая для их изданий, и даже когда вот сейчас собрались в Бостоне на литературную вроде бы конференцию — то сразу же и сбились на проблему «национализма». И — одиноко, и — осуждаемо прозвучали отдельные голоса (да и совсем не тех философов, кем наполнена эта глава), что может быть этот пресловутый «национализм» — попытаться бы понять? и даже войти с ним в союз? Нет! нет! отрезали вершители, выступая и по дважды. И — восстановили то единомыслие, какое беспомешно течет все эти годы по их плюралистическим каналам и в западные уши. Не дать, не дать русским очнуться к национальному сознанию!

Где Западу разобраться? Почему ему не верить — если сами русские предупреждают: будет «православный фашизм»! «Крест над тюрьмой вместо красного флага»! — Синявский, по «Штерну» «кроткий христианин из СССР», по «Вельтвохе» славянофил, а сам себя публично не раз называл православным, — так зря на своих не скажет? До него осторожно указывали плюралисты: «У нашей интеллигенции есть все основания быть предубежденной против православия», православная Церковь прежде должна «вернуть себе доверие интеллигенции» — то есть православию еще надо заслужить себе место в плюрализме. А тут — «Сны на православную Пасху», название вызывает особое доверие, православие так и выпирает из груди автора. А он — эссеист не простодушный, не однослойный, вот умеет вовремя увидеть и нужный сон, умеет и пропользовать слово, так вывернуть абзац и фразу, что как бы совсем не от него, неизвестно от кого, вдруг выползают эти нужные каракатицы: «Крест над тюрьмой вместо красного флага». Кто это? где это? А — лови. Умеет как-нибудь так состроить, пугануть: «Альтернатива: либо миру быть живу, либо России» (и в языке раскоряка: древняя форма рядом с «альтернативой»). И каждый здравомыслящий откинется в ужасе: ах, в о т к а к? И нас о том предупреждает русский? Какой же выход, какой же выбор подсказывается прочему миру, если он хочет жить?..

И — никто из плюралистов не возразит, не остановит. Да ведь — истины же нет, и никто не знает, «как надо» и «как не надо».

Нераздумчивым американцам как угодно выворачивают нашу старую историю, чтобы состроить эстакаду Грозный-Петр-Сталин, а все века русской жизни потопить в болотной невыразимости. А чего стоит нечестное, неосмысленное употребление термина «неославянофилы» (как и в XIX веке «славянофилы» изобретено оппонентами, кличкой-дразнилкой) — вот уж ни одного живого «славянофила» сейчас в России не знаю. Есть патриоты умирающей родины — так так надо и говорить, не юля. А если «профессиональному историку» потребуется срочно под перо славянофил XX века, так не глядит на ведущих — Дмитрия Шипова, Александра Самарина — а хватает ничтожного Шарапова и сдувает с него пыль в глаза. Вот так и мотают нам «историю» на шарапа. А произошла кровавая революция в Иране — наши честные и образованные плюралисты задули во все трубы, что православие — это и есть исламский фундаментализм и даже еще кровавей. Лепят басенки о «голубях» и «ястребах» в Кремле, об обещательной смене старого поколения вождей на молодых, и как СССР можно обуздать и направить торговлей с советскими «динамичными менеджерами», лавочный анализ, и на этом строят прогнозы на тараканьих ножках — а в их компетентности вольная американская демократия не посмеет усомниться до самого дня своей гибели. Так и читаем мы в видных американских изданиях: то «Брежнев — миротворец» (перед вторжением в Афганистан), то «советская агрессия — старая сказка», «от коммунизма остались одни слова». Наш плюрализм до того не имеет объемного взгляда, что, вместе с Западом, не видит, как коммунизм шагает через горные хребты и океаны, с каждым ступом раздавливает новые народы, скоро придушит и всё человечество вместе с плюрализмом, — нет! У наших плюралистов: то злокозненный мессианизм, которым якобы пылала масса русского народа от XV века до XX; то темное православие; то гнилость русской истории (обновленная лишь идеалистическими ленинскими годами); мракобесие всех национальных течений и учений, извечная скотскость народа; и новая опасность для всего человечества — русского выздоровления, которое непременно станет еще страшнейшим тоталитаризмом.

А забеглые спешат забежать перед Западом и многобрызно: у русских националистов — «братское соединение с режимом»! «Сближение «правых диссидентов» и официальной Новой Правой»!

Сближение — через кандалы. «Брата» Огурцова догноили 15 лет до конца и послали умирать в лесоповальную глушь. И второй восьмеркой, до тех же 15 лет, догнаивают «брата» Осипова. И посадили на второй срок «брата» Бородина. Не как врагов-плюралистов, не как тех свободомыслящих журналистов отпускали на Запад, не как враждебного Синявского, «единственно опасного из писателей эмигрантов» (как понял из интервью с ним «Штерн»), — освободили из лагеря досрочно. (Предлагаемые им аспекты двоятся: «Монд», 7 июля 79 — «находился в плохих отношениях с лагерной администрацией»; «Штерн», октябрь 81 — «благодаря хорошему поведению».)

Победа «Новой Правой» будет — «конец детанта и усиление гонки вооружений» (да куда ж еще усиление?!), их цель — «реставрация сталинизма», «сочетать ленинизм с православием». И громко срывается метучая журналистическая чета: «Секретная Русская Партия — очень мощная и всё захватывает», «у нее есть свой ЦК, теневой кабинет, железная связь между Москвой и провинцией», даже «защита памятников старины связана с Госбезопасностью», «в этом обществе особенно видна зловещая роль Русской Партии». И даже добавим: только эта националистическая банда и могла задумать уничтожить русский Север — ограбить реки, затопить пространства, а сам русский народ так отечески привести к вымиранию. — «КГБ и Русская Партия имеют тенденцию перекрываться», хотя «большинство основателей Русской Партии — журналисты и литераторы». (Что-то соскользнули, тут уже не так страшно.) Да жми железку до конца: «Русские националисты — попросту фашисты и используют немецкие приемы», «Русская Партия переходит в национал-фашизм.» — «Они нагло следуют аргументам и процедурам (?), которыми пользовались их германские братья по оружию.»

Тут уже — сердце Запада не откажет, в реакции можно быть уверенным: русских надо уничтожать! А коммунизм меж тем — вовсе затмен и исчез. (Так что можно и воспользоваться китайской помощью.)

Эти настойчивые призывы — уже не по-русски печатаются, не для эмигрантов, а — для американских простаков, и формируют же мнения, и обещают действия. Афганистан? Польша? — на Западе шлются проклятия не советскому имени, но русскому, и плюралисты не поправят, но сами то и создают. «Русский империализм», «за жесткую внешнюю политику СССР ответственна „Русская Партия"», этот гибрид лагерников с маршалами. Неразумно, безумно толкают Запад повторить гитлеровскую дорожку: воевать не против коммунизма, а против русского народа.

Никак не обещали нам в спектре плюрализма — лжи и обманных приемов. Уж их-то можно было оставить советской пропаганде? Нет, прихвачены по наследству.

Отчасти по московско-ленинградской нечувствительности к страданиям деревни и провинции (эти два города полвека были усыплены и подкуплены за счет ограбления остальной страны), наша образованщина слепа и глуха к национальному бытию, не научилась видеть и не тянется видеть процессы истинные, грандиозные: вода, воздух, земля, еда, отравленные продукты, семья, вымирание, новое брежневское наступление на деревню, уничтожение последних остатков крестьянского уклада; что 270-миллионный народ мучается на уровне африканской страны, с неоплаченной работой, в болезнях, при кош-

марном уровне здравоохранения, ~~при уродливом образовании~~, сиротстве детей и юношества, оголтелой распродаже недр за границу, — но читайте журналы и сборники плюралистов: об э т о м ли они пекутся? Если бы действительно заботились о России — то почему н и о ч е м о б э т о м? Для славянских народов нашей страны дума сегодня уперлась в простое: они вымирают, еще останутся ли на земле? Но ни у кого из плюралистов мы такой кручины не встречаем. Как их предшественники и отцы спокойно пропустили тотальное уничтожение еще ленинских лет, тотальное вымирание Поволжья, потом геноцидную коллективизацию, голод на Украине, на Кубани, послевоенные потоки ГУЛАГа (только заметили вовремя партийные чистки 37-го года, «космополитов» и «дело врачей»), так и сегодня наши плюралисты не замечают, что Россия — при смерти, что она уже — обмерший полутруп, — а кружится на павшем теле хоровод оживленных гномов, всё нащебечивая свое. Для доверчивого Запада переписывают нашу новейшую историю по вехам диссидентских выступлений. Преувеличением столичного диссидентства и эмиграционного движения отвратили внимание мира от коренных условий народного бытия в нашей стране, а лишь: соблюдает ли этот режим-убийца свои собственные лживые законы? После своевременной эмиграции их забота теперь: возликует ли неограниченная свобода слова на другой день после того, как кто-то (кто??) сбросит нынешний режим. Их забота — над какими просторами будет завтра порхать их свободная мысль. Даже не одумаются предусмотрительно: а как же устроить д о м для этой мысли? А будет ли крыша над головой? (И: будет ли в магазинах не подделанное сливочное масло?)»

Как устроить дом? Берет даже оторопь от подобного точного предвидения событий писателем. И — с другой стороны, — мы-то сами, здесь, почему не видим, куда нас ведет нынешняя слепо-глухая к национальному бытию образованщина, почему народ так безразлично сносит ее обвинения в свой адрес? Или окончательно разуверился во всем? Почему народ не пошел на выборах за блоком патриотических сил? Почему тиражи «Огонька» и «Юности» так отличны от тиражей «Литературной России» и «Нашего современника»? Мы сами должны искать ответы на эти вопросы, сами должны правдиво на них отвечать. Казалось бы, многим ведущим общественным деятелям, ученым, писателям — ясно, пути к будущему лежат через национально-религиозное возрождение. Даже далеко не солидарные нам во всем деятели эмиграции, такие как Наум Коржавин и Георгий Владимов, видят именно этот путь возрождения к жизни России. Вспомним оценку событий, высказанную Георгием Владимовым: «Главным объектом гонений становится так называемая «Русская партия» — круг людей разных профессий, не одних лишь гуманитариев... Русская ~~национальная идея и неизбежна и спа~~сительна. Но, разумеется, как и всякое движение, русское столь же неизбежно обрастает своим охвостьем, своими подонками и дураками... Несмотря на все эти крайности и загибы, у меня предубеждения к этому движению нет... И они действительно много сделали. Они хотели пробудить память России: вернуть ей ее историю, они боролись за восстановление духовных ценностей, во многом — способствовали пробуждению религиозного сознания... Сквзывают, Федорчук, побывши недолго шефом КГБ, успел дать инструктаж: «Главное — это русский национализм, диссиденты — потом, тех мы возьмем в одну ночь»... Русская идея — действительно главная опасность, и неспроста: ведь это по существу вторая положительная программа». Потому и объединились идеологи со Старой площади с русофобскими силами внутри страны и за рубежом, что тоже ясно видят эту главную для них опасность. В одном из последних номеров крайне радикального журнальчика «Век XX и мир» читаю признание либерала: «Русский миф владеет неустойчивыми душами и до некоторой степени он является альтернативой перестройке. Недооценивать опасности этого нельзя».

Наши оппоненты и наши союзники видят этот возможный путь в будущее. Почему же идеи национально-религиозного возрождения русского народа не становятся движущей силой развития общества?

Виноват народ, погрязший в очередях за колбасой и водкой, не прислушивающийся даже к таким пронзительным выступлениям, как обращение митрополита Виталия «К молодым людям в России»?

Виноваты ортодоксы-ветераны войны и труда, и поныне отрицающие Бога, считающие себя не столько русскими, сколько советскими?

Виноват крестьянин, не рвущийся сегодня возвращаться на землю?

Думаю, виноваты прежде всего — мы, числящиеся интеллигентами, люди умственного труда...

Такие, как мы, начиная с декабристов 1825 года, упорно противостояли во всем государству. Не из наших ли кругов вышли убийцы царя-освободителя и реформатора, убийцы, и по сей день восхваляемые нами? Не такие как мы — столетие отвращали народ от церкви, и изрядно преуспели в этом?

Разве не такие как мы натравили на великого государственного деятеля П. А. Столыпина и охранку, и левых террористов, заглушили здравый голос «Вех», повыгоняли из академических обществ В. Розанова и М. Меньшикова?

После всего, проделанного интеллигенцией, интеллигенты же и отреклись от своего дитяти. После отречения — предали еще раз самих себя — пойдя на услужение государству. В тридцатые годы талантливейшие из нас успешно оправдывали все сталинские злодеяния, успешно внушали народу ложные ценности. Разве Максим Горький не воспел архипелаг ГУЛАГ? Разве А. Твардовский не оправдал коллективизацию? Разве Б. Пастернак не воспевал революцию?

Менялась политика партии, менялось — послушное ей — и отношение интеллигенции.

Чем занималось молодое искусство шестидесятых годов? Были написаны «Коллеги» В. Аксенова, «Продолжение ~~легенды» А. Кузнецова, «Лонжюмо»~~ А. Вознесенского, «Братская ГЭС» Е. Евтушенко... Вспомним революционно-политизированные спектакли Таганки и «Современника».

Являясь движущей силой переворотов XX столетия, изумившись неожиданным результатам, интеллигенция, то есть, все мы — и левые, и правые, любых оттенков — сегодня обвиняем во всем народ. Не понимаем, почему народ не хочет нам верить. Интеллигент гибко менял взгляды, забывая то, что вчера еще внушал народу. Он требовал и от народа подобной гибкости, но русский народ, принимая главные идеи своего времени, не отказывался от них, пока не исчерпал веру в них до конца. В этом — если хотите — внутренняя свобода народа. Те из стариков, что и сегодня верят в сталинские идеи, — внутренне свободнее тех, кто гибко подчиняется любому решению Политбюро...

Это мы — специалисты-гуманитарии — убеждали весь народ на протяжении XX столетия в ложных ценностях. Сегодня мы вновь поспешно предаем его. Поймем ли мы все — и правые и левые — свою вину перед народом? Найдем ли верные слова? Сумеем ли предложить убедительную программу возрождения России? С поразительной верностью Александр Солженицын охарактеризовывает пустоту и дилетантство, убогое себялюбие наших демократических властителей дум, эти «культурные силы» ненавидящих Россию, не знающих своего народа, и здешних, и тамошних, уехавших за благополучием «плюралистических болтунов». Он-то заслужил свое право на откровенное высказывание, право на попытку с последней надеждой обратиться ко всем нам:

«Сколько среди них специалистов-гуманитаристов — но почему ж нам не выдвигают конкретных социальных предложений? — да разумными давно бы нас убедили! Чем восславлять себя безграничными демократами (а всех инакомыслящих авторитаристами), да расшифруйте же конкретно: какую демократию вы рекомендуете для будущей России? Сказать «вообще как на Западе» — ничего не сказать: в Америке ли, Швейцарии или Франции — всё приноровлено к данной стране, а не «вообще». Какую вы предлагаете систему выборов: пропорциональную? мажоритарную? или абсолютного большинства? (От выбора системы резко меняется состав парламента, и большие меньшинства могут «проглатываться» бесследно, ибо напротив никогда не составится стабильное правительство.) Должно быть правительство ответственно перед палатами или (как в Штатах) — нет? — ведь это совсем разно действующие схемы, и если, например, парламентское большинство обязано поддерживать «свое» правительство из одних партийных соображений — то это опять власть партии над народным мнением? А степень децентрализации? Какие вопросы относятся к областному ведению, какие к центральному? Да множество этих подробностей демократии — и ни об одной из них мы еще не

слышали. Ни одного реального предложения, кроме «всеобщих прав человека».

А — переходный период? Любую из западных систем — к а к именно перенять? через какую процедуру? — так, чтоб страна не перевернулась, не утонула? А если начнутся (как с марта 1917, а теперь-то еще скорей начнутся) разбои и убийства — то надо ли будет разбойников останавливать? (или — оберегать права бандитов? может, они невменяемы?) и — к т о это будет делать? с чьей санкции? и какими силами? А шире того — будут вспыхивать стихийные волнения, массовые столкновения? как и кто успокоит их и спасет людей от резни?

Ни о чем об этом наши плюралисты не выражают забот.

Ну, скажут, и пусть их? Там, в России, их здешний гулок не воспринимается как имеющий значение, а тем более как угроза нашему реальному будущему.

Если бы опыт Семнадцатого года не пылал у меня под пальцами — вероятно и я не придал бы значения. Но что-то становится — весьма похоже. Уже основательно мы испытали один раз, как нас заболтали и проторили «стране рабов» дорогу в светлое будущее. Наворачивают, наворачивают — а как бы опять не вокруг нашей головы, как бы опять не затмить нам глаза. Прежде чем Россия придет в сознание — уже направить это сознание. И уже сейчас, где могут, наталкивают по русскоязычному радио, чтобы правильно повести оставшееся там население.

Скажут: ну, не такие ж это крупные фигуры, как те прежние. Да а те, разобраться, нешто были крупные? Каких история выпускает на арену — те и действуют. Да не верстаются нынешние и к либерально-демократической эмиграции 20-х годов ни по масштабу, ни по уровню мысли, ни по общественному опыту, — а ведь насколько превосходят тех по возможностям. Те — перебивались с корки на корку, убивались заработать сотню франков, не знали где голову приклонить, а напечатать статью в крупном французском или американском издании им было много лет недоступно. Эти — основывают собственные издательства, журнал за журналом (уже сейчас их выходит в эмиграции столько, что хватило бы на всю Россию), ездят по конференциям, открыты им и западные газеты, открыты и университетские кафедры, их слушает Запад, молодой и не молодой. Их влияние на Западе несравнимо с влиянием всех предыдущих эмиграций из России.

А если оглядеть круг личностей шире, чем цитированные здесь: ведь десятилетиями жили в столицах, и многие служили на деликатном идеологическом фронте — марксистскими философами, журналистами, очеркистами, лекторами, режиссерами кино и радио, даже пропагандистами ЦК, референтами ЦК, даже прокурорами! — и нам, с лагерного и провинциального дна справедливо казались неотличимы от цекистов и чекистов, от коммунистической власти. Они жили с нею в ладу, ею не наказывались и с нею не боролись. И когда я в окружающей советской немоте 50-х годов готовил свой первый прорыв через стену Лжи — то именно через них прорыв, через их ложь, — и ни от кого из них нельзя было ждать поддержки. И вдруг — открылась возможность некоторым двинуться на Запад, и они двинулись, где-то по пути тихо роняя свои партийные билеты. И по другую сторону Атлантического океана вдруг стали исключительно смелы в суждениях о советской жизни, вчера успевали там, сегодня здесь, и громко рассказывают, как они, чистые и неподкупные, тяжело страдали в грязных гнездах пропаганды ЦК, или прокуратуры, или союза писателей и журналистов, опубликовавши в СССР кто по три, а кто и по десятку книг и множество газетных статей, и записывают себе в послужной список поставленные в СССР пьесы, фильмы, — а что́ это всё было, если не ложь, ложь и ложь? И никто из них — н и о д и н! — не раскаялся, не заявил публично, что это он и заплевывал наши глаза ложью, не рассказал ни о каком с в о е м соучастии, как он, хотя бы часть своих лет, укреплял и прославлял коммунистический режим и получал от него награды. Их философия: это — скотская народная масса виновата в режиме, а не я. Им и в голову не приходит, что настоящее творчество начинается не с безопасного (или даже опасного) сатирического разоблачения других, а с поисков своей собственной вины и с раскаяния.

Сегодня от Февраля то различие, что перед тем нельзя было «проговориться», тогдашние плюралисты вещали совершенно открыто в 50 газетах и с 50 трибун, и можно было заранее видеть, что́ они готовят (но, по неопытности, не понимал почти никто, и даже многие сами они). А теперь, в СССР, все истинные взгляды, процессы, мысли, настроения, желания скрыты под казенной вменяемой однообразностью режима, под его чугунной коркой. И обнажиться могут только в эмиграции — но и как же откровенно! История вот произвела и показала нам предупреждающую пробу.

Чем крупней народ, тем свободней он сам над собой смеется. И русские всегда, русская литература и все мы, — свою страну высмеивали, бранили беспощадно, почитали у нас всё на свете худшим, но, как и классики наши, — Россией болея, любя. А вот — открывают нам, как это делается ненавидя. И по открывшимся антипатиям и напряжениям, по этим, вот здесь осмотренным, мы можем судить и о многих, копящихся там. В Союзе все пока вынуждены лишь в кармане показывать фигу начальственной политучебе, но вдруг отвались завтра партийная бюрократия — эти культурные силы тоже выйдут на поверхность — и не о народных нуждах, не о земле, не о вымиранье мы услышим их тысячекратный рев, не об ответственности и обязанностях каждого, а о правах, правах... — и разгрохают наши останки в еще одном Феврале, в еще одном развале.

И в последней надежде я это все написал и взываю, и к этим, и к тем, и к открывшимся, и к скрытым: господа, товарищи, очнитесь же! Россия — не просто же географическое пространство, колоритный фон для вашего «самовыражения». Если вы продолжаете изъясняться на русском языке, то народу, создавшему этот язык, несите же и что-нибудь доброе, сочувственное, хоть сколько-нибудь любви и попытки понять, а не только возвышайте образ, как («Синтаксис» № 3, стр. 73) «у пивной, размазывая сопли по небритым щекам, мычит»... — а мат оставляю докончить вашим авангардным бестрепетным перьям».

Думаю, люди самых разных убеждений, разной веры, разных политических взглядов, но — по-настоящему любящие Россию, болеющие за нее, остро переживающие сегодняшний разлад, — поймут большого русского писателя, оценят его гражданское мужество. Что касается «тех и этих», по обе стороны границы торгующих Родиной оптом и в розницу, для них эта статья «Наши плюралисты» — ненужная, вредоносная писанина. В момент, когда они завоевывают права в Верховных Советах, когда предлагают планы раздела России на множество мелких государств, когда перечеркивают всю ее историю, является великий гражданин России и говорит всю правду о них. Разве не ясно, как жжется эта правда? Разве не ясно, почему — отторгается сегодня прежде всего солженицынская публицистика? **Она есть.** Она существует уже отдельно от автора, она перелетает границы. Это — его слово о России, объединяющее всех, кто, как и он, делает все, чтобы больное Отечество, которое более семидесяти лет уничтожали, унижали, — возродилось к жизни.

Россия встает с колен... Десятилетиями осуществлялась денационализация России. Выбивалось последовательно русское дворянство, русское купечество, русское духовенство, русская интеллигенция, русская инженерия, русское крестьянство, русский потомственный рабочий класс — все здоровое, пассионарно сильное, духовно мощное. Однако, почему и сегодня нас, уже ослабленных, в пучине гибели и одичания — так боятся? Какая мощная сила сидит в нашем народе? Не свидетельство ли этой силы — и явление Александра Солженицына? Есть у России духовные лидеры. Значит, возродится и вера, возродится и народ. Неизбежность возрождения — в этом заключается **кредо писателя!**

ИСТОРИЯ

Очерки. Мемуары. Документы.



Рубрику ведут Андрей Кочетов и Алексей Тимофеев.

Летопись в рассказах лидеров, участников и очевидцев революционных дней.

Продолжение. Начало в № 11, 1989, №№ 2—4, 7, 8, 1990.

«Русские люди! Великая родина наша умирает. Близок час ее кончины. Вынужденный выступить открыто, я, генерал Корнилов, заявляю, что Временное правительство под давлением большевистского большинства Советов действует в полном согласии с планами германского генерального штаба...» — обращался 2В августа 1917 г. к народу верховный главнокомандующий русской армии, призвавший к решительным действиям, направленным на прекращение прогрессирующих повсеместно в стране «разрухи и развала». Генерал от инфантерии Лавр Георгиевич Корнилов (1870—191В) был широко известен в стране — выходец из простой казачьей семьи, георгиевский кавалер, участник русско-японской войны, особенную популярность принес ему дерзкий побег из германского плена, куда он попал в 1915 году. Образ Корнилова, как и других вождей «белого дела», долгие годы искажался. Между тем он с золотой медалью окончил Академию Генштаба, знал восточные языки, писал обзорные статьи о Персии и Индии и опубликовал книгу «Кашгария и Восточный Туркестан».

В августе 1917 года, казалось, его поход на Петроград имел шансы на успех — на сторону Корнилова склонялось большинство офицеров и лучшие строевые части. Вся страна устала от продолжавшегося хаоса, от неисполненных обещаний и посулов Временного правительства... Необходима была твердая власть. Ленин или Корнилов? — только так, по мнению П. Н. Милюкова, стоял вопрос. Поражение корниловского выступления было сокрушительным. Эффект оказался прямо противоположным ожидаемому организаторами. В армии окончательно упал авторитет генералов и офицеров, участились случаи их убийства, резко ухудшилось экономическое положение, продовольственное снабжение, стремительно нарастали дезертирство, безработица и преступность. Произошла радикальная большевизация Советов, решение вопроса о власти стало вопросом времени.

В чем же причины поражения верховного главнокомандующего? Конечно, сказались отмечаемые еще А. А. Брусиловым «зарывчатость» и прямолинейность Корнилова, тактические просчеты, определенный авантюризм окружения генерала. Вообще же, как и позднее, в идеологии «белого дела» отсутствовали цельность и последовательность, под одним флагом пытались объединиться очень различные по политическим воззрениям люди. Тот же Л. Г. Корнилов, как пишут в энциклопедиях, «ярый монархист», в марте 1917 года будучи назначенным командующим мятежным Петроградским военным округом, брал под араст императрицу Александру Федоровну, ее детей и придворных...

Как пишет в своем исследовании «Белое дело». Генерал Корнилов» (М., Наука, 19В9) советский историк Г. З. Иоффе, до сих пор в зарубежной историографии идет спор о корниловском выступлении. Был ли вообще конспиративный заговор правых сил? Какова роль Керенского? Книга Иоффе — практически единственный доступный широкому читателю источник информации об одном из ключевых событий 1917 года. Автор обвиняет «реакционную военщину» в «шовинизме» и демагогии, привычно во всем оправдывая большевиков («Успех революции — высший закон!»). Конечно, пора публиковать все упоминаемые историком, еще недавно спецхрановские, архивные документы и мемуары (а их немало). Заслуживают внимания и книги белоэмигрантских историков, таких как, например, С. П. Мельгунов, и, в частности, его изданная в Париже работа «Золотой немецкий ключ большевиков».

Еще в 192В году в издательстве «Красная газета» был выпущен в свет сборник «Мятеж Корнилова. Из белых мемуаров», откуда и взяты фрагменты воспоминаний о тех днях казачьего генерала П. Н. Краснова и не нуждающегося в особых представлениях Б. В. Савинкова. Судьба обоих, помимо участия в событиях 1917 года, достойна отдельных книг. Впрочем, и Краснов и Савинков сами были известными литераторами, первый — автор романов («От двуглавого орла к красному знамени» и др.) второй — повестей («Конь вороной», «Конь бледный») и стихов.

П. Н. Краснов, в 1919 году уехавший в эмиграцию в Германию, в 1947 году был, в числе других белых генералов, поднявшихся вместе с вермахтом на «ратный подвиг всех антибольшевистских борцов», повешен по приговору Военной коллегии Верховного Суда СССР. Б. В. Савинков, вернувшийся в августе 1924 г. в Советскую Россию в результате точно рассчитанной операции ОГПУ, был приговорен к 10 годам тюремного заключения, а в мае следующего года, по официальной версии, покончил с собой. В главе 9 «Архипелага ГУЛАГ» А. И. Солженицын настаивает на том, что знаменитый раволюционер был убит в тюрьме. В № В журнала «Наш современник» публикуется документальная повесть Д. Жукова «Б. Савинков и В. Ропшин. Террорист и писатель».

Сам генерал Корнилов погиб во время наступления Добровольческой армии в марте 191В г. Тайное захоронение, как пишет Г. З. Иоффе, было обнаружено красными, труп был вырыт и сожжен в окрестностях Екатеринодара...

В следующем выпуске рубрики «От Февраля до Октября» — воспоминания В. Б. Станкевича и Н. И. Махно.





8 июня ген. Корнилов прибыл в Каменец-Подольск. С ним приехал и его ординарец г. Завойко, который в тот же день спросил меня, что я думаю о желательности и о возможности военной диктатуры в России. Я ответил ему, что я революционер и республиканец и что всякую единоличную диктатуру считаю бедствием для народа. Не ограничившись этим и предполагая, что г. Завойко, быть может, спрашивал меня от имени ген. Корнилова, я вечером, в присутствии М. М. Филоненко, заговорил с ген. Корниловым об его взгляде на политическое положение страны. Между прочим я сказал ему следующее: «Возможно, что когда-нибудь наступит день, господин генерал, когда у вас явится желание расстрелять меня, как революционера, и я не сомневаюсь, что вы постараетесь привести это желание в исполнение. Но я должен вас предупредить, что в тот же день и пожелаю расстрелять вас и, конечно, приложу все усилия, чтобы исполнить это». Ген. Корнилов ответил: «С Романовыми у меня соглашения быть не может. Для себя лично я ничего не хочу. К единоличной диктатуре я не стремлюсь. Я хочу одного, чтобы Россия была спасена, т. е. чтобы армия возродилась». Я поверил ген. Корнилову и думаю до сих пор, что не ошибся.

Начало июля было началом так называемого Тарнопольского разгрома. За исключением кавалерийских частей, ударных баталионов и немногих пехотных полков, наши войска бежали перед втрое слабейшим противником. Я был свидетелем этого бегства, свидетелем, как доблестные защитники родины умирали, не поддержанные резервами, брошенные на произвол судьбы своими товарищами. Большие дороги, поселки, даже поля были покрыты толпами беглецов, бросавших винтовки, бросавших орудия и если не бросавших обозов, то лишь потому, что у противника не было кавалерии. Стихийное бегство невозможно было остановить речами и резолюциями. Оно было остановлено броневыми машинами. Это был уже не первый случай, когда на юго-западном фронте пришлось применить вооруженную силу. Еще 7 июля я шифрованно телеграфировал военному министру, копии верховному главнокомандующему юго-западным фронтом и комиссару северного фронта...

9 июля я послал военному министру и одновременно верховному главнокомандующему, копия главнокомандующему юго-западным фронтом следующее телеграфное донесение: «Дороги запружены. Много дезертиров. Большая часть без винтовок, с ранами в левую руку. Посетил позиции по Серету. Настроение пестрое. Неудачи отношу на большевистскую пропаганду, на нередкую неудовлетворительность командного состава, на нерешительность и колебания полномочных органов революционного большинства по отношению к армии. № 125. Комиссарюз Савинков».

Нерешительность и колебания попытался прекратить ген. Корнилов.

10 июля вечером ген. Корнилов пригласил меня и М. М. Филоненко к себе, в Ставку. Мы нашли там г. Завойко. г. Завойко прочитал нам текст составленной им телеграммы на имя министра-председателя, в которой ген. Корнилов требовал введения смертной казни на фронте. Когда г. Завойко кончил читать, ген. Корнилов обратился ко мне и М. М. Филоненко с вопросом, разделяем ли мы мнение, изложенное в телеграмме. Мы ответили, что разделяем вполне. Однако я счел нужным прибавить, что нахожу, что телеграмма составлена в таких ультимативных выражениях, что дает повод истолковать ее, как угрозу Временному правительству в смысле неизбежности утверждения единоличной диктатуры в России. Я отметил также, что в этом случае ген. Корнилов встретит во мне врага.

Ген. Корнилов согласился, что телеграмма изложена неудачно. Первоначальный, составленный г. Завойко, текст ее был уничтожен и тут же, за столом у ген. Корнилова, М. М. Филоненкой, Завойко и мной был на-

ИЮЛЬ

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

3 — 16 — понедельник. Забастовка заводов Леснера, Нобеля, Парвиайнена, Путиловского, Нового Айваза в саязи с кризисом Вр. Прав. Выступление войск. Митинги, манифестации у даорца Кшесинской с лозунгами: «Долой 10 министров-капиталистов», «Вся власть С. Р. и С. Д.», «Прекратить наступление», «Конфискоаать типографии буржуазных газет», «Объяаить землю государственной собстаенностью», «Контроль иад производством». — Войсковые части, выделившие депутации, выставили эти же требоаиия. Вооруженые грузовики. Стрельба на улицах. Заиятие и развод мостов через Неау. — Резолюция рабочей секции Сов. Раб. Деп. о необходимости перехода власти в руки Советов. Меньшевики и эс-эры покииули заседание. Избрание особой комиссии из 15 лиц, которой поручено действовать от имени рабочей секции в коитакте с В. Ц. И. К. и Петр. Сов. Раб. Деп. — Дамонстрация у Таврического дворца. — Захват типографии «Ноаое Время». — Отставка министров-кадетов — Шингарева, Мануилова, Шаховского, Некрасова и Степанова. — Распоряжаиие Вр. Прав. о воспрещении каких бы то ни было демонстраций. — Экстренное заседание Исп. Ком. С. Р. и С. Д. и Сов. Кр. Деп. с участиам делегатов от петрогр. заодов и воинских частай. Большевики покинули заседание.

4 — 17 — вторник. Ночью прекратилась стрельба. — Рабочие Путиловского завода выделили делегацию на происходившее заседание Соаета. — Забастовки продолжаются. Приезд кронштадтских моряков. Вооруженные демонстрации. Избиение В. М. Чернова у Тааричесного дворца. Мобилизация Временным Правительством юикеров и казачьих частеи.

5 — 18 — среда. Разгром типографии и редакции газеты «Правда». Опубликованы Алексинским и Панкратовым «разоблачения» контрразаедки. — Вр. Прав. поручило министру М. И. Скобелеву и упр. военн. и морск. мин. В. И. Лебедеву соаместно с представителями В. Ц. И. К., С. Р. и С. Д. и И. К. Всер. Сов. Кр. Деп. А. Р. Гоцем и Н. Д. Авксентьевым объедиинить в своих руках асе действия военных и гражданских властей по восстаиовлению и поддержанию революциоиного порядка в пределах Петроградского аоенного округа.

6 — 19 — четверг. Наступление немцеа иа юго-западном фронте; прорыв фронта под Тарнополем. — Занятие правительствеиными аойсками особняка Кшесинской и Петропааловской крепости. — Постановление Вр. Прав. о иаказании аииовиых в призыве во время аойны офицеров, солдат и прочих военных чинов к неисполнению законоа и распоряжений военной власти, как за государственную измену. — Финляндский Сейм приял законо-

писан новый нижеследующий ее текст:

«Армия обезумевших темных людей, не ограждавшихся властью от систематического развращения и разложения, потерявших чувство человеческого достоинства, бежит. На полях, которые даже нельзя назвать полями сражений, царит сплошной ужас, позор и срам, которых русская армия еще не знала с самого начала своего существования. Это бедствие может быть прекращено, и этот стыд будет смыт или революционным правительством, или, если оно не сумеет этого сделать, то неизбежным ходом истории будут выдвинуты другие люди, которые, сняв бесчестие, вместе с тем уничтожат завоевания революции и потому тоже не смогут дать счастья стране. Выбора нет: революционная власть должна стать на путь определенный и твердый. Лишь в этом спасение родины и свободы. Я, генерал Корнилов, вся жизнь которого от первого дня сознательного существования доныне проходит в беззаветном служении родине, заявляю, что отечество гибнет и потому, хотя и неспрошенный, требую немедленного прекращения наступления на всех фронтах в целях сохранения и спасения армии для ее реорганизации на началах строгой дисциплины и дабы не жертвовать жизнью немногих героев, имеющих право увидеть лучшие дни. Необходимо немедленное, как мера временная, исключительная, вызываемая безвыходностью создавшегося военного положения, введение смертной казни и учреждение полевых судов на театре военных действий. Не следует заблуждаться: меры кротости правительственной, расшатывая необходимую в армии дисциплину, стихийно вызывают беспорядочную жестокость ничем не сдержанных масс, и стихия эта проявляется в буйствах, насилиях, грабежах, убийствах. Не следует заблуждаться: смерть не только от вражеской пули, но и от руки своих же братьев непрестанно витает над армией. Смертная казнь спасет невинные жизни ценою гибели немногих изменников, предателей и трусов. Сообщаю вам, стоящим у кормила власти, что время слов, увещаний и пожеланий прошло, что необходима непоколебимая государственно-революционная власть. Я заявляю, что, занимая высокоответственный пост, я никогда в жизни не соглашусь быть одним из орудий гибели родины. Довольно! Я заявляю, что, если правительство не утвердит предлагаемых мною мер и тем лишит меня единственного средства спасти армию и использовать ее по действительному ее назначению защиты родины и свободы, то я, генерал Корнилов, самовольно слагаю с себя полномочия главнокомандующего. 3911. Генерал Корнилов. Со своей стороны вполне разделяю мнение генерала Корнилова и поддерживаю высказанное им от слова до слова. Комиссар Савинков.

Телеграмма эта была отправлена 10 июля министру-председателю и военному министру, а также верховному главнокомандующему. Последний, со своей стороны, поддержал требование ген. Корнилова, протелеграфировав А. Ф. Керенскому: «К № 3911 генерала Корнилова о необходимости ввести смертную казнь. Требование о введении смертной казни на театре военных действий всемерно поддерживаю, указывая, как верховный главнокомандующий, что это единственный способ вернуть боеспособность армии. 11 июля 1917. № 4997. Брусилов».

...Временное Правительство удовлетворило требование ген. Корнилова и особым постановлением ввело смертную казнь на театре военных действий.

С назначением ген. Корнилова главнокомандующим войсками юго-западного фронта стала возможной планомерная борьба с «большевиками». В сущности «большевиков» в настоящем значении этого слова в действующей армии почти не было, т. е. почти не было убежденных людей, защищающих определенную политическую программу. «Большевизм» выражался в неисполнении боевых приказаний и в подстрекательстве к такому неисполнению, в попытках братания и в пропаганде немедленного и на любых условиях мира с Германией. Подстрекателями и пропагандистами являлись или бывшие жандармы и городовые, или социалисты, до переворота принадлежавшие к «союзу русского народа» и другим подобным организациям, или демагоги из офицеров, надеявшиеся сделать быструю и построенную не на боевых заслугах карьеру. Эти «большевики» имели в полках успех, потому что эксплуатировали естественное и трудно преодолимое нежелание рядового солдата идти в бой и рисковать своей жизнью. Солдатская масса, несдерживаемая воинской дисциплиной, привыкшая к безнаказанности, часто разнузданная боевой жизнью и всегда недостаточно ясно сознающая необходимость защищать родину, шла охотно навстречу увещаниям не повиноваться начальству, тем более, что и начальство не во всех случаях бывало на высоте своей чрезвычайно трудной задачи. Бороться с «большевизмом» можно было только двояко: устранением из командного состава лиц, граждански неподготовленных и в боевом отношении неудовлетворительных, и суровыми карами против пропагандистов, подстрекателей и неисполняющих боевых приказаний, как бы они себя ни называли и в каком бы чине ни состояли. Ген. Корнилов начал эту борьбу.

По приказанию ген. Корнилова был арестован Каменец-Подольский уездный комиссар Временного правительства, ибо несколько десятков крестьян показали, что он вел в деревнях «большевистскую» пропаганду. За арестованного комиссара вступились разные союзы и общества, и делегаты их угрожали, что крестьяне всей Подольской губ. придут освобождать его из губернской тюрьмы. Ген. Корнилов выслушал эту угрозу и сказал делегатам: «Пусть крестьяне придут, но я освободить не могу». В другой раз, когда арестованный «большевик» отказался следовать от этапного командира в тюрьму и заявил, что даже если применят к нему вооруженную силу, то и тогда он не подчинится распоряжению начальства, ген. Корнилов коротко приказал по телефону: «применить». Подобных случаев было много, и они свидетельствовали в глазах населения о том, что на Юго-Западном фронте есть законная власть, которая не поддается ничьим влияниям и в точности исполняет постановления Временного правительства... В полках «большевикам» стало ясно, что они не останутся безнаказанными, и «большевистская» пропаганда начала уменьшаться. Она начала уменьшаться еще вследствие того, что ген. Корнилов назначил расследование о действиях всех генералов, которые во время тарнопольского разгрома не приняли достаточно решительных мер, чтобы удержать солдатскую массу от бегства, или подали пример колебания. У «большевиков» была отнята возможность ссылаться на то, что высшее начальство «покрывает» своих подчиненных, и что генералы не несут наказания за то, за что наказываются солдаты. И, если ген. Корнилов не останавливался перед тем, чтобы грозить расстрелом, напр., крестьянам, мешавшим уборке хлеба, то он расстрелом же грозил и помещикам, в случае, если хлеб будет не убран по их, а не по крестьянской, вине. «Армия прежде всего. Без армии нельзя оборонить родины, а без родины нет свободы». Так рассуждал ген. Корнилов. И за короткое время, пока ген. Корнилов командовал войсками Юго-Западного фронта, вверенные ему армии, несмотря на военные неудачи, мало-помалу начали приходить в порядок. Конечно, они еще не могли возродиться. Уничтоженная в один день дисциплина не могла быть восстановлена в такой же короткий срок...

Так как 8 августа А. Ф. Керенский заявил мне, что никогда и ни при каких обстоятельствах не подпишет законопроекта о военно-революционных судах в тылу, то я просил ген. Корнилова представить во Временное правительство докладную записку от своего имени, а так как разногласие мое, управляющего военным министерством, с А. Ф. Керенским, военным министром, стало очевидным, я счел необходимым подать в отставку.

А. Ф. Керенский отставки моей не принял, но рассмотрения докладной записки ген. Корнилова Временным правительством не допустил и выехал на совещание в Москву, где и произнес свою известную речь.

По возвращении из Москвы А. Ф. Керенский сообщил мне, что принципиально согласен с ген. Корниловым, и это его заявление дало мне возможность вернуться к управлению делами военного министерства. Тогда же по приказанию А. Ф. Керенского был составлен законопроект о военно-революционных судах в тылу, законченный к 22 августа.

Кроме этого законопроекта, в короткий срок от 17 до 22 августа, военное министерство, следуя духу программы ген. Корнилова, представило во Временное правительство три второстепенных законопроекта: о промотании казенного имущества и оружия, о запрещении карточной игры в войсках и о рассредоточении военно-окружных судов. Тогда же, после рижского прорыва, военное министерство настояло на подчинении Петроградского военного округа верховному главнокомандующему и на выделении из этого округа г. Петрограда с объявлением его на военном положении. Для реального осуществления военного положения в связи с готовившимся выступлением «большевиков» по приказанию А. Ф. Керенского у верховного главнокомандующего должен был быть испрошен конный корпус.

23 и 24 августа я в Ставке посетил ген. Корнилова, представил ему законопроект о военно-революционных судах в тылу, сообщил ему об уже принятых Временным правительством законопроектах и испросил конный корпус. Ген. Корнилов, у которого постепенно нарастало недоверие к Временному правительству, выслушав меня, обещал всемерно поддерживать А. Ф. Керенского, для блага отечества.

Таким образом, 26 августа программа ген. Корнилова была накануне осуществления. Вопрос о поднятии боевой способности армии из области слов как будто начинал переходить в область дела. Разногласия между ген. Корниловым и А. Ф. Керенским как будто были устранены. Как будто открылась надежда, что Россия выйдет из кризиса не только обновленною, но и сильной.

26 августа вечером я приехал в Зимний дворец на заседание Временного правительства, в уверенности, что на заседании этом будет рассматриваться, как это утром мне обещал А. Ф. Керенский, законопроект о военно-революционных судах в тылу. Принятие этого законопроекта, а также появление в Петрограде конного корпуса, которое ожидалось в ближайшие дни, должны были знаменовать поворот в правительственной политике. Я был счастлив, что А. Ф. Керенский усвоил себе, по-видимому, программу ген. Корнилова.

Но ожидаемое заседание не состоялось. А. Ф. Керенский вызвал меня из Малахитового зала к себе в кабинет и показал мне так называемый «ультиматум» Львова. Я не поверил моим глазам, памятуя слова ген. Корнилова, сказанные им в Ставке, что он всемерно будет поддерживать А. Ф. Керенского для блага отечества. Я предчувствовал недоразумение. Я просил А. Ф. Керенского войти в соглашение с ген. Корниловым и попытаться ликвидировать «ультиматум» без огласки и без соблазна. Я указывал, что противоположное приведет к осложнениям, выгодным исключительно для противника. А. Ф. Керенский не согласился со мной. На следующий день я в присутствии многих лиц, в том числе В. А. Маклакова, имел... беседу с ген. Корниловым по аппарату Юза...

Беседа эта укрепила меня в уверенности, что в основе всего происшедшего лежит недоразумение. Я не знал, кто или что является причиною этого недоразумения, но я видел, что ген. Корнилов не стоит на точке зрения предъявленного Львовым «ультиматума». Я снова ходатайствовал перед А. Ф. Керенским о мирной ликвидации конфликта, но А. Ф. Керенский и на этот раз не согласился со мною и поручил мне оборонять Петроград от ген. Корнилова в качестве военного генерал-губернатора г. Петрограда.

Я принял это поручение по двум причинам. Во-первых, глубоко веря в бескорыстие и беззаветную любовь к родине ген. Корнилова, я не имел оснований относиться с тем же доверием к некоторым из окружавших его лиц. Более того, я подозревал этих лиц в стремлениях монархических и опасался, что в случае неудачи предприятия ген. Корнилова, не он, ген. Корнилов, станет во главе правительства и будет руководить правительственною политикой, а управлять Россией будут люди, едва ли в такой же мере, как он, одушевленные любовью к России. Во-вторых, я, как военнослужащий, считал своим долгом беспрекословно исполнять приказания моего непосредственного начальства, даже в случае, если я и не вполне с этими приказаниями согласен. Приняв же на себя возложенное А. Ф. Керенским поручение, я считал своим долгом, как военный генерал-губернатор г. Петрограда, не только принять все меры к обороне вверенного мне города, но и разделить в официальных документах правительственную версию о предприятии ген. Корнилова.

Таким образом, я оказался врагом человека, к которому относился с глубоким уважением, как к человеку безупречному во всех отношениях, а прямой и мужественный характер которого поселил во мне чувство привязанности.

ИЮЛЬ

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

проект об автономии Финляндии. — Закрыта «Маленькая Газета» Суворина за погромную агитацию. — Собрание Центрального Бюро проф. союзов, Центрального Совета ф.-зав. комитетов и правлений проф. союзов Петрограда вынесло резолюцию протеста против приостановки «Правды» с призывом к бойкоту контрреволюционной печати.

7 — 20 — пятница. Отъезд Керенского на фронт. — Предписание Временного Правительства об аресте Н. Ленина, Г. Зиновьева, Л. Б. Каменева. — Обыск в квартире Н. Ленина.

12 — 25 — среда. Постановление Врем. Прав. о восстановлении смертной казни на фронте и об организации военно-революционных судов из солдат и офицеров.

17 — 30 — понедельник. Циркуляр министра внутренних дел И. Г. Церетели губернским и областным комитетам общественных организаций по земельному вопросу. Указывая на поступающие отовсюду сведения о «захвате запашек и засевах чужих полей, снятии рабочих и предъявлении непосильных для сельских хозяев экономических требований», Церетели предлагает принять «скорые и решительные меры к прекращению всех самоуправных действий в области земельных отношений».

18 — 31 — вторник. Обращение Временного Правительства к союзным державам по вопросу об отношении правительства к войне. — Частное совещание членов Государственной Думы, на котором одобрена резолюция о необходимости твердой и сильной власти. Речи Милюкова, Масленникова, Пуришкевича, Родичева и др., направленные против Советов Раб. и Солд. Деп.

19 — 1 — среда. Увольнение верховного главнокомандующего Брусилова. Назначение на его место ген. Корнилова. Назначение Филоненко комиссаром Временного Правительства при верховном главнокоманд. Назначение комиссара Юго-Западного фронта Б. В. Савинкова помощником военного министра. — Заявление министра земледелия В. М. Чернова об отставке. — Приказание главнокомандующего Юго-Западным фронтом о закрытии съезда казаков фронта. — Привлечение к ответственности Н. Ленина, Г. Зиновьева, Л. Каменева и др. по 251 и 100 ст. угол. улож.

20 — 2 — четверг. Временное Правительство утвердило 1 раздел проекта положения о выборах в Учредительное Собрание.

22 — 4 — суббота. Постановление Ц. К. кадетской партии о всемерной поддержке Временного Правительства, которое образует А. Ф. Керенский. — Официальное заявление А. Ф. Керенского о том, что

П. Н. КРАСНОВ

СПАСТИ АРМИЮ



28 августа, в 4 часа утра, я прибыл в Могилев. Когда я в 9 часов вышел, чтобы ехать в Ставку, Могилев имел обычный вид. На станции, как и всегда, толпились офицеры, много было солдат ударных батальонов с голубыми щитами, нашитыми на левом рукаве рубахи с изображением белой краской черепа и мертвых костей. Не понравились они мне. Чем-то бутафорским веяло от этих неаккуратно сделанных нарукавных нашивок... Я всю войну провел на позиции. В ставке я никогда не бывал, даже и в штабах армии за все три года войны счетом был три раза. Я с любопытством оглядывал большой город и массы солдат, ходивших по нему. Проехал взвод туркмен, и я полюбовался их прекрасными статными лошадьми. В общем был полный порядок.

После небольших формальностей меня пропустили в дом верховного главнокомандующего. Главнокомандующий был занят, и мне предложили подождать на площадке 2-го этажа парадной лестницы. Вскоре туда поднялся искалеченный офицер. Он страстно, в повышенном тоне стал говорить мне о том, что батальон инвалидов постановил предоставить себя в полное распоряжение верховного главнокомандующего и что он приехал с депутацией заявить об этом генералу Корнилову. О Корнилове он отзывался восторженно со слезами на глазах. «Тяжело же должно быть теперь положение главнокомандующего, — подумал я, — если инвалидам приходится его защищать». Во время разговора с инвалидом меня потребовали в кабинет начальника штаба. Начальник штаба сбивчиво и неясно, видимо сильно волнуясь, объяснил мне, что только что Корнилов объявил Керенского изменником, а Керенский сделал то же самое по отношению к Корнилову, что необходимо арестовать Временное правительство и прочно занять Петроград верными Корнилову войсками, тогда явится возможность продолжать войну и победить немцев. С этой целью Корнилов двинул на Петроград 3-й конный корпус, который с приданной к нему Кавказской Туземной дивизией разворачивается в армию, командовать которой назначен генерал Крымов. Кавказская дивизия разворачивается в Туземный корпус приданием к ней 1-го Осетинского и 1-го Дагестанского полков. Я же назначен принять от Крымова 3-й конный корпус, чтобы освободить его для командования армией. Сложная работа разворачивания Кавказской Туземной дивизии в корпус шла на походе, да и не на настоящем походе, а в вагонах железнодорожных эшелонов. На деликатное дело военного переворота были брошены части с только что назначенными начальниками. Туземцы не знали Крымова, Уссурийская конная дивизия 3-го корпуса не знала меня.

На мой вопрос, где же я могу настигнуть свой корпус, начальник штаба очень неуверенно начал говорить, что корпус может быть уже и в Петрограде или в Пскове, в Пскове наверное, что туземцы или в Павловске, или на станции Дно, что все движется эшелонами и в данное время связи еще нет. В это время дверь кабинета начальника штаба распахнулась и в нее быстрыми, твердыми шагами вошел невысокого роста генерал, аккуратно одетый, с коротко остриженными черными волосами и черными нависшими над губою усами. Лицо его было смуглое, глаза узкие, чуть косые и с сильным блеском, быстрые. Я никогда не видал раньше Корнилова, но сейчас же узнал его по портретам. Я представился ему.

— С нами вы, генерал, или против нас? — быстро и твердо спросил меня Корнилов.

— Я старый солдат, ваше высокопревосходительство, — отвечал я, — и всякое ваше приказание исполню в точности и беспрекословно.

— Ну, вот и отлично. Поезжайте сейчас в Псков. Постарайтесь отыскать там Крымова. Если его там нет, оставайтесь пока в Пскове; нужно, чтобы побольше было генералов в Пскове. Я не знаю, как Клембовский. Во всяком случае явитесь к нему. От него получите указания. Да поможет вам Господь! — Корнилов протянул мне руку, давая понять, что аудиенция кончена.

Поезд на Псков отходит в 2 часа дня, было всего половина 12-го, и я пошел пешком по Могилеву в штаб походного атамана. На улицах толпилось очень много ударников из ударных батальонов, они щеголевато отдавали честь, но видимо были смущены, собирались кучками и о чем-то шептались.

В штабе походного атамана у меня все были старые знакомые и сослуживцы. И начальник штаба, генерал от кавалерии Смагин, и Сазонов, и чины штаба, полковник Власов и Греков, были уверены в полном успехе дела. Они мне подробно рассказали о том, что Керенский определенно ведет армию к полному разложению и, если он останется у власти, то солдаты покинут фронт и станут брататься с немцами. Керенский совершенно подчинился Исполнительному Комитету Совета Солдатских и Рабочих Депутатов, того Совета, который издал приказ № 1. Правительство ничего не стоит и ничего не понимает; России угрожает гибель. Спасти может только диктатура, и в решительную минуту, когда самое существование России висело на волоске, верховный главнокомандующий взял на себя свергнуть Керенского и стать во главе России до Учредительного Собрания.

Тут же мне показали приказ Корнилова, написанный в сильных, но слишком личных тонах. «Сын казака-крестьянина» звучало как-то не у места и не отвечало всему тону приказа, написанного не по-крестьянски. В приказе звучала фальшь. Я ее сейчас заметил. В штабе походного атамана ее не замечали, но солдаты и казаки уловили ее сразу и потом только ее и видели. Психология тогдашнего крестьянина и казака была проста до грубости: — «долой войну. Подавай нам мир и землю. Мир по *телеграфу*». — А приказ настойчиво звал к войне и победе. Керенский, который лучше понимал настроение массы, сейчас же учуял эту фразу, и его контрприказ, объявлявший Корнилова изменником и контрреволюционером, сразу завоевал симпатии солдатской массы. Разговаривая со Смагиным и Сазоновым, я откровенно высказал и следующие свои взгляды по поводу всего дела.

Замышляется очень деликатная и сильная операция, требующая вдохновения и порыва. Coup d'état*, — для которого неизбежно нужна некоторая театральность обстановки. Собирали 3-й корпус под Могилевом? Выстраивали его в конном строю для Корнилова? Приезжал Корнилов к нему? Звучали победные марши над полем, было сказано какое-либо сильное увлекающее слово, — боже сохрани — не речь, а именно *слово*, — была обещана награда? Нет, нет и нет. Ничего этого не было. Эшелоны ползли по железным путям, часами стояли на станциях. Солдаты толпились в красных коробках вагонов, а потом, на станции, толпами стояли около какого-нибудь оратора — железнодорожного техника, постороннего солдата, — кто его знает кого? Они не видели своих вождей с собою и даже не знали, где они. Я помню, как гр. Келлер повел нас на штурм Ржавендов и Топороуца. Молчаливо, весенним утром, на черном пахотном поле выстроились 48 эскадронов и сотен и 4 конные батареи. Раздались звуки труб, и на громадном коне, окруженный свитой, под развевающимся своим значком явился граф Келлер. Он что-то сказал казакам и солдатам. Никто ничего не слыхал, но заревела солдатская масса «ура», заглушая звуки труб, и потянулись по грязным весенним дорогам колонны. И когда был бой, казалось, что граф тут же и вот-вот появится со своим значком. А он был тут, он был в поле и его видели даже там, где его не было. И шли на штурм весело и смело.

Тут все начальство осталось позади. Корнилов задумал такое великое дело, а сам остался в Могилеве, во дворце, окруженный туркменами и ударниками, как будто и сам не верящий в успех. Крымов неизвестно где, части не в руках у своих начальников.

Легенда о «всаднике на белом коне», въезжающем победителем в город, слишком сильно въелась в народные умы, чтобы ею можно было пренебрегать, совершая coup d'état.

Все это я высказал в штабе. Но меня разуверили и успокоили: Керенского в армии ненавидят. Кто он такой? — штатский, едва ли не еврей, не умеющий себя держать фигляр, а против него брошены лучшие части. Крымова обожают, туземцам все равно, куда идти и кого резать, лишь бы их князь Багратион был с ними. Никто Керенского защищать не будет. Это только прогулка, все подготовлено.

Но тогда еще менее мне было понятно, почему же в эту прогулку не пошел сразу с нами Корнилов.

В штабе походного атамана горячо желали мне успеха, но сами волновались, сами боялись даже Могилева. Я хотел идти на станцию пешком. Меня не пустили.

— Нельзя, милый друг, — сказал мне Д. П. Сазонов. — Мало ли что может случиться. Мы тебе дадим автомобиль.

Смагин навязал сопровождать меня сотника Генералова, случайно бывшего у них, опять-таки под тем предлогом, что мало ли что может выйти, и всегда хорошо иметь при себе верного и надежного человека.

В час дня я был на станции, получил место в прямом скором поезде и в ожидании его сел обедать. На станции я узнал, что только что уехал из Ставки в Петроград на паровозе Филоненко, приезжавший от Керенского уговаривать Корнилова. Рассказывавший мне это офицер сказал, что Корнилов убедил Филоненко в правоте своего поступка и Филоненко будто бы теперь помчался уговаривать Керенского принять диктатуру Корнилова, причем Корнилов оставлял за Керенским пост министра юстиции.

В разговор вмешался другой офицер и стал доказывать, что Керенский никогда не примирится с постом министра юстиции, что он крайне честолюбив и сам жаждет диктатуры, при этом рассказывал те сплетни, которые ходили тогда, что Керенский спит в постели императрицы и носит белье императора.

Делалось страшное, великое дело, а грязная пошлость выпирала отовсюду.

В 2 часа 50 минут я с сотником Генераловым сел в отведенное нам купе и поехал к Петрограду.

Поезд шел поразительно точно. Проводник вагона говорил нам, что все железнодорожники на стороне Корнилова, что они мечтают, чтобы кто-либо обуздал беспардонные банды солдат, которые носятся теперь по всем путям, загаживают вагоны первого класса, бьют стекла, срывают обивку и терроризируют всех железнодорожников.

По пути я обдумывал, что же мы должны будем делать. Нашей задачей, сколько я мог понять в Ставке, являлся арест членов Временного правительства и арест солдатских и рабочих депутатов, иными словами захват Зимнего дворца, Смольного института и Таврического дворца. Какое и откуда сопротивление мы могли встретить? Конечно, «краса и гордость революции» — матросы вступятся за своего вождя и героя, может быть, рабочие и, весьма вероятно, Петроградский гарнизон, который стал в положение преторианцев и боится, что Корнилов отправит его на фронт. Наших сил было мало. Но считаясь с трусливым настроением петроградских солдат, с тем, что корпус представляет из себя отборных бойцов, считаясь с тем, что уличный бой вести очень трудно и офицеры Петроградского гарнизона, училища и проч., вероятно, на нашей стороне, можно было рассчитывать и на успех. Хотелось только возможно скорее увидеть корпус *собранным в поле*, как грозная сила, со всеми его батареями и пулеметами, а не иметь его разбросанным по путям железной дороги.

Невольно задумывался я о своем положении. В случае удачи — ореол славы Корнилова захватит и нас, его сотрудников; в случае крушения дел нам придется разделить его участь — тюрьму, полевой суд и смертную казнь. Однако чувствовал, что и в этом случае идти надо, по-

* Государственный переворот (фр.)

ИЮЛЬ
ХРОНИКА СОБЫТИЙ

он считает необходимым при преобразовании правительства исходить из тех начал, которые им были преемственно выработаны и изложены в декларациях. — Приказ ген. Корнилова о расстреле без суда солдат, виновных в грабежах при оставлении Тарнополя. — Арест ген. Гурко, изобличенного в монархической пропаганде на фронте, заявившего себя в переписке с Николаем Романовым после революции приверженцем царского строя. — И. К. Моск. Сов. Р. и С. Деп. постановил протестовать в самой категорической форме «против посягательства на солдатские комитеты, в какой бы форме и откуда бы они ни исходили». Постановление И. К. по телеграфу сообщено Временному Правительству, всем армейским комитетам и комиссарам армий.

23 — 5 — воскресенье. Ц. К. кадетской партии постановил предоставить право членам партии по личному выбору А. Ф. Керенского войти в состав Временного Правительства. — Арест Л. Д. Троцкого и А. В. Луначарского. — Арест в Могилеве прапорщика Крыленко «по обвинению в преступной агитации», как члена партии с.-д. большевиков.

24 — 6 — понедельник. В заседании Временного Правительства утвержден новый состав Временного Правительства: министр-председатель и военный и морской министр — А. Ф. Керенский, заместитель мин.-предс. и министр финансов — Н. В. Некрасов, министр внутр. дел — Н. Д. Авксентьев, юстиции — А. С. Зарудный, народного просвещения — С. Ф. Ольденбург, торговли и промышленности — С. Н. Прокопович, почт и телеграфа — А. М. Никитин, труда — М. И. Скобелев, продовольствия — А. В. Пешехонов, государственного призрения — И. Н. Ефремов, путей сообщения — П. П. Юренев, обер-прокурор синода — А. В. Карташев, иностранных дел — М. И. Терещенко, земледелия — В. М. Чернов, управляющий военным министерством — Б. В. Савинков, морским министерством — В. И. Лебедев, министерством финансов — М. В. Бернацкий. — Соглашение между ген. Корниловым и Временным Правительством.

26 — 8 — среда. Открытие VI-го съезда Р. С.-Д. Р. П. (большевиков).

27 — 9 — четверг. Представление министра труда Временному Правительству о воспрещении ночных работ женщин и подростков в фабрично-заводских, горных и горнозаводских предприятиях. — Обложение государственным подоходным налогом бывшего императора и его семьи. — Совещание представителей политических и общественных организаций по обороне страны в Таврическом дворце. — Конспиративное совещание казаков в Новочеркасска при участии Каледина, Караулова, Бардижа и Богаевского.

тому что не только морально все симпатии мои были на стороне Корнилова, но и юридически я был прав, так как получил приказание от своего верховного главнокомандующего и обязан его исполнить. Характерно то, что ни я, ни генерал Смагин, Сазонов, ни офицеры штаба походного атамана, мы ни разу не останавливались над вопросом о том, к какой политической партии принадлежат Корнилов и Крымов, куда будут они гнуть, если окажутся у власти. А между тем мы знали, что Корнилов считался революционером, что Крымов, которого почему-то считали монархистом и реакционером, играл какую-то таинственную роль в отречении государя императора и сносился и дружил с Гучковым. Мы все так жаждали возрождения армии и надежды на победу, что готовы были тогда идти с кем угодно, лишь бы выздоровела наша горячо любимая армия.

Спасти армию! Спасти какою угодно ценою. Не только ценою жизни, но и ценою своих убеждений — вот, что руководило нами тогда и заставляло верить Корнилову и Крымову.

В 6 часов утра, 29 августа, мы прибыли на станцию Дно, и здесь нам заявили, что поезд дальше не пойдет: между Вырицей и Павловском путь разобран, идет перестрелка между всадниками Туземного корпуса и солдатами Петроградского гарнизона, вышедшими навстречу. Все пути были заставлены эшелонами с частями Туземного корпуса. В зале I и II классов и в буфете, несмотря на ранний час, столпотворение вавилонское. Офицеры, всадники, солдаты. Кто спит на полу или на лавке, кто уже обедает, кто пьет чай, кто разложил карты и в толпе откровенно диктует приказание. Кухонный чад, волны табачного дыма и отсутствие какого бы то ни было воинского порядка. Масса знакомых — в 1915 г. я командовал 3-й бригадой Кавказской Туземной дивизии — меня обступила. Никто толком ничего не знал. Эшелоны застряли на всем пути, но никто не знал, что делать, приказаний ни от кого получено не было. Осетины и дагестанцы могли подойти только через несколько дней. Командир Туземного корпуса, князь Багратион, находился верстах в восьми от станции в каком-то имении. Туда ехал командир Ингушского полка, полковник Мерчуле, я переговорил по телефону с князем и поехал к нему, чтобы сговориться.

Странно было проезжать по шоссированной дороге между мокрыми, порыжелыми кустами ивы и смотреть на болотистые луговины и уже золотые березы, такие близкие и родные мне с детства, так напомнившие дачи и маневры всей моей жизни; и теперь предстояли тоже маневры, но только какие!

По пути попадались всадники, и так не гармонировали они своими изношенными серыми черкесками и рыжими папахами, своими поджарыми горскими лошадьми, сухими лицами с длинными носами — с печальной природой плаксивого севера.

Князь Багратион только что встал. Ночью он получил пакет от Крымова и теперь пригласил меня рассмотреть с ним присланную ему диспозицию. Диспозицию и план Петрограда, приложенные к ней, рассматривали таинственно, как заговорщики. Приказ Крымова говорил о том, что делать, когда Петроград будет занят. Какой дивизией занять какие части города, где иметь наиболее сильные караулы. Все было предусмотрено: и занятие дворцов и банков, и караулы на вокзалах железной дороги, телефонной станции, в Михайловском манеже, и окружение казарм, и обезоружение гарнизона — не было предусмотрено только одного — встречи с боем до входа в Петроград. Сам Крымов был в Пскове, но собирался мчаться дальше в самый Петроград, впереди своих войск. Прочитавши это приказание, князь Багратион поехал со мною на станцию Дно. Там был телефон с Вырицей, откуда командир 3-й бригады, князь Гагарин, мог донести Багратиону о том, что происходит.

Произошло же следующее: третья бригада, шедшая во главе Кавказской Туземной дивизии, у станции Вырицы наткнулась на разобраный путь. Черкесы и ингуши вышли из вагонов и собрались у Вырицы, а потом пошли походным порядком на Павловск и Царское Село. Между Павловском и Царским Селом их встретили ружейным огнем, и они остановились. По донесениям со стороны, вышедшие навстречу солдаты гвардейских полков драться не хотели, убегали при приближении всадников, но князь Гагарин не мог идти один с двумя полками, так как попадал в мешок. Надо было пододвинуть вперед эшелоны Туземной дивизии и начать движение 3-го конного корпуса на Лугу и Гатчину, а где находился 3-й конный корпус, никто точно не знал. Где-то тоже на путях, а Уссурийская конная дивизия даже сзади. Надо было ударить по Петрограду силою в 86 эскадронов и сотен, а ударили одною бригадою князя Гагарина в 8 слабых сотен, наполовину без начальников. Вместо того, чтобы бить кулаком, ударили пальчиком — вышло больно для пальчика и нечувствительно тому, кого ударили.

На станции Дно стояли эшелоны Кавказской Туземной дивизии. Было очевидно, что подать их вперед эшелонами нельзя. Все равно почему. Потому ли, что настроение железнодорожников после воззвания Керенского изменилось, и они уже были против Корнилова и называли его изменником, потому ли, что технически, при разрушенном пути, нельзя было подать эшелоны вперед, но эшелоны стояли, а кн. Багратион не рисковал выгрузиться и идти походом к Вырице. Казалось далеко.

Мой поезд на Псков должен был отойти в 2 часа. Около этого времени на станцию прибыло 2 эшелона Приморского драгунского полка. Солдаты сейчас же выскочили из вагонов и собрались на опушке леса за путями. У них уже были воззвания Керенского, и они горячо обсуждали, кто изменник, Корнилов или Керенский. Командир полка, полковник Шипунов, узнавши, что я нахожусь на станции и что назначен командиром 3-го конного корпуса, пошел представиться мне и просил меня поговорить с солдатами.

Я отправился за пути. Солдатская толпа сейчас же обступила меня. Я вгляделся в лица. Хорошие, славные, честные это были лица. Драгуны были прекрасно, щегольски одеты и отлично выправлены. Я сказал им, кто я. Сказал, что я знаю полк еще по японской войне, когда был с ними на охране побережья у Кайджоо и видел их в бою под Дашичао. Я прочел и разъяснил им приказ Корнилова.

— Мы должны исполнить приказ нашего верховного главнокомандующего, как верные солдаты, без всякого рассуждения. Русский народ в Учредительном Собрании рассудит, кто прав, Керенский или Корнилов, а сейчас наш долг повиноваться.

— Господин генерал, — отвечал мне солидный подпрапорщик, вахмистр со многими георгиевскими крестами. — Оборони Боже, чтобы мы отказывались исполнить приказ. Мы с полным удовольствием. Только, вишь ты, какая загвоздка вышла. И тот изменник, и другой изменник. Нам дорогою сказывали, что генерал Корнилов в Ставке уже арестован, его нет, а мы пойдем на такое дело. Ни сами не пойдем, ни вас под ответ подводить не хотим. Останемся здесь, пошлем разведчиков узнать, где правда, а тогда — с нашим удовольствием — мы свой солдатский долг отлично понимаем.

Но оставаться на станции Дно, когда каждая минута была дорога и каждый лишний солдат был нужен Крымову в Пскове, я считал невозможным.

— Хорошо, — сказал я. — Я с вами согласен, что без разведки мы не можем кинуться в бой. Ваш путь идет через Псков. В Пскове находится главнокомандующий Северным фронтом. Я еду сейчас в Псков и, если главнокомандующий подтвердит приказ генерала Корнилова, — мы обязаны его исполнить.

— Совершенно правильно, — раздались голоса солдат. — Мы исполним то, что нам скажут в штабе фронта. Так пусть и будет.

Я надеялся на солидарность между генералами. Я был уверен, что генерал Клембовский станет на точку зрения Корнилова — необходимости спасать, но не разрушать армию.

Драгуны разошлись по вагонам, и через полчаса их эшелоны потянулись по свободному пути на Псков.

В 5 часов пополудни прибыл и мой псковский поезд, и я поехал с ним, обгоняя в пути драгунские эшелоны.

Ночь была темная, августовская. На остановках то я, то сотник Генералов выходили на станции и ходили мимо драгунских эшелонов. И почти всюду мы видели одну и ту же картину: где на путях, где в вагоне, на седлах у склонившихся к ним головами вороных караковых лошадей сидели или стояли драгуны и среди них юркая личность в солдатской шинели. Слышались отрывистые фразы:

— Товарищи, что же вы! Керенский вас из-под офицерской палки вывел, свободу вам дал, а вы опять захотели тянуться перед офицером, да чтобы в зубы вам тыкали. Так, что ли?

— Товарищи! Керенский за свободу и счастие народа, а генерал Корнилов за дисциплину и смертную казнь. Ужели вы с Корниловым?

— Товарищи! Корнилов изменник России и идет вести вас на бой на защиту иностранного капитала. Он большие деньги на то получил, а Керенский хочет мира!..

Молчали драгуны, но лица их становились все сумрачнее и сумрачнее. Приверженцы Керенского пустили по железным дорогам тысячи агитаторов и ни одного не было от Корнилова.

Какая страшная драма разыгрывалась в душе солдата в эти дни? Какие ужасные мысли медленно ползли и копошились в его мозгу? Начальники с верховным главнокомандующим, генералом Корниловым, вели солдат против Временного правительства, того Временного правительства, которое дало им неслыханную свободу, которое, не отказываясь на словах, отказалось на деле от войны, потому что лето, — период упорных сражений, — проходило тихо, если не считать двух неудавшихся наступлений — июньского на юго-западном фронте и июльского на северном...

После революции, — даже и помимо приказа № 1, — между офицерами и солдатами появилась пропасть. Революция для солдата — это была свобода, а свобода — о т р и ц а н и е в о й н ы. После революции и отречения императора война исчезла из понятия солдата. Ведь войну все время называли капиталистически-империалистской. Императора больше не было; для того, чтобы окончательно освободиться от войны, надо было теперь освободиться от капиталистов; об этом кричали по всей армии большевики. Такие речи я слышал, когда меня, 5 мая, судил трибунал Видиборского солдатского совета, таких же речей я наслушался и от солдат 111-й пехотной дивизии перед убийством комиссара Линде. Солдат устал от войны, окопная жизнь ему насмерть надоела, его тянуло домой, на ту самую землю, которой он, наконец, добился. Дезертировать мешал страх наказания, и солдат ждал и прислушивался только к одному слову, и это слово было мир. Временное правительство и особенно Исполнительный Комитет Совета Солдатских и Рабочих Депутатов это слово произносили часто, то принимая, то отрицая возможность мира, они думали, значит, о мире, обсуждали его. Войны хотели только генералы и офицеры, потому что она им выгодна, так как дает им чины и награды — так внушали солдату, и солдат этому верил. Керенский вовсе не был популярен, как личность, как оратор, как идейный человек; смеялись над его жестами и его пафосом, но Керенский был их адвокатом и защитником перед офицерами и генералами, и потому был любим не как Керенский, а как идея мира. Уже то, что он был штатский, а не офицер, давало надежду солдатам, что он пойдет против войны за мир, потому что ему-то мир был нужен, а не война. И мы увидим, как отметнулась солдатская масса от своего кумира Керенского и готова была предать его, как только Керенский пошел за войну, отказался от мира «по телеграфу». Мир «по телеграфу» дали большевики, и солдатская масса пошла за ними.

Среди солдатской массы некоторые части выделялись из общего уровня. Вследствие воинственного воспитания дома, вследствие того, что война давала не только одни несчастья, но и выгоды, которыми дорожили и дома, в домашнем быту: производство в офицеры, георгиевские кресты, иногда добыча — на войну был взгляд более благожелательный. Эти части были части казачьи. Казаки вследствие своего воспитания дольше не принимали мира. Но и казаки были разные. Были воинственные войска с твердыми традициями, и были войска невоинственные с традициями молодыми, в одних и тех же войсках были станицы воинственные и миролюбивые. Потому-то Корнилов и выбрал для выполнения своей цели казаков и горцев Кавказа, что в них идея мира «по телеграфу» не свила еще прочного гнезда и они согласны были повоевать еще.

На призыв Корнилова к войне солдатская масса уже знала, как ответить. Ей это подсказали опытные и умелые агитаторы. Арестовать офицеров и послать делегатов в Петроград за указаниями. Все шесть месяцев после революции это было самое обычное дело. Чуть что — выбрать делегатов, снабдить их мандадами и ай-да! в Петроград в исполком, которому верили, как богу. Недовольны пищей, фельдфебель по старой привычке смазал по уху за провинность, не сменили старого ротного — в и с п о л к о м, там свои рассудят истинным, правильным, честным солдатским и рабочим судом!

Предоставленные самим себе, то-

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

АВГУСТ

1 — 14 — вторник. По распоряжению Временного Правительства б. царь Николай Романов с семьею отправлен в г. Тобольск.

3 — 16 — четверг. Приезд ген. Корнилова в Петроград для доклада Временному Правительству о состоянии фронта. — В заседании Временного Правительства с участием Корнилова был поставлен вопрос о распространении закона о смертной казни на всю Россию. Проект поддержан Савинковым и Лебедевым. — Приказом по армии Керенский объявил «спасибо» казакам за подавление беспорядков в июльские дни. — Открытие 2-го торгово-промышленного съезда в Москве, на котором П. П. Рябушинский произнес известную фразу о «костлявой руке голода». — Освобождение Л. Б. Каменева из тюрьмы. — Генеральный Секретариат Украйны обратился к населению с воззванием, в котором указывает на рост контрреволюционных организаций на Украйне. — Закрытие VI-го съезда Р. С.-Д. Р. П. (большевиков).

6 — 19 — воскресенье. Совет союза казачьих войск постановил довести до сведения Временного Правительства ультиматум о недопустимости смены ген. Корнилова.

7 — 20 — понедельник. В рабочей секции Сов. Раб. и Солд. Депутатов принята резолюция протеста против арестов большевиков и смертной казни. Послано приветствие арестованным Л. Д. Троцкому, А. В. Луначарскому, Коллонтай и освобожденному из тюрьмы Л. Б. Каменеву. — Освобождение из тюрьмы черносотенных деятелей: Бадмаева, Злотникова, Жеденева, Глинки. — Главный комитет союза офицеров армии и флота разослал по телеграфу военному министру, главкам фронтов и команд. армиями свое постановление о несменяемости ген. Корнилова. — Запрещение Всероссийского армейского съезда главнокомандующим юго-зап. фронта. Протест Румчерода. — Сообщение о массовых арестах членов войсковых комитетов а д. армии. Савинков распорядился закрыть казанскую большевистскую газету «Рабочий».

9 — 22 — среда. Постановлением Временного Правительства выборы в Учредительное Собрание назначены на 12 ноября 1917 г., а срок созыва Учредительного Собрания — 28 ноября. Совещание общественных деятелей в Москве отправило телеграмму Корнилову, в которой признается преступлением «всякое покушение на подрыв авторитета Корнилова».

12 — 25 — суббота. Опубликован манифест — VI-го съезда Р. С.-Д. Р. П. (большевиков) ко всем трудящимся, рабочим, солдатам и крестьянам России. — Открылось Московское Государственное Совещание. На Моск. Гос. Сов. прокурором

мящиеся в застрявших на путях эшелонах, казаки и солдаты, смущаемые воззваниями Керенского и его агитаторами, и пошли по этой проторенной за шесть месяцев дорожке — арестовать офицеров и послать делегации в Петроград спросить, что делать. Итак, в то самое время, когда Крымов расписывал диспозицию занятия Петрограда, а ингуши и черкесы перестреливались с гвардейскими стрелками, Керенский же и Временное правительство не знали, что делать, и думали о бегстве — ведь наступали на них казаки и дикая дивизия с самим бесстрашным Корниловым, — к ним, которых должны были арестовать, за советом и помощью явились представители комитетов Донской и Уссурийской дивизий и команда связи, составленная из солдат, а не горцев, как представители дикой дивизии!

Ясно было, что все предприятие Корнилова рухнуло, еще и не начавшись.

Керенский обласкал казаков. Он тут же произвел наиболее речистых и подхалимистых двух казаков в офицеры, велел им ехать обратно с приказом, остановиться и арестовать тех офицеров, которые будут требовать дальнейшего движения на Петроград. Генералу Крымову послал приказ приехать к нему для переговоров. И твердый, волевой человек, генерал Крымов, послушался. Он сел в автомобиль с адъютантом, подъесаулом 9-го Донского казачьего полка, Кулгавовым, и помчался в Петроград, предавая этим Корнилова.

Поехал он с грозным решением требовать от Керенского, угрожать ему, поехал глубоко взволнованный и сильно потрясенный...

Таковы были события за те сутки, которые солдаты и казаки провели в вагонах, стоя на станциях замершей в каком-то сне железной дороги. Иногда по чьему-то никому не известному распоряжению к какому-нибудь эшелону прицепляли паровоз и его везли два, три перегона, сорок, шестьдесят верст, и потом он оказывался где-то в стороне, на глухом разъезде без паровоза, без фуража для лошадей и без обеда для людей. В то время, как штаб Корнилова был парализован и, выпустивши части, на этом и успокоился, пособники Керенского в лице разных мелких станционных комитетов и советов и даже просто сочувствующих Керенскому железнодорожных агентов и большевиков, которые уже начали свою работу, запутывали положение корпуса до невозможности.

30 августа части армии Крымова, конной армии, мирно сидели в вагонах с расседланными лошадьми при полной невозможности местами вывести этих лошадей из вагонов за отсутствием приспособлений по станциям и разъездам восьми железных дорог. Виндавской, Николаевской, Новгородской, Варшавской, Дно — Псков — Гдов, Гатчина — Луга, Гатчина — Тосно и Балтийской. Они были в Новгороде, Чудове, на ст. Дно, в Пскове, Луге, Гатчине, Гдове, Ямбурге, Нарве, Везенберге и на промежуточных станциях и разъездах. Не только начальники дивизий, но даже командиры полков не знали точно, где находятся их эскадроны и сотни. К этому привело путешествие по железной дороге армии, направленной для гражданской войны. Отсутствие пищи и фуража естественно озлобило людей еще больше. Люди отлично понимали отсутствие управления и видели всю ту бестолковщину, которая творилась кругом, и начали арестовывать офицеров и начальников. Так большая часть офицеров Приморского драгунского, 1-го Нерчинского, 1-го Уссурийского и 1-го Амурского казачьих полков были арестованы драгунами и казаками. Офицеры 13-го и 15-го Донских казачьих полков были в состоянии полуарестованных. Почти везде в фактическое управление частями вместо начальников вступили комитеты. Начальнику 1-й Донской казачьей дивизии, генерал-майору Грекову, удалось собрать некоторые части своей дивизии под Лугой. Он решил пойти походом на Петроград. Но вернувшиеся из Петрограда члены комитета привезли приказ оставаться и требование генералу Грекову явиться к Керенскому. Генерал Греков, понимая, что после отъезда Крымова ему ничего не остается делать, как ехать к Керенскому, сел в автомобиль и поехал в Петроград. Еще раньше туда же отправился и начальник Уссурийской конной дивизии, генерал-майор Губин, увлеченный к Керенскому своим комитетом.

Генерал Корнилов рассчитывал на полное сочувствие своему плану всего генералитета... Но... ошибся.. Он был моложе многих. Были другие, которым тоже хотелось играть роль... Генерал Клембовский вместо помощи, или хотя бы нейтралитета по отношению к Корнилову, снесся с Керенским и покинул Псков, оставив вместо себя начальника гарнизона, грубого и ловкого, не стесняющегося менять убеждения Бонч-Бруевича..

Московского округа Стапем сделано сообщение Керенскому о раскрытии контрреволюционного заговора. Начались аресты в Москве, Петрограде, на юге России, а также в Сибири (Тобольск). — В Москве политическая забастовка-протест против Московского совещания. Бастуют трамвай, газовый завод, прислуга, фабрики. Митинги на фабриках и заводах. — Однодневные забастовки в Киеве, Костроме и других городах.

13—26 — воскресенье. Приезд в Москву генерала Корнилова. — На Государственном Совещании речи Керенского, Авксентьева, Прокоповича, Некрасова. — Запрещен созыв съезда фронтовых и армейских комитетов, назначенный на 15 августа. — Письмо А. В. Луначарского в газетах о голодовке арестованных в «Крестах». — Вышел № 1 газеты «Пролетарий», органа Р. С.-Д. Р. П. (большевиков), и № 1 газеты «Солдат».

14—27 — понедельник. Чхеидзе огласил на Московском Государственном Совещании декларацию объединенной демократии. Речи представителей Государственной Думы, Корнилова, Каледина.

15—28 — вторник. На Государственном Совещании речи Брешковской, Кропоткина, Плеханова; символическое рукопожатие Бубликова и Церетели. Выступление Рязанова от имени профсоюзов. — Открытие в Киеве съезда представителей народов и областей, стремящихся к автономно-федеративному переустройству России.

16—29 — среда. Опубликовано постановление об изменении 100 и 101 ст. уг. ул.; новым законом карается каторжными работами посягательство на изменение государственного строя или покушение на это преступление. — Попытка, вопреки манифесту Временного Правительства от 18—31 июля, открыть заседание Финляндского Сейма. Здание Сейма занято отрядом войск. Депутаты, прибывшие к назначенному сроку, в зал заседаний не пропущены. Заседание состоялось в здании земских чинов. Тальман Сейма заявил протест против незакономерного недопущения Сейма. — Гельсингфорсский Совет Р. Д. большинством 157 голосов против 125 признал, что роспуск Сейма не соответствует принципам демократии. — Открытие церковного собора. Гор. голова, эс-эр Руднев, выступив с приветствием от имени думы, заявил: «Пока будет жить русский народ, горячим пламенем будет гореть в душе его вера христианская».

Печатается с сокращениями по книге В. Максакова и Н. Нелидова «Хроника революции», выпуск 1, 1917 год. Госиздат, М.-Пг., 1923.

РЕДКИЕ КНИГИ ОБ ЭТИХ ДНЯХ:

Катков Г. Н. ДЕЛО КОРНИЛОВА. Серия «Исследования по новейшей русской истории». Под общей редакцией А. И. Солженицына. Париж, 1988.

ВТОРАЯ И ТРЕТЬЯ ПЕТРОГРАДСКИЕ ОБЩЕГОРОДСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ БОЛЬШЕВИКОВ В ИЮЛЕ И ОКТЯБРЕ 1917 г. М.—Л., 1927.

ИЗ ИСТОРИИ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ В КИЕВЕ (Воспоминания участников). Киев, 1927.

В ДНИ ВЕЛИКОЙ ПРОЛЕТАРСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ. Эпизоды борьбы в Петрограде в 1917 году. М., 1937.

МИР САХАРОВА

Так случилось, что хотя имя академика А. Д. Сахарова было давно и хорошо известно, увидели и услышали мы его, в сущности, незадолго до смерти. Как будто предчувствуя ее, он словно торопился сказать нам то, что полагал важным для себя и для нас.

Но смысл его речей, его идеи, тщательно скрывавшиеся от нас в течение двух десятилетий, мы получаем возможность по-настоящему осознать только теперь. В ленинградском отделении издательства «Советский писатель» вышел небольшой сборник работ по гуманитарным вопросам, написанных А. Д. Сахаровым в 1971—1989 годах. Среди них автобиографические заметки «О себе»; «Памятная записка Л. И. Брежневу»; статьи «Мир через полвека», «Мир, прогресс, права человека», «Неизбежность перестройки»; «Выступление на Первом съезде народных депутатов СССР» и другие материалы.

Читаешь эти работы и возникает странное чувство: кажется невероятным, что актуальнейшие политические категории сегодняшнего дня уже пробивались к нам и десять, и двадцать лет назад, могли, если б услышали А. Д. Сахарова, стать достоянием общества еще тогда. Не хотели услышать. Не захотели «допустить». Охраняли, выяснилось, застой. Кстати, и это слово было уже тогда в лексиконе А. Д. Сахарова. Но ведь выдвигались и такие понятия и формулы, как «гласность», «ликвидация «выборов без выборов», «свобода религиозных убеждений и религиозной деятельности», «увеличение хозяйственной самостоятельности всех производственных единиц», «ликвидация специальных привилегий». «Бюрократическое руководство..., — утверждал А. Д. Сахаров, — неэффективно в решении текущих задач прогресса...» Не правда ли, очень знакомо по современному политическому словарю нашей общественной жизни? А ведь это из «Записки» Брежневу, 1971 г.!

Ну да дело ведь не в приоритете, а в осуществлении. Тем более, что А. Д. Сахаров сам не раз скромно оговаривается, что его мысли о мире, прогрессе, правах человека есть лишь «базирующаяся на доступных» ему «сведениях и личном опыте» некая сумма либеральных и гуманистических идей, не являющихся «очень новыми и оригинальными». Но даже с учетом такой авторской самооценки они воспринимались властями как угрожающие системе, на верху которой так удобно расположились те, к кому отважно и наивно взывал ученый безумец. Снова убеждаемся, что нет пророка в своем отечестве!

И ныне, когда мы обрели гласность и благодаря этому обретению узнаем, как за нее боролся А. Д. Сахаров; когда знакомимся с его мыслями — выстраданными, хотя, порой, и не бесспорными; когда задумываемся над тем, как убеждения человека определяют его судьбу, мы несомненно получаем очень важные нравственные уроки.

Они особенно необходимы всем нам в это сложное время новых самоопределений, кризиса во всех сферах жизни, усугубляемого неутомимыми потугами властей довлеть самим себе; странных, в частности, метаморфоз, происходящих с некоторыми бывшими единомышленниками А. Д. Сахарова.

Что же до его идей, содержащихся в статьях сборника, то чем скорее они исчерпают себя, сделавшись нашей обыденностью, тем виднее будет вклад А. Д. Сахарова не только в оборону нашей несвободы, но и — в дело нашей свободы, надежно обороненной всеми институтами гуманного, правового, духовно и экономически сильного государства.

Б. ПЕТРОВ

Андрей Сахаров. МИР, ПРОГРЕСС, ПРАВА ЧЕЛОВЕКА. — Л.: Советский писатель, 1990.

ПРАВДА И ЛОЖЬ

...А что же о себе и об отношении к себе думают сами евреи? К сожалению, эта сторона «еврейской темы» по-прежнему считается как бы неудобной для публичного обсуждения. И оттого многие предубеждения являются таковыми, что не основываются на фактах, и наоборот, существуют подлинные факты, знание которых необходимо, чтобы занимать ту или иную позицию в так называемом еврейском вопросе.

Весьма полезным поэтому представляется выход брошюры Антисионистского комитета советской общественности «Перестройка и еврейский вопрос» (М., 1989). В материалах сборника, таких, например, как одноименная его названию большая статья В. И. Рабиновича, «Письмо к другу» П. В. Довгалевского, «Евреи — не сионисты» Е. Шварца, «Две платформы сионистов в еврейском культурном движении», «Резолюция Всесоюзной читательской конференции журнала «Советиш Геймланд» и других, рассматриваются различные исторические и современные аспекты еврейского вопроса с точки зрения, так сказать, самих его носителей.

Читатель получит здесь краткие сведения об истории еврейской диаспоры, расселения евреев на территории Украины, Белоруссии и России. О том, почему столь большой процент еврейского населения по отношению к его общей численности участвовал в революционном движении и какую цену заплатили сами евреи за активное участие в построении казарменного социализма. О правде и домыслах относительно жидо-масонского заговора и истоках возникновения негласного государственного антисемитизма в СССР.

Особенное же в брошюре — стремление провести четкий политический и культурный водораздел между советскими евреями, стоящими на патриотических позициях, и убежденными сионистами, цель которых в конечном счете всячески раздувать еврейский вопрос.

Надо сказать, что в отличие от выходивших у нас в недалекие годы антисионистских изданий, наполненных политической риторикой и не всегда — знанием предмета, настоящая брошюра тяготеет к объективному, взвешенному подходу к обсуждаемым в ней проблемам. И потому читатель легко сможет сделать правильные выводы из предложенной ему информации.

А. К.

ПЕРЕСТРОЙКА И ЕВРЕЙСКИЙ ВОПРОС. Издание Антисионистского комитета советской общественности. — М., 1989.

О ГЛАСНОСТИ

Книга представляет собой своеобразный коллективный ответ на ряд волнующих общество вопросов. Среди авторов: проснувшаяся однажды известной всему миру Нина Андреева и один из ее постоянных оппонентов главный редактор «Огонька» В. Коротич, ректор Московской ВПШ В. Шостаковский и оператор стана Нижнетагильского металлургического комбината В. Ярин, корреспондент американского журнала «Тайм» Пол Хофхайнц и недавний редактор «Правды» В. Афанасьев, писатель Чингиз Айтматов и председатель чувашского колхоза «Ленинская искра» А. Айдак, сотрудник югославской газеты «Политика» Ристо Баялски и бывший первый секретарь Ленинградского горкома КПСС, а ныне заместитель председателя КПК при ЦК КПСС А. Герасимов, член редколлегии журнала «Советский Союз» А. Аджубей и ленинградский учитель Е. Ильин...

У каждого из них своя позиция, свои убеждения, свои взгляды на жизнь, а значит — и собственное понимание гласности. Так, для Н. Андреевой гласность — это «путь к истине, но не сама истина». А вот В. Коротич настаивает на том, что «гласность была и остается частью системы всенародного контроля»... «Гласность сильна, и бояться надо не ее, — утверждает он, — а того, что она странным образом не срабатывает или срабатывает замедленно, утыкаясь в узловые пункты в Чернобыль, в Нагорный Карабах, в ленинградскую преподавательницу химии Нину Андрееву или разоблаченных не до конца высокопоставленных жуликов». Если для В. Шостаковского «гласность — важнейшее условие демократизации общества и партии», то для В. Ярина «гласность — это прежде всего открытое ведение всех дел, это правдивое и честное освещение событий и явлений нашей жизни». Американцу Полу Хофхайнцу гласность представляется возвращением к гегелевскому идеалу, запоздалым признанием того, что высшие истины рождаются в борьбе идей. А вот В. Афанасьев толкует гласность, как открытость, доступность информации.

Та же неодинаковость, а то и полярность точек зрения наличествует и тогда, когда авторы сборника ведут речь о развитии гласности после апреля 1985 года, о реальных гарантиях гласности, о том, какие пределы должна иметь гласность, или же гласность лишь тогда становится гласностью, когда она без берегов.

А. СЕДЫХ

СУДЬБА ГЛАСНОСТИ — СУДЬБА ПЕРЕСТРОЙКИ. — М.: Политиздат, 1990.

ИСКУССТВО

Графика.
Живопись.
Скульптура.

Нынче утром вышел и опьянел от прелести утра. Тепло, сухо, кое-где с глянцем тропинки, трава везде то шпильками, то лопушками, лезет из-под листа и соломки; почки на сирени; птицы поют уж не бестолково, а уж что-то разговаривают.

Из записной книжки Л. Н. Толстого, 8 апреля 1882 г.

подвижники

ЕЛЕНА ПЛАХОВА

ХРАНИТЕЛЬ ЗДЕШНИХ МЕСТ...

Вот Лев Николаевич Толстой, сдержанный и лиричный, для многих, знакомых с его хрестоматийным воплощением, незнаемый, восстает из своих писем к жене, Софье Андреевне, писанных в Ясной Поляне:

«Необыкновенная красота весны нынешнего года в деревне разбудит мертвого. Утром опять игра света и теней от больших, густо одевшихся берез прешпекта по высокой уже темно-зеленой траве, и незабудки, и глухая крапива, и все — главное, маханье берез прешпекта, такое же, как было, когда я, 60 лет тому назад, в первый раз заметил и полюбил красоту эту» (3 мая 1897 года).

Почти сто лет тому назад весна была такой же прекрасной и бурной, летевшей к людям с опережением недели на три, как и сейчас. И так же густо стояла крапива с белыми и алыми язычками цветов, и так же приветливо махали зелеными гривами березы известного по роману «Война и мир» «прешпекта», ведшего к дому Толстых в Ясной Поляне.

«Прешпект» — дорога мемориальная. По ней работники яснополянского музея стараются без надобности не ходить, «на ногах» не разносить. Сразу вспоминаю рассказ одной ученой дамы, побывавшей в составе делегации видных советских историков во Франции. «Вообразите, нам как следует не показали множество всемирно известных памятников. Мы не смогли попасть туда, осмотрели только снаружи! Когда же мы выразили свое недоумение, французы сказали: если их эксплуатировать так, как вы эксплуатируете свои «мемории», туристы буквально разнесут их на ногах за 300 лет! Вы богаты, у нас памятников меньше. Мы не можем позволить варварски обращаться с ними». «Какие все-таки молодцы!» — неожиданно заключила она.

Да, в Ясной Поляне — трепет и возвышенное чувство по отношению к ее великому жителю, даже — к его отдаленным родственникам, ко всему, что связано с «кругом Толстого» — отличительная черта, особый стиль поведения сотрудников музея. Да и всех коренных яснополянцев. Мир Толстого — его литературные произведения, память о нем — о личности, о человеке, мыслителе, философе, не терпит ничего суетного, злобного, мелкого, а вернее — отторгает от себя. Мир — необъятный и притягательный. Неслучайно те люди, которых встречала я на яснополянской земле, пленены Толстым навсегда. Где бы они ни были, их мысли устремлены к этому месту, которое они считают самым светлым и счастливым на земле. Ясная Поляна — влечет и зовет, как свет давно ушедшей звезды, и многие ее работники, труженики, старожители, возвращаются сюда спустя годы, чтобы жить и умереть здесь, на земле Толстого, рядом с ним. И служить ему, его памяти верно.

Как хорошо, что у пушкинского Михайловского есть Гейченко, у Эрмитажа — Пиотровский, у ленинградских дворцов и парков — Кучумов, а у Ясной Поляны — Пузин.

Николай Павлович Пузин, старейший работник яснополянского музея. Он автор лучшего путеводителя по Ясной Поляне, на его счету — шестьдесят печатных работ, посвященных «кругу Толстого». Его неспешная, изящная речь, обставленная старомодными галантными оборотами, прекрасные манеры, конечно, пришли из детства, воспитаны и восприняты от людей, окружавших его. Он как бы не затронут «соцкультурой» и всем, что она несет в себе, хотя много лет был администратором и руководителем и что-то, конечно, «утрясал», «добывал», «пробивал», «согласовывал», «озадачивал» подчиненных и неустанно работал над «повышением их идейного уровня». Он знавал разные времена, ведь яснополянский музей — живой организм. Приходят и уходят многие люди, сотрудники. Но Николай Павлович Пузин, кажется, был здесь всегда. И он, хранитель музея, хранитель его традиций, а по существу — хранитель огня, что теплится в этих местах и влечет к себе всех, кому дорого творчество великого русского писателя, где бы они ни были.

Я заметила, как приветливы и сердечны с Николаем Павловичем его коллеги, как уважительны и кокетливы милые дамы. Все — от суровых старух-смотрительниц до молоденькой большеглазой библиотекарши. Есть



Николай Павлович Пузин
Фото Павла Кривцова

еще, слава Богу, мужчины, рядом с которыми чувствуешь себя женщиной!.. Быть может, это тоже — отблеск Льва Николаевича Толстого, в свое время — лучшего жениха в России, статного, красивого той мужской красотой, что так притягивала к себе, в две недели покорила юную очаровательную певунью — Софью Берс!.. Лирические струны души великого Толстого, «звучащие» в «Анне Карениной» (вспомните объяснение в любви Кити и Левина... Так и сам Лев Николаевич открыл свои чувства младшей дочери придворного медика), в «Войне и мире», «звучат», казалось бы, так знакомо. Но — опять-таки! — со всей полнотой звучат они в яснополянских дневниках писателя, в его интимных письмах и в рукописной книге Софьи Андреевны Толстой «Моя жизнь». Вечная спутница Толстого, его секретарь и переписчица на протяжении долгих, долгих лет. Адресат его нежнейших писем — и в годы глубокой старости, где Толстой, кажется, превосходит несравненного Тургенева в описании природы и чувств, что охватывают человека при соприкосновении с ней. Как жаль, что книга эта до сих пор не издана. А ведь лет двадцать назад она готовилась к печати в издательстве «Художественная литература» и почему-то так и осталась в «портфеле»...

— Так ведь, Николай Павлович?

Да. Как раз в то время, в 1969 году, наступил срок выполнить волю Софьи Андреевны и опубликовать эти записки. Прошло 50 лет со дня ее смерти... Вот здесь, на этой кровати, она скончалась от воспаления легких...

Мы стоим в комнате Софьи Андреевны Толстой в яснополянском мемориальном доме-музее. Как это ни банально звучит, но что так — то так: меня не покидает чувство, будто хозяйка ненадолго оставила ее и скоро вернется. Все вещи — подлинные. И великолепные, изящные вышивки, и знаменитое красное вязаное покрывало на кровать Льва Николаевича (перед самой смертью Софья Андреевна начала новое, точную копию старого — на случай, «если иной толстовец захочет взять его на память...»), изящны, профессиональны небольшие полотна, принадлежащие ее кисти. Не менее интересны, профессиональны и фотографические работы, выполненные Софьей Андреевной и щедро представленные в экспозиции... Нет, совсем необычный, талантливый человек был спутником Толстого, женой, матерью тринадцати его детей! Дом Льва Николаевича, такой теплый, уютный — живой! — во многом дело рук ее. Музей Толстого еще в большей степени обязан ей. Так говорит Николай Павлович Пузин, и мы не можем не согласиться с ним, покорясь его авторитету, его такту и верности фактам, которые он, проведший в этих дивных местах такое великое множество экскурсий, что и трудно сосчитать, как трудно сосчитать звезды в небе, всегда ставил во главу угла. Мне посчастливилось однажды в толпе литераторов слушать экскурсию Гейченко. Теперь — великая удача! — в Ясной Поляне я иду по дому Толстого вслед за Пузиным. Бьют старинные норговские часы, отсчитывая время в мае 1990 года, а он — и я вместе с чудным моим собеседником, там, во времена легендарные, как говаривали в старину, «баснословные», когда здесь, в «комнате под сводами», творил и жил великий человек.

— Понимала ли Софья Андреевна гениальность Льва Николаевича? Что бы ни говорили, это несомненно так! Какие письма в самые высокие инстанции писала она, отстаивая его честь, его право мыслителя, человека... Жаль, что Толстого, — продолжает Николай Павлович, — не понимали и не понимают сейчас. Проклятие, анафема церкви до сих пор лежит на его имени... Толстой-мыслитель, один из величайших русских философов, мало известен читающему миру. Толстой-христианин пока что — тайна за семью замками для широкого читателя. Да, конечно, существует 90-томное собрание сочинений писателя. Тираж томов, содержащих его религиозные, философские произведения, дневники и письма — пять тысяч экземпляров. Каково?!

Сознаюсь, и я прочитала эти тома в свое время в Ленинской библиотеке. А это значит, что не очень-то вдумчиво, по-школярски. А надо бы изучить, понять, проникнуть!..

— Верьте себе, учил Толстой, разум вас не обманет, когда вы от всей души стремитесь к правде, истине, добру, — говорит Николай Павлович, как бы обращаясь не только ко мне, но и к некоему невидимому собеседнику. И продолжает: — Толстой раскрепощал мышление. А это было страшно и подозрительно тем, кто правил тогда страной...

Мы идем к дому Волконского, в котором вынужденно размещается и библиотека, и дирекция. Его мощные, словно вылитые из чугуна стены зимой славно удерживают тепло, а летом прохладу. В легкой одежде в библиотеке, на первом этаже, пробирает ощутимый озноб. Но все забываешь, созерцая, перебирая книжные сокровища толстовского дома!

— О, библиотека при Льве Николаевиче была великолепна! Когда состоялся раздел имущества, старший сын Толстого, Сергей Львович, вывез в свое имение девять возов книг!.. Всегда думаю об этом — и сердце сжимается! — голос Николая Павловича печален. — Почти все книги сгорели в огне, поглотившем многие помещичьи усадьбы и не пощадившем усадьбу сына Толстого. А останься они здесь, уцелели бы. Ясная Поляна не была разграблена. Память Толстого здесь, во всей округе, тогда — и сейчас, свята. Это гордость, счастье, быть односельчанином Льва Николаевича. Счастье, которого мне, к сожалению, не было дано...

Николай Павлович Пузин родился в Орле. Двоюродный внучатый племянник поэта А. А. Фета. Человек, навсегда плененный Толстым, миром великого писателя, его Ясной Поляной. Он дружил с Сергеем Львовичем Толстым, еще задолго до войны, часто приезжал в Ясную. А работать здесь начал в 1944 году, с Софьей Андреевной Толстой-Есениной. Не работать даже — по крупицам восстанавливать, возрождать из руин то, что осталось от яснополянского мемориала после изгнания фашистов с этой святой земли.

— То, что описал Лев Николаевич в «Войне и мире» (а он знал войну, был храбрым офицером), как французы-завоеватели грабили нашу землю, не так ужасно, как то, что сделали с Ясной фашисты. Они сожгли библиотеку, топили печь книгами, мемориальной мебелью, в комнате Софьи Андреевны устроили казино, наконец, осквернили кабинет Толстого. Не пощадили и его могилы. Ну, а отступая, сожгли дом... Счастье, что рядом с домом был старый колодец, заложенный, но полный воды, современник Льва Николаевича! Счастье, что яснополянские жители — старики, женщины, дети, прибежавшие из деревни спасать дом Толстого, вспомнили о нем!..

Николай Павлович опять останавливается, смотрит вдаль, как будто сквозь толщу лет пытается увидеть и тот радостный и страшный день освобождения, и себя в этом дне...

— Нет, я пришел сюда, в Ясную, позже. А спасали ее, рискуя своей жизнью, и простые крестьяне, и научные работники Ясной — Сергей Иванович и Мария Ивановна Щеголевы, Мария Петровна Маркина, молоденькая девушка Клавдия Литвинова. Это Мария Ивановна буквально заслонила собой от фашистов кожаный диван Толстого, на котором родились его дети... На пепелище Ясной молодые красноармейцы, ученики яснополянской школы, уходя на фронт, клялись отомстить за Толстого. Льва Николаевича чтили в Ясной, свято чтили. Без них, яснополянцев, разве можно было бы воссоздать дом Толстого, мир Толстого?.. А ведь это проросли зерна, брошенные его рукой. Это дали всходы и школа в яблоневом саду, где учительствовал Толстой и его дети, народная библиотека, созданная Толстым... Во многих домах, когда я приехал работать в Ясную, я видел на стенах портреты Льва Николаевича, среди портретов близких, родственников...

А кругом все жужжало, нежилось на солнце, бродило, как молодое вино. Мы вышли в сад, и яблони цвели точно так, как написал когда-то Лев Николаевич, «словно хотели улететь на воздух». И соловьи, перекрывая другие птичьи голоса, перекликались звонко и гулко, как через речку. И жимолость, знаменитая яснополянская жимолость и не менее знаменитая сирень смотрели всеми своими цветками — тысячью, миллиардами глаз на высокое солнце. И только дубы, совсем, как в «Войне и мире», еще не развернули листвы и среди буйной зелени стояли почти оголенные, покрытые маленькими, словно тронутыми ржавчиной, листьями...

— Дубы?.. — «Деревья умирают стоя»... Погибли великолепные старые ели, высыхают дубы и яблони, мелеет речка.

— Умирают?

— Да, умирают. И какие старые, прекрасные деревья! Невосполнимая утрата. Когда в грозу молния ударит в любимое дерево — какая боль! А в наши дубы ударила страшная, рукотворная молния. Это — отравленный воздух, отравленный дождь. Ясная Поляна с двух сторон окутана дымами двух промышленных «гигантов». Один из них, на Косой горе, металлургический завод. При нем — мощное цементное производство. Другой сосед — пострашнее — объединение «Азот». Мне горько говорить об этом. Я, старый человек, чувствую бессилие перед этим Молохом. Он требует человеческих жертв — там аварии стали привычным делом! У работающих на «Азоте» какая-то анестезия души. Бесчувственные, холодные люди. Как-то яснополянцы во главе с нашим экологом Юлией Клементьевной Федоровой провели вместе с работниками предприятия митинг в защиту природы. Получилось хорошо. Все дружно говорили высокие слова о Толстом, о Ясной Поляне, возрожденной после войны из руин. Но — кто знает? — не страшнее ли эта незаметная, методичная разрушительная деятельность «атмосферных воздействий», «газовых атак», всего того, что можно было назвать — в духе времени — экологическим стрессом. Этого, как ни странно, не понимают наши соседи. Не понимают и не хотят понять. Работники «Азота» дружно говорили о том, как им хорошо работается, как о них заботится администрация, какой хороший есть у них профилакторий, замечательные заказы... Мы пытались переубедить их, изменить отношение к Ясной Поляне. Пытались достучаться до их сердца. Пожалуй, это немного удалось тогда... У нас в музее есть удивительный человек — Юлия Клементьевна Федорова. Она самый наш стойкий боец за чистое небо над Ясной, за природу. Вы знакомы с ней?..

...Конечно, знакома. Зимой в Москве мы познакомились. Еще тогда я поразилась твердости, которая прочитывалась в глазах этой хрупкой женщины, даже — какой-то одержимости, когда речь заходила об экологической обстановке в Ясной Поляне, вокруг заповедника. Это Юлия Клементьевна подвигла редакцию сделать целый номер журнала во славу Толстого. Это она, агроном, биолог по образованию, совершенно свободно цитирует высказывания великого писателя по памяти. Это она — настоящий столп яснополянского общества, Толстовского фонда, способная подставить плечо под основание благополучия заповедника. Уверена — без нее не были бы так свежи и чисты родники и источники Ясной, а лес полон птичьего пения и света. Благодаря ее усилиям плодоносят старые яблони, цветут толстовские сирени и жимолости...

Быть может, услышав это, она иронично бы заметила нечто вроде, мол, и солнце б утром не вставало... Но, думаю, все-таки сдержалась бы. И, находясь рядом с ней, я чувствовала, что ее общество как-то духовно поднимает меня... Читая дневники Льва Николаевича перед поездкой в Ясную, в записи, относившейся к «Кругу чтения», прочла подобное описание состояния человека и в который раз подивилась неисчерпаемости и красоте мысли русского гения, его человеческой прозорливости. Я еще вернусь к записи от 21 января 1905 года... А пока продолжим разговор о хранительнице яснополянских рощ, лесов и источников, которую я, к сожалению, в заповеднике не застала. Но ее присутствие ощущалось, между тем, во всем. Юлия Клементьевна действительно хранит этот особый яснополянский мир. Окружающую среду, говоря прозаически. И на этом пути не знает усталости. И дай ей Бог сил, ведь по Ясной Поляне, на разных уровнях, было принято 44 постановления, в том числе — и правительственные. Но этот уголок земли, как оказалось, никак не защищен от произвола ведомств. Щекинский «Азот», проектная эксплуатация которого рассчитана на 20 лет, благополучно, выполняя и перевыполняя план, трудится вот уже четвертый десяток, вырабатывая, в том числе, и искусственный белок. Завод мечтает об экологической защите, а пока, методом глубокого бурения, усиленно создает на своей территории скважины для сбросов химических отходов. Все это почему-то названо «создает полигон». Интересно, что или кого в таком случае собирается испытывать гигант «волшебницы-химии»?.. В 4 километрах от этого соседа Ясной расположен завод химического волокна. Новая линия колоссальной мощности готовится выпускать линолеум. Оба предприятия, к тому же, неудачно «привязаны» к местности. Неудачно по отношению опять-таки к Ясной Поляне. «Роза ветров» указывает на заповедник: все выбросы несет к нему... Зимой идет желто-черный снег — это в полную мощь работает цементный завод. Построенный тоже очень давно, без достаточной экологической защиты, он также «воздействует» на Ясную Поляну... Первыми стали погибать ели. За ними — знаменитые яснополянские дубы.

«Я не рискнула бы предложить ребенку яблоко из нашего сада», — сказала мне тогда, в свой приезд в Москву, Юлия Клементьевна. Мы листали папку с копиями документов об экологическом состоянии Ясной, справку, обобщающую последние данные, фиксирующие то, что происходит с ее уникальной природой. Ни слова не сказала моя собеседница о том, как дается ей эта борьба с мощными ведомствами, которые красивыми словами о благе простого советского человека прикрывают свои совсем неблаговидные действия. Борьба с ними, этими ведомствами, конечно, изматывает, и в ней, как в капле воды, отражается все то, что происходит у нас в обществе. А точнее, это противостояние, которое само — порождение «остаточного» подхода к нашей культуре, к нашему великому прошлому, а, в конечном итоге, к человеку, давно стало делом жизни Федоровой. И та красота лесов и вод, что входят и вливаются в заповедник, живет во многом благодаря ее усилиям. Во имя этой красоты, спасения и сохранения нашего духовного достояния, нашей памяти о великом человеке, она и противостоит. Не буду описывать всего, что предприняла в борьбе за Ясную Поляну, за ясное небо над ней, Федорова. Противостояние продолжается. Пока, в этой сложной экономической обстановке, химволокно сильно перевешивает одноразовые шприцы, производство которых можно было бы наладить в Щекино, потратъ государство 300 миллионов рублей на переоборудование «Азота»... А на культуру, похоже, по-прежнему денег не хватает. И — дело ли это? — если она сама перейдет, как рекомендуют иные экономисты, «на вольные хлеба», на «подножный корм». Образование, похоже, уже переходит. Культура, частично, тоже. Ясная Поляна — на хозрасчете. «Торговцы в храме»... Что дальше?..

35 лет проработала здесь Юлия Клементьевна Федорова. Как ухожен яснополянский парк, какая чистота кругом! Радуют, успокаивают душу «прекрасные виды», ландшафт, тактично вплетены в рисунок его цветы, кустарники; чисты, зеркальны пруды, ухожены старинные хозяйственные постройки. В графской конюшне живут вороные лошадки. Они так славно «оживляют картинку», что открывается взору из окна дома Волконского, из кабинета ученого секретаря Толстовского фонда, заместителя директора музея по научной работе Виталия Борисовича Ремизова.

— Это Юлия Клементьевна придумала — «вписать» живую лошадь в наш яснополянский пейзаж, сделать живым музейным экспонатом. А еще мы хотим уговорить директора пустить местных ребятишек купаться в пруду возле «каменки», у ворот. Юлия Клементьевна здорово поработала над тем, чтобы вода была там чистой. Ведь и при Толстом там разрешалось купаться всем... Музей должен жить!..

Виталий Борисович Ремизов — один из самых молодых работников музея. Впрочем, это не совсем так. Когда-то он, плененный Толстым, его личностью, учением, начал работать здесь. Затем уехал в родной Воронеж, окончил аспирантуру, защитил диссертацию, преподавал

на филологическом факультете университета. И все-таки вернулся. (Кстати, в этом номере мы публикуем его статью о педагогике Л. Н. Толстого).

— А мне иногда в Туле, где я живу, не хватает воздуха Ясной...

— И мне показалось, что в Туле воздух странный. Да и в Ясной он вовсе не так чист и свеж, как писал Лермонтов, и не похож на «поцелуй ребенка», хотя здесь столько зелени!..

— Это все «роза ветров», выбросы щекинского «Азота». Зато когда пройдет дождь, гроза!.. Впрочем, я оптимист. Уверен, что все-таки одолеем ведомства. Вся жизнь устраивается так, что их диктат в конце концов будет минимальным. Конечно, чудес в мире не бывает. Все идет по своим законам, но если попытаться всю жизнь во всей полноте охватить разумом, то ясно, что жизнь чудеснее всяких чудес!

— Вы толстовец?

— Быть толстовцем — значит совершать нравственный подвиг, без крика и шума, каждодневно, постоянно, серьезно. А вы откуда так хорошо знаете произведения Толстого?

— Начетничество! У меня неплохая память, а перед поездкой сюда мне случайно попалась одна хорошая книга, вот она: «Л. Н. Толстой. В чем моя вера?»

— Рад, что книга, которую выпускает наше издательство, возрожденный нами яснополянский «Посредник», добралась до Москвы. Честно говоря, ради этого я вернулся в Ясную. Мне кажется, Ясная Поляна должна жить особой духовной жизнью, излучать особую, интеллектуальную ауру, как при Льве Николаевиче. Во всяком случае, мы будем к этому стремиться. Однажды я слышал такие слова: «Людям нужен свет. Свет дает электрическая лампочка. Но лампочка мертва, если она не подключена к электрической энергии, развитой во Вселенной. Также и людям: нужно благо жизни, и они получат его, когда жизнь их подключена к силе жизни, развитой во Вселенной...» Ясная Поляна должна быть подключена к жизни и сама должна давать жизнь. Толстой неисчерпаем. Он похож на таинственный лес, и каждый может найти в нем свою дорогу к добру, свету!

Толстой — предтеча многого из того, над чем сейчас бьется человечество. Он считал основой всего — любовь, деятельную любовь, позволяющую понять каждого человека. И, главное, познать себя...

— Чтобы познать учение Толстого, наверное, нужна целая жизнь?

— Основа — любовь! Не делай другому того, что себе не желаешь! Поступай с другими так, как желал бы, чтобы поступали с тобой... Да, чтобы познать Толстого-мыслителя, философа, надо быть подготовленным к этому. Надо внимательно читать его труды. А они — увы! — доступны немногим. Шире открыть дверь в его огромный мир — главная задача нашего издательства, «Посредника». Необходимо, крайне необходимо вернуть великого русского мыслителя Льва Николаевича Толстого в нашу духовную жизнь. Его «разнесли» по работам исследователи, обобрали многие литераторы, философы, пользуясь тем, что философские и религиозные труды мало известны или неизвестны совсем. Вспомните, когда в последний раз переиздавалась его гениальная книга «Путь жизни», духовный итог его исканий? Там есть такие провидческие слова: «Тремя путями люди приходят к познанию истины: путь размышления — самый благородный, путь подражания — самый легкий, путь тяжелого опыта — самый трудный». Тяжелый опыт — о, этого у нас в избытке. Мне кажется, пока мы избрали все-таки путь подражания... А благородный путь, путь размышления? Нас отучили идти им.

— Что же делать?

— Обратитесь к учению Толстого, там есть все! Уверен, если широко представить его учение, жить станет лучше, мы станем чище.

— А готовы ли мы к восприятию Толстого во всей его сложности и простоте?

— Именно так: простоте, ясности. Толстой считал, что истина должна быть проста, ясна и доступна всякому человеку, даже — неграмотному. У нас сейчас, при всеобщей грамотности, удивительно мало по-настоящему образованных, интеллигентных людей. Впрочем, разговоры об «образованщине» уже скучны, «общее место». Пора от задушевных бесед переходить к делу. Таким делом я считаю просветительскую работу Яснополянского музея, Толстовского фонда — «Посредник», «Круг чтения», возрождение толстовских школ, педагогики. Школ — для всех, самых демократичных. Силами музея, который хоть и «хозрасчетен», этого не сдвинуть с места. Надо подключить «весь мир», людей, способных на благородные поступки, «души прекрасные порывы». Поэтому и создан Толстовский фонд.

— А не станет ли он еще одной, так сказать, «надстроечной» ассоциацией?

— Ни в коем случае. «Друзья Толстого» действуют по всему миру, не только во Франции, где находится штаб-квартира этой организации. Хотелось бы, чтобы похожим на нее стал и наш фонд. Чтобы осуществлять образовательную программу Льва Николаевича, нужны немалые средства. Толстой из 12 тысяч дохода, что приносила ему Ясная Поляна, 8 — расходовал на школу, библиотеку, издательскую, просветительскую деятельность. При «остаточном» принципе, в сложнейшем экономическом кризисе, да еще перед лицом непонятного «регулируемого рынка» трудно ждать милости от Минкульта. Поэтому и создан фонд. Но он еще хорош и тем, что способен объединить людей — для нравственного самосовершенствования, для добра. В конечном итоге — для духовного возрождения нации. Толстой — величайший русский гений, способный объединять сердца для благородных целей. Яснополянский поход, праздник, на который собираются люди со всей страны, показал нам это. Вы знаете, какое изречение, древнее, китайское, включил Лев Николаевич в свой «Круг чтения»? Вот, послушайте: «Если вы можете научить человека добру и не делаете этого — вы теряете брата».

Мы хотим приобрести сто тысяч братьев, настоящих друзей Толстого!

Хорош яснополянский вечер. Заповедник пустеет. Важный индус погружен в себя, стоя перед домом Толстого. Его ждет переводчица. Последние посетители — иркутяне, отдыхающие неподалеку, в доме отдыха «Ясная Поляна», устало бредут по «прешпекту», вертя головами по сторонам, словно стремясь запечатлеть в своей памяти красоту этого места... Я оказалась права: они пришли попрощаться, осмотреть все еще раз, основательно, напоследок. Запечатлеть!

Что же, тем, у кого зрительная память хороша, это нетрудно. И стеклянный пруд возле «каменки», и громады тополей со стволами, похожими на слоновьи ноги, и желтые солнышки одуванчиков на полянке возле дома Волконского, легко входят в память, в зрительный ряд. А в плоть и кровь — слова Льва Николаевича Толстого, его утвердительное: «Несомненно, можно духовно поднимать и спускать себя тем обществом присутствующих или отсутствующих людей, с которыми общаешься» (Дневник, 21 января 1905 года).

Ведь как прав наш великий писатель! И я, как то цветущее дерево, тоже, кажется, хочу «улететь на воздух». Как хорошо, что у Ясной Поляны есть такие труженики, хранители. Подвижники. У Ясной Поляны, а, значит, и у Толстого. У нашей культуры. У нас с вами.

●





Б[illegible] своей [illegible]
[illegible]яны [illegible] могу
[illegible] пре[illegible]
Р[illegible]сию и[illegible]ение
[illegible]й. Бе[illegible]ляны
[illegible]может [illegible]ее
у[illegible]жу [illegible]аконы,
необходим[illegible]я
моего отечес[illegible] но я
не буду до [illegible]страстия
любить его.

Лето в деревне. [illegible]
вок написан 20 се[illegible]бря
[illegible]858 г.



Здесь мне невыносимо хорошо. Спал прекрасно, встал... И пошел ходить по черте, по желтым цветам, в засеку, на крапивинскую гору, на пчельник, к круглому березнику, купальне, кругом заказа.

Записная книжка,
17 мая 1882 г.



ИСТОКИ

Легенды. Исследования. Находки.



Мазаччо. Распятие. 1426 г.

ЭРНЕСТ РЕНАН

ЖИЗНЬ ИИСУСА

ГЛАВА XXI

Арест и процесс Иисуса

Когда вышли из дома, наступила полная ночь. Иисус, по своему обыкновению, перешел Кедронский вал и отправился в сопровождении учеников в Гефсиманский сад, находившийся у подножья горы Смоковниц. Он сел там. Возвышаясь над своими друзьями своим неизмеримым величием, он бодрствовал и молился. Его ученики спали возле него, когда вдруг, при свете факелов, появилась вооруженная толпа. Это были вооруженные палками чиновники храма (род полицейской бригады, оставленной первосвященникам); их поддерживал отряд римских солдат с мечами. Приказ об аресте исходил от первосвященника и синедриона. Знавший привычки Иисуса, Иуда указал на это место, как на такое, где Иисуса можно было схватить легче всего. По единогласному утверждению предании первых времен, Иуда сопровождал отряд самолично, и даже, по рассказам, простер свою ненависть до того, что взял знаком своего предательства поцелуй. Как бы то ни было, со стороны учеников было вначале выказано сопротивление. Один из них, по словам очевидцев, Петр, вынул меч и ранил ухо одному из слуг первосвященника, по имени Малеку. Иисус остановил эту первую попытку. Он отдался солдатам сам. Слабые и неспособные действовать дружно, особенно против власти, ученики обратились в бегство и рассыпались. Только Петр и Иоанн не теряли из виду своего учителя. За ним следовал еще один молодой человек, покрытый легким одеянием. Его захотели задержать; но он убежал, оставив в руках агентов свою тунику.

Поход, которым священническая партия решила идти против Иисуса, вполне отвечал установленному праву. Их планом было уличить Иисуса свидетельскими показаниями и собственными его признаниями, в хуле и посягательстве на религию Моисея, осудить его по закону на смерть и затем заставить Пилата одобрить это осуждение. Первосвященническая власть, как мы это уже видели, фактически находилась всецело в руках Ханана. Приказ об аресте исходил, вероятно, от него. К этому могущественному лицу и привели сначала Иисуса. Ханан спросил его относительно его учения и учеников. Иисус с справедливою гордостью отказался входить в длинные объяснения. Он сослался на свое учение, бывшее публичным; он объявил, что никогда не имел тайной доктрины; он побудил первосвященника спросить тех, кто слушали его. Этот ответ был вполне естествен; но чрезмерное уважение, которым был окружен старый первосвященник, заставило его показаться дерзким; один из присутствовавших ответил, говорят, на это Иисусу пощечиной.

Петр и Иоанн следовали за своим учителем до квартиры Ханана. Иоанн, которого знали там, был впущен без труда; но Петра задержали у входа, и Иоанн был вынужден просить привратницу разрешить пройти Петру. Ночь была холодная. Петр остался в передней и подошел к жаровне, вокруг которой грелись слуги. Его вскоре признали за ученика обвиняемого. Несчастный, выданный своим галилейским акцентом и преследуемый вопросами слуг, из которых один был родственником Мала и видел его в Гефсимании, трижды отрекся от того, что он имел когда либо хоть малейшее знакомство с Иисусом. Он думал, что Иисус не мог его слышать; он не чувствовал, что эта скрытая трусость с его стороны заключала крупную неделикатность. Но его добрая натура указала вскоре ему на только что совершенную ошибку. Случайное обстоятельство, именно пение петуха, напомнило ему о сказанных Иисусом словах. Тронутый до глубины сердца, он вышел и начал горько плакать.

Ханан, хотя и бывший истинным виновником предстоявшего юридического убийства, не имел, однако, власти произнести приговор Иисусу; он отослал последнего к своему зятю Каиафе, носившему официальное звание. Этот человек – слепое орудие своего тестя – естественно, должен был утвердить все. У него был собран синедрион. Началось следствие; перед трибуналом появилось несколько приготовленных наперед свидетелей. Роковая фраза, действительно произнесенная Иисусом: «Я разрушу храм Бога и воздвигну его в 3 дня», — была приведена двумя свидетелями. Поносить храм значило, по иудейскому закону, поносить самого Бога. Иисус хранил молчание и отказался объяснить инкриминируемое выражение. Он вообще действовал так в последние моменты. Приговор был утвержден; искали только предлогов. Иисус понимал это и не предпринял бесполезной защиты. С точки зрения правоверного иудейства он по истине был хулителем, разрушителем существующей религии: а за такое преступление закон наказывал смертью. Собрание единогласно обвинило его виновным в важном преступлении. Бывшие на стороне Иисуса члены совета или отсутствовали или не подавали голоса. Обычное легкомыслие давно уже существующих аристократии не позволило судьям долго думать над последствиями постановляемого ими приговора. В то время очень легко жертвовали человеческою жизнью; без сомнения, члены синедриона и не по-

* *Перевод с 69-го французского издания М. Синявского (Москва, 1906 г.). Продолжение. Начало в №№ 8—10, 12 / 1989 г., №№ 1—8 / 1990 г. Произведение публикуется полностью.*

мышляли, что их сыновья отдадут отчет потомству, раздраженному произнесенным с такой беспечной небрежностью приговором.

Синедрион не имел права приводить в исполнение смертный приговор. Но при царившем тогда в Иудее смешении функции власти, Иисус мог, тем не менее, считаться осужденным с этого момента. Он провел остаток ночи подвергаясь дурному обращению со стороны низшей прислуги, которая не жалела для него никаких оскорблений. Утром первосвященники и старейшины собрались снова. Дело состояло в том, чтобы утвердить через Пилата осуждение, которое произнес синедрион, но которое со времен римской оккупации считалось недостаточным. Прокуратор не был облечен, как императорский легат правом жизни и смерти. Но Иисус не был римским гражданином; приговора правителя было достаточно, чтобы приговор Иисусу получил силу. Как это случается всякий раз, когда политический народ подчиняет нацию, у которой смешиваются закон гражданский и закон религиозный, — римляне были вынуждены дать иудейскому закону как бы официальную опору. Римское право не прилагалось к иудеям. Последние оставались под действием канонического права, заключенного теперь в Талмуде точно так же, как алжирские арабы еще управляются кодексом Ислама. Таким образом, римляне, хотя и нейтральные в религии, очень часто санкционировали карательные меры по отношению к религиозным преступлениям. Иосиф утверждает (но, конечно, в этом можно сомневаться), что если какой-нибудь римлянин переступал за колонны с надписями, запрещавшими язычникам двигаться далее, то сами римляне предавали его иудеям, чтобы казнить его.

Итак, агенты первосвященников связали Иисуса и привели в преторию, бывшую старинным дворцом Ирода и соединявшуюся с Антониевой башней. Было утро, когда должны были печь пасхального агнца (пятница 14-го низана — 3-е апреля). Вступив в преторию, иудеи осквернились бы и не могли бы совершать священного пиршества. Они остались наружи. Уведомленный об их прибытии, Пилат поднялся на биму, или трибунал, которая была расположена на открытом воздухе, в месте по имени Гаввафа или по-гречески Литостротон благодаря покрывавшим землю каменным плитам. Едва он осведомился об обвинении, как выразил свое неудовольствие, что впутан в это дело. Затем он заперся с Иисусом в претории. Там произошла беседа, точные подробности которой ускользнули от нас, так как ее не мог пересказать ученикам ни один свидетель. Но окраска ее, по-видимому, хорошо угадана Иоанном. В самом деле, его рассказ в совершенстве согласуется с тем, что сообщает нам история, относительно взаимного положения обоих собеседников. Прокуратор Понтий, по прозвищу Пилат, несомненно благодаря пилуму, или почетному дротику, которым был пожалован он, или один из его предков, не имел до сих пор никаких отношений с зарождавшейся сектой. Будучи равнодушен к внутренним раздорам иудеев, он видел во всех этих сектантских движениях лишь продукты невоздержанного воображения и умственного ослепления. Вообще он не любил иудеев. Но иудеи еще более ненавидели его; они считали его жестоким, надменным и взбалмошным; они обвиняли его в неправдоподобных преступлениях. Центр народного брожения, Иерусалим был очень мятежный город, а для иностранца являлся невыносимым местопребыванием. Пылкие люди утверждали, что у нового прокуратора был решенный план уничтожить иудейский закон. Узкий фанатизм и религиозная нетерпимость иудеев возмущали то широкое чувство справедливости и привязанности к светской власти, какое везде носил с собою самый посредственный римлянин.

Все известные нам действия Пилата показывают его хорошим администратором. В начале его правления у него происходили с его подчиненными раздоры, которые он смело разрешал самым зверским образом, но где он в сущности вещей, был прав. Иудеи должны были казаться ему отсталыми людьми. Он, без сомнения, смотрел на них, как смотрел некогда либеральный префект на Нижних-Бретонцев, возмущавшихся из-за новой дороги или школы. В своих наилучших проектах, направленных на благо родины, он встретил в законе неодолимое препятствие, особенно во всем, что касалось общественных работ. Закон окружал жизнь настолько, что она противилась всякой перемене и улучшению. Даже самые полезные римские сооружения являлись для ревностных иудеев предметом большого отвращения. Два обетных гербовых щита с надписями, поставленных Пилатом в его резиденции, соседней со священной оградой, вызвали еще более жестокую бурю. Пилат, сначала мало придававший значения этим демонстрациям, принужден был, таким образом прибегнуть к кровавым репрессиям, которые, наконец, повели за собою его низложение. Опыт стольких столкновений сделал его очень осторожным в его сношениях с несговорчивым народом, мстившим своим владыкам и вызывавшим тем самым против себя жестокие меры. Прокуратор к величайшему неудовольствию заметил, что он вынужден в этом деле играть в пользу закона, который он ненавидел, жестокую роль. Он знал, что религиозный фанатизм, получивший от гражданской властей право на некоторое насилие, первый возложит на них ответственность и будет почти обвинять их — высшая несправедливость: ведь настоящий виновник в подобном случае — подстрекатель!

Итак, Пилат хотел бы спасти Иисуса. Может, на него произвело впечатление полное достоинства и спокойствия поведение обвиняемого. По преданию, Иисус нашел будто бы поддержку в самой жене прокуратора. Последняя могла мельком видеть приятного галилеянина из какого-нибудь дворцового окна, когда тот выходил из храма; быть может, она видела его во сне, и мысль о смерти этого прекрасного молодого галилеянина создала у нее кошмар. Известно лишь, что Иисус нашел Пилата расположенным в свою пользу. Правитель допрашивал его с участием и с умыслом изыскать средства отпустить его оправданным.

Титул «царь иудейский», которого Иисус никогда не приписывал себе, но в котором его врагами резюмировались его роль и его притязания, естественно должен был возбудить подозрение римской власти. Иисуса и обвиняли с этой стороны, как мятежника и государственного преступника. Ничего не могло быть более несправедливого, ведь Иисус всегда признавал римскую империю за законную власть. Но партии религиозных консерваторов не имеют обыкновения затрудняться клеветой. Против воли Иисуса, были извлечены все выводы из его учения; его превращали в ученика Иуды Голонита; утверждали, что он запрещал платить подать цезарю. Пилат спросил Иисуса, действительно ли он был царем иудейским. Иисус не скрыл ничего из того, что он думал; но большая неясность, бывшая причиной его силы и долженствовавшая после его смерти возвести его в царское достоинство, на этот раз погубила Иисуса. Иисус, как идеалист, т. е. не делающий различия между духом и материей, с устами, вооруженными, по выражению Апокалипсиса, обоюдоострым мечом, никогда не успокаивал вполне предержащие власти. Если следует верить Иоанну, он признал себя царем, но в то же время произнес следующее глубокое изречение «Царство мое не от мира сего». Здесь он, будто, объяснил природу своего царского сана, всецело заключающегося в обладании и провозглашении Истины. Пилат ничего не понял в этом выспреннем идеализме. Несомненно, Иисус произвел на него впечатление безобидного мечтателя. Отсутствие в эту эпоху у римлян религиозного и философского прозелитизма заставляло их смотреть на преданность истине, как на химеру. Подобные дебаты наскучили им и казались лишенными смысла. Не замечая, какая опасная закваска для империи скрывалась в новых умозрениях, они не имели никакого основания употреблять против таких дебатов репрессии. Все их недовольство устремилось на тех, кто просил у них казней за пустые тонкости. Двадцать лет спустя, Галлион еще

так же обращался с иудеями. До разрушения Иерусалима административным принципом римлян было полное равнодушие к этим междоусобным спорам сектантов.

Уму правителя представился способ примирить свои собственные чувства с требованиями фанатического народа, чье давление он уже ощущал столько раз. Было в обычае по случаю праздника Пасхи освобождать для народа одного узника. Пилат, зная, что Иисус был арестован лишь благодаря зависти первосвященников, попробовал извлечь из этого обычая пользу для Иисуса. Он снова вышел на биму и предложил толпе отпустить «царя иудейского». Предложение, сделанное в таких словах, носило до некоторой степени растяжимый и в то же время иронический характер. Первосвященники увидели в нем опасность. Они подняли сильную агитацию и, чтобы свести к нулю предложение Пилата, подсказали толпе имя одного узника, пользовавшегося в Иерусалиме большою популярностью. По странной случайности, он тоже назывался Иисусом и носил прозвище Бар-абба или Бар-аббан. Это было весьма известное лицо: его арестовали по случаю мятежа, сопровождавшегося убийством... Поднялся общий крик. «Не этого, а Иисуса Варраву». Пилат был вынужден освободить последнего. Его замешательство увеличивалось. Он боялся, чтобы излишняя снисходительность к обвиняемому, которому он дал титул «царя иудейского», не скомпрометировала его. Кроме того, фанатизм ведь заставляет считаться с собой все власти. Пилат счел себя вынужденным сделать некоторую уступку: но, все еще колеблясь пролить кровь ради удовлетворения презираемых им людей, он задумал обратить дело в комедию.

Показывая вид, что он смеется над громким титулом, данным им Иисусу, Пилат приказал бичевать его. Бичевание было обычной прелюдией к смертной казни. Пилат, быть может, хотел дать понять, что это осуждение было уже сделано, в надежде, что будет довольно одной этой прелюдии. Тогда, согласно всем рассказам, произошла возмутительная сцена. Солдаты накинули на плечи Иисуса красный плащ, надели на голову корону из колючих ветвей, и в руку дали камышовую трость. Одетого таким образом Иисуса возвели на трибуну, перед лицом народа. Солдаты дефилировали перед ним, давали ему по очереди пощечины и, становясь на колени, восклицали. «Радуйся, царь иудейский!» Другие, говорят, плевали на него и били его камышом по голове. Трудно представить, чтобы римская важность была способна на такие гнусные поступки. Правда, Пилат в качестве прокуратора имел под своею властью только союзнические войска. Римские граждане, бывшие легионерами, не опустились бы до таких низостей.

Думал ли Пилат этою буффонадой обезопасить себя от ответственности? Надеялся ли он отвратить угрожавший Иисусу удар, делая кое-что в угоду ненависти иудеев и заменяя трагическую развязку забавным финалом, из которого, казалось, вытекало, что дело не заслуживает другого исхода. Если мысль его и была такова, то она не имела никакого успеха.

Шум возрастал и становился настоящим мятежом. Крики: «Распни его! Распни его!» — неслись со всех сторон. Первосвященники, приняв более или менее требовательный тон, объявляли Закон в опасности, если соблазнитель не будет наказан смертью. Пилат ясно увидел, что для спасения Иисуса пришлось бы подавлять кровавое возмущение. Однако, он попробовал еще выиграть время. Он вернулся в преторию, осведомился, из какой страны был Иисус, ища предлога отклонить свою собственную компетенцию. По преданию, он даже отослал Иисуса Антипе, находящемуся тогда, как говорят, в Иерусалиме. Иисус не воспользовался этими доброжелательными стараниями. Он заключился в полное достоинства молчание, — как и у Каиафы, — которое удивило Пилата.

Крики снаружи становились все более и более угрожающими. Уже кричали о недостатке усердия у правителя, который покровительствовал врагу цезаря. Самые ярые противники римского владычества превратились вдруг в лояльных подданных Тиберия, чтобы иметь право обвинить слишком милостивого прокуратора в оскорблении величества. «Здесь нет, — говорили они, — другого царя, кроме цезаря; всякий, делающий себя царем, враг цезарю. Если правитель оправдает этого человека, значит, он не любит императора». Слабый Пилат не выдержал; он наперед уже читал донесение, которое отправят в Рим его враги и в котором его обвинят в поддержке соперника Тиверия. Уже по делу об обетных щитах иудеи писали императору и остались правы. Он испугался за свое место. По своей угодливости, которая должна была предать его имя бичам истории, он уступил, возложив, говорят, всю ответственность в том, что произойдет, на иудеев. Последние, по словам христиан, приняли ее на себя, восклицая: «Кровь его да падет на нас и на детей наших!» Были ли действительно произнесены эти слова? В этом можно сомневаться. Но они суть выражения глубокой исторической истины. При положении, занятом в Иудее римлянами, Пилат почти не мог сделать ничего другого, кроме того, что он сделал. Сколько смертных приговоров, продиктованных религиозною нетерпимостью, вырвано у гражданской власти! Король испанский, предававший сожжению сотни своих подданных для угождения фанатическому духовенству, более достоин порицания, чем Пилат, ведь он представлял собою более полную власть, чем власть римлян в Иерусалиме. Когда гражданская власть становится преследовательницею или поддается подстрекательствам попов, она являет этим доказательство своей слабости. Но пусть правительство, которое в этом отношении без греха, бросит в Пилата первый камень. Рука светской власти, сзади которой скрывается клерикальная жестокость, не виновна. Никто не может сказать, что он питает отвращение к крови, раз он проливает ее при помощи своих слуг.

Итак, Иисуса осудили не Тиверий и не Пилат. Это сделала старая иудейская партия, это сделал закон Моисея. По нашим современным идеям, не может быть никакого переложения нравственной вины отца на сына. Каждый должен давать отчет человеческой и божеской справедливости только в том, что он сделал. Поэтому всякий иудей, страдающий теперь за убийство Иисуса, вправе жаловаться; ведь, быть может, он был бы Симоном Киринеянином; или, по крайней мере, может, он не был бы с кричащими: «Распни его!» Но народы несут на себе ответственность подобно индивидуумам. Но, если преступление было когда-либо преступлением нации, то то была смерть Иисуса. Это убийство было «легальным» в том смысле, что оно опиралось на закон, бывший душою нации. Моисеев закон в своей современной, правда, мало признаваемой форме, провозглашал наказание смертью за всякую попытку изменить существующий культ. Но Иисус, несомненно, нападал на этот культ и желал уничтожить его. Иудеи сказали об этом с простою и правдивою откровенностью: «У нас есть закон, и по этому закону он должен умереть, ибо он делает себя сыном божиим». Закон был гнусен: но это был закон древней жестокости, и герой, вызывавшийся уничтожить его, должен был прежде всего испытать его на себе.

Увы! Нужно более 1800 лет для того, чтобы пролитая кровь Иисуса принесла свои плоды. Во имя его в течение веков будут предавать мучениям и смерти мыслителей, столь же благородных, как и Иисус. Еще и теперь в странах, именующих себя христианскими, высказываются за карательные меры в религиозных проступках. Иисус не ответствен за эти заблуждения. Он не мог предвидеть, что какой-либо с ложным воображением народ поймет его как ужасного Молоха, жадного до горящего мяса. Христианство было нетерпимо; но нетерпимость не есть дело существенно христианское. Это дело иудейства в том смысле, что оно впервые воздвигло теорию абсолютного в предмет веры и положило принцип, что всякий новатор, хотя бы он подкреплял свое учение чудесами, должен быть встречен камнями и побит ими без всякого суда. Конечно, языческий мир тоже не был лишен своих религиозных жестокостей. Но если бы он имел такой закон, то как бы он сделался христианским? Таким образом, Пятикнижие было первым кодексом религиозного террора в мире. Иудейство дало пример неизменного догмата, вооруженного мечом. Если бы вместо того, чтобы преследовать иудеев слепою ненавистью, христианство

уничтожило бы режим, убивший его основателя, то насколько бы оно было последовательнее и достойнее человечества!

ГЛАВА XXII

Смерть Иисуса

Хотя реальный мотив смерти Иисуса был чисто религиозный, его врагам удалось в претории представить его государственным преступником; ведь они не добились бы смерти для Иисуса от скептика — Пилата, если бы обвиняли его в разногласии с религией Моисея. Согласно этой идее, первосвященники требовали через толпу крестной казни Иисуса. Эта казнь была не иудейского происхождения; если осуждение Иисуса произошло прямо по закону Моисея, то его побили бы камнями. Крест был римскою казнью, предназначенной для рабов и для тех случаев, когда смерть хотели увеличить позором. Применяя крестную казнь к Иисусу, к ним поступали, как с разбойниками, грабителями, бандитами или теми врагами низшего разряда, которым римляне отказывали в чести умереть от меча.

Ведь наказывали фантастического «царя иудеев», а не гетеродоксального' догматика. Благодаря той же самой идее, исполнение должно было быть представлено римлянам. Известно, что римские солдаты, имея ремеслом убийство, исполняли обязанность палачей. Итак, Иисус был отдан в руки когорте союзнических войск и вкусил всю гнусность истязаний, введенных жестокими нравами новых победителей.

Было около полудня. Иисуса одели в его одежды, снятые с него во время парадирования перед трибуной, и, так как у когорты уже было в запасе два разбойника, подлежавших казни, то троих осужденных соединили вместе, и кортеж отправился к месту казни.

Последнее находилось в местности, называемой Голгофа; оно было расположено вне Иерусалима, но вблизи городских стен. Слово Голгофа означает череп; оно, кажется, соответствует нашему слову Chaumont (Лысая гора) и, вероятно, представляла обнаженный курган, имевший форму лысого черепа. Не известно точно местонахождение этого кургана. Он, вероятно, находился на севере или северо-западе города, в глубокой взрытой равнине, простирающейся между стенами и двумя долинами Кедрона и Хиннома. Это была довольно обыкновенная местность и вдобавок испорченная неприятными деталями соседства большого города. Трудно помещать Голгофу в том месте, где, начиная с Константина, христианство чтило ее. Это место слишком всунуто в глубь города, и приходится думать, что в эпоху Иисуса оно входило в ограду стен.

Осужденный на распятие должен был сам нести орудие своей казни. Но Иисус, более слабый физически, чем его два спутника, не мог нести своего. Отряд встретил некоего Симона Киринеянина, возвращавшегося с поля, и солдаты с грубыми приемами иностранных гарнизонов принудили его нести роковое дерево. Может быть, здесь они воспользовались правом узаконенной барщины, так как римляне не могли сами обременить себя позорным деревом. Кажется, что позже Симон принадлежал к христианской общине. Его два сына, Александр и Руф, были очень известны в последней. Он мог рассказать о некоторых обстоятельствах, которых сам был свидетелем. В этот момент возле Иисуса не было ни одного ученика.

Наконец, прибыли к месту экзекуций. По иудейскому обычаю, предложили выпить вина, приправленного ароматическими веществами, — этот опьяняющий напиток давали осужденному из чувства сострадания, чтобы ошеломить его. Кажется, что иерусалимские дамы часто приносили лично это вино последнего часа для несчастных, которых вели на казнь; если ни одна из них не являлась, то вино покупали на деньги общественной кассы.

Иисус, слегка коснувшись сосуда краями губ, отказался пить. Это печальное облегчение для обыкновенных подсудимых не шло его высокой натуре. Он предпочел расстаться с жизнью в полной ясности своего духа, и в полном сознании ожидать смерть, которой он желал и призывал. Тогда с него сняли одежды и прибили его ко кресту. Крест составлялся из двух бревен, соединенных в форму Т. Он был невысок, так что ноги осужденного почти касались земли. Сперва поднимали крест; затем к нему прикрепляли преступника, вбивая ему в руки гвозди; ноги часто прибивались гвоздями, а иногда только связывались веревками. К остову креста прикреплялся в середине деревянный чурбан, вроде реи, и проходил между ногами осужденного, который поддерживался сверху. Без этого его руки разодрались бы и тело опустилось бы. В иных случаях в уровень с ногами прикреплялась горизонтальная дощечка и поддерживала их.

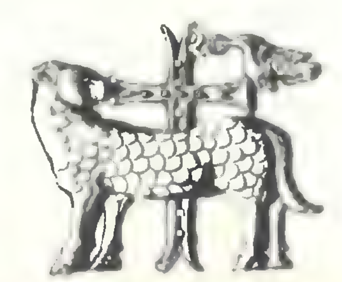
Иисус вкусил эти ужасы во всей жестокости. Палящая жажда, одна из пыток распинания на кресте, пожирала его. Он попросил напиться. Близ этого места стоял сосуд, полный обычного питья римских солдат: смеси уксуса и воды, называемой поска. Солдаты должны были носить с собой свою posc'у во всех экспедициях, к числу которых относилась и экзекуция. Солдат обмакнул губку в это питье, воткнул ее на конец камыша и поднес его к устам Иисуса, который высосал ее. По бокам Иисуса были распяты два разбойника.

Экзекуторы, которым обыкновенно оставляли незначительные пожитки казненных, разыграли по жребию одежды Иисуса и, сидя у подножья креста, стерегли его. По преданию, будто бы Иисус произнес фразу, бывшую у него в сердце, если не на устах: «Отче, прости им; они не знают, что творят».

Продолжение следует.

Т. е. религиозные преследования. Ренан подчеркивает здесь, что Моисеево Пятикнижие, в котором заключена теория единого бога (в противоположность политеизму), принятый всеми культурными народами, вывело из этого учения религиозную нетерпимость и вражду к религиозному новаторству. (*Перев.*)

Гетеродоксальный — расходящийся с господствующей официальной церковью, всегда называющейся «правоверной», «православной» или ортодоксальной. (*Перев.*)



КУЛЬТУРА

Традиции.
Духовность.
Возрождение.

Духовное возрождение начинается с образования — считает яснополянский подвижник Виталий Ремизов (см. стр. 50).

БОРИС СУШКОВ

ДОГМЫ ДУХОВНЫХ ПАСТЫРЕЙ

размышления по поводу

I

« — Каким Вам видится будущее России?
— Подлинное христианство
и подлинная всечеловечность».

РАЙНХАРД ЛАУТ,
немецкий философ.

Острые дискуссии о путях нашего исторического развития уже выходят за рамки чисто экономических, социальных, политических проблем, поднимаясь до их общей сути — духовной ориентации. И тут достигают накала настоящей гражданской войны умов за «русскую идею», за разрешение «русского вопроса». Национальное самосознание, обостренное всевозможными конфликтами, вновь ставит вопросы о национальном характере русского народа и его духовной культуры, о их соотнесенности или, наоборот, противоположности характеру русской революции, о поисках новых путей или возвращении на старые. Эти вопросы порождают ожесточенную конфронтацию лагерей разной культурно-исторической и политической ориентации. Разброс политических платформ небывалый с февраля семнадцатого года — от великодержавных и неосталинистских до либерально-демократических, от национал-социалистических до космополитических. Кому-то это кажется вавилонским столпотворением и чуть ли не гибелью нации, хотя это вполне естественно и закономерно для истории России.

В России вот уже два века идет не просто политическая борьба «вокруг Свободы», — это более мощные тектонические движения нашей национальной почвы. И мы, как субъекты этих движений, действуем подчас как слепая природная стихия, тогда как нам давно уже надо было научиться действовать сознательно, понимая их исторический смысл. Суть его в том, как не раз уже было говорено за последние два века, что молодая русская нация окончательно еще не сформировала свою духовную культуру, не слила воедино три ее источника: государственность, религиозность и просвещение. Она с Пушкина до Толстого — весь XIX век! — только вырабатывала принципы этого объединения, а потом и синтеза, медленно двигаясь к диалектическому единству национального и общечеловеческого.

Национальное, его высшая форма, для нас, русских, с р е д и н н о г о народа, соединяющего Запад и Восток, Север и Юг, и есть всемирность, всечеловечность. Это наша внутренняя фундаментальная органическая черта, которая ярче всего, по мнению Гоголя, проявилась в гении Пушкина — как «всемирная отзывчивость» поэта. Такая отзывчивость — не механическое подражание, не потеря себя в отзвуках чужого, а рождение собственного звука, усиливающего в созвучьи и преображающего первоначальный — «чужой», но все же родственный, звук. В этом секрет «пустоты» Пушкина. Она не следствие духовного вакуума, как помнилось одному не очень чуткому русскому критику, живущему теперь в Париже, а свободы — свободы от какого бы то ни было догмата, мертвенным замком замыкающего душу и мысль, способности любовно принять в свою душу и преобразовать в доселе небывалые чарующие звуки любые звуки вселенской жизни. Это и есть выражение подлинного христианства и подлинной всечеловечности.

Эту его синтезирующую всемирную отзывчивость как нашу национальную черту высоко поднял Достоевский в своей знаменитой речи о Пушкине, на минуту примирив, — показав, что это в принципе возможно! — два враждебных лагеря — славянофилов и западников.

Вслед за Пушкиным чувство всемирности мощно проявилось в поэзии Лермонтова, Тютчева, Вл. Соловьева, А. Блока, А. Белого, Н. Гумилева, Д. Мережковского, М. Цветаевой, А. Ахматовой и многих других замечательных русских поэтов и писателей.

В силу этого объективного фактора, не только русская литература, но и русская философия, вбирающая в себя европейское и восточное просвещение, с самого зарождения есть философия всеединства.

Путь от первоначального синкретизма славянской культуры к осмысленному единству нации на основе всеединства был сложный, противоречивый, проходил в драматической борьбе в силу указанных причин: тенденции ду-

ховного национального развития были разнонаправленные в силу разных контактов с мировой цивилизацией. Этим всегда пользовались консервативные силы, возвращавшие страну назад — то к национализму и шовинизму, то к деспотизму и обскурантизму. Им всегда казалось, что усвоение достижений мировой культуры, способствующее росту национального самосознания — нормальный всемирно-исторический процесс, характерный для всех национальных культур — происходит за счет национальной особенности русского народа. Так считали наименее одаренные его слои в верхнем и низшем классах, закосневшие в домостроевских привычках, квасным патриотизмом прикрывающие свою духовную ограниченность, косность, бездарность, неспособность к политическому, культурному, нравственному развитию в семье народов мира, особенно в условиях, когда эти народы один за другим начали опережать нас.

Вот и теперь они в очередной раз кинулись «спасать Россию» от Запада и от Востока, далеко ушедших в своем развитии от нашей «сверхдержавы». Послушай их, замкни Россию на самое себя, и расцветет пышным цветом наш родной домострой, и воскреснут не самые лучшие наши национальные черты — самодовольство, чванство, самодурство и деспотизм разных мастей. Все эти простаковы с митрофанами, кабанихи с дикими, ноздревы с собакевичами, угрюм-бурчеевы со сквозниками-дмухановскими и прочими куролесовыми, помпадурами и помпадуршами с их современными аналогами: брежневыми и черненками, рашидовыми и адыловыми, чурбановыми и проч., и проч. А соответствующая авторитарной власти авторитарная церковь вкупе с внутренними войсками и КГБ, которых «не дают в обиду» наши густопсовые русофилы, будут охранять их куролесничание от народного гнева. Ни один народ, включая и русский, нельзя идеализировать и тем более обожествлять, извращая его прогрессивную миссию среди народов непрошеным мессианством. «Святая Русь», как и «Социалистическая Русь» — это миф, которым прикрывалась в России всякая «нечистая сила».



Борис Филиппович СУШКОВ — критик, искусствовед и литературовед. Родился в 1940 году в городе Липецке. В 1965 году окончил ГИТИС имени А. В. Луначарского, затем — аспирантуру Литературного института им. А. М. Горького. Кандидат искусствоведения. Член СТД СССР, член СП СССР. Автор статей и книг, посвященных творчеству Л. Н. Толстого, некоторым советским писателям. Широкую известность автору принесла книга «Александр Вампилов» (М.: Сов. Россия, 1989) и статья «В поисках зеленой палочки», опубликованнвя в журнале «Новый мир» (№ 10, 19ВВ). Живет в Туле.

Но все же контуры национального духовного синтеза — русской философии всеединства — были намечены Пушкиным и Чаадаевым, Гоголем и Достоевским, Белинским и Герценом, Вл. Соловьевым и Львом Толстым, П. Флоренским, Н. Бердяевым, С. Булгаковым, Вл. Вернадским, Н. Рерихом, А. Белым и др.

Двадцатый век должен был завершить эту работу. При ее завершении Россия XX века — именно наша, теперешняя «провинциальная» Россия, Россия «застоя» — стала бы второй Грецией IV века до н. э. — средоточием мировой цивилизации, ее «совестным судом», по выражению П. Чаадаева. Гигантская фигура Толстого, вобравшего в себя и перемоловшего чуть ли не всю мировую культуру, в лице которого она поднималась на качественно новую ступень развития, уже символизировала собой это духовное могущество России: «Весь мир, вся земля смотрит на него: из Китая, Индии, Америки — отовсюду к нему протянуты живые, трепетные нити, его душа — для всех и навсегда!» — свидетельствовал Горький.

И эта-то работа была насильственно прервана в самом разгаре «построением социализма в отдельно взятой стране». Россия была вырвана из общемирового исторического процесса на 70 лет. Ее гигантские духовные и интеллектуальные силы, накопленные за тысячелетие и пришедшие наконец в движение, были варварски уничтожены. Взамен органического синтеза плодов мировой цивилизации России был насильственно навязан пресловутый «классовый подход» и «пролетарский интернационализм», за который она теперь как олицетворение «центра» несет ответственность перед союзными народами, хотя этот безнациональный интернационализм страшно ударил и по русской культуре, разрушив ее до основания.

Сейчас мы возвращаемся к самим себе, подбираем разбитые черепки нашей культуры, недоделанное предшественниками наше историческое дело — философию всеединства. Но поскольку она формировалась во взаимном борении многих ее разнородных элементов, которые только-только начали переплавляться в горниле синтеза, возвращение к ним опять обернулось разбродом, взаимной бранью и обвинениями внутри русского лагеря, попытками вычленить одно единственное культурно-идеологическое направление и объявить его единственно правильным.

Из этой возобновившейся междоусобицы единственный выход — творческий, а не догматический подход к нашему национальному наследию. Не бездумно реанимировать старое, а творчески переосмыслить все элементы русской национальной культуры с позиций нашего уникального исторического опыта. И уже в этом новом качестве пытаться их синтезировать на современном уровне мировой цивилизации, чтобы вновь включиться в нее как ее необходимая органическая часть.

Такой я вижу нашу общую судьбу и нашу работу, в которую надо немедленно включаться, бросив бесплодные дискуссии о том, чья нация лучше, кто кого «покорил» или кто «патриотичнее» и «прогрессивнее» любит Родину. Не нации как нации угнетают друг друга — угнетает б и о л о г и ч е с к и й и м п е р и а л и з м, свойственный л ю б о м у н а р о д у и л ю б о м у о т д е л ь н о м у ч е л о в е к у. Это страшная первозданная биологическая сила покорения сдерживается или другой такой же силой, или культурой и религией, если они не извращены.

II

И церкви тоже все не так,
Все не так, как надо...

ВЛ. ВЫСОЦКИЙ

Перестройка у нас началась с демократизации государственной власти. Но и наши официальный атеизм (материалистическая философия) и официальная религия (православная церковь, вообще — идея Бога) — тоже давно не соответствуют уровню развития общества, нуждаются в коренной перестройке. Человечество давно вышло на качественно новый уровень жизни, характеризующийся интенсивным межнациональным обменом материальных и духовных ценностей. Во всем мире наблюдается стремление к единству и синтезу мировой науки, мировой философии и мировой религии. Этот процесс объективный, игнорировать его нельзя, не став безнадежной провинцией мировой цивилизации. У истоков его стояли три великих немецких философа: Кант, Гегель и Шеллинг.

Кант писал: «Тогда только можно будет с полным основанием сказать, что пришло к нам царство божие, когда открыто признана будет необходимость перехода церковной веры во в с е о б щ у ю р а з у м н у ю р е л и г и ю. Пусть полное осущесталение этого царства бесконечно удалено от нас; но в этом установлении всеобщей разумной религии, вместо церковных вер, как в развивающемся и потом размножающемся зародыше, содержится уже все то, что должно просвятить мир и овладеть им... Мы должны терпеливо работать над этим осуществлением и ждать его».

Гегель: «Ибо философия религии и есть развитие, познание того, что есть Бог, и только с ее помощью можно н а у ч н ы м п у т е м п о з н а т ь, что есть Бог. Таким образом, Бог есть это хорошо известное, но научно еще не раскрытое, не познанное представление».

Шеллинг в своей философии тождества (тождества материи и духа в Боге — Абсолюте) сделал крупный шаг в этом направлении.

В двадцатом веке великий французский ученый-антрополог, философ, теолог Тейяр де Шарден своей знаменитой книгой «Феномен человека» уже символизировал этот синтез-рождение всеобщей разумной религии, способной объединить человечествп.

У нас же, несмотря на явное расхождение с жизнью нашей официальной философии, мы упорно продолжаем сохранять ее в прежнем виде. И хоть дело сейчас идет без вчерашней открытой вражды атеистической философии, науки и религии, но и без попытки взаимно обогащающего диалога, совместного добросовестного поиска истины.

Наше общественное сознание не желает больше мириться с казенным, официальным «общественным сознанием». «Без революции в идеологии перестройка будет лишена лучших решений, так как умы членов общества будут отгорожены от этих решений идеологическими догмами», — пишет Гавриил Попов, народный депутат СССР — и призывает: «...нужно провести глубокую ревизию всей и д е о л о г и и марксизма (и тем более ленинизма)... Надо уточнить и концепцию социализма, и всю лежащую в его основе идеологию с учетом реальностей XX века. Не частности, а именно всю идеологию: начиная с утрированного представления о материи и духе, при котором дух вторичен и производен; начиная с трудовой теории стоимости, в которую невозможно вместить главный вид человеческой активности — творческую деятельность с информационным итогом, ценность которого определена чем угодно, но не затратами усилий, начиная с ленинской теории о мелком производстве как постоянно рождающем капитализм, хотя такое производство тысячелетиями никакого капитализма не рождало — ни ежедневно, ни в массовом масштабе и т. д. и т. п.»

Спрашивается: могут ли такие духовные силы — как светские, так и религиозные — участвовать в перестройке, влиять на принятие решеиий? Конечно, нет. В таком качестве, в каком они сейчас, они не обладают подлинным авторитетом и исполняют лишь роль плюралистического «декора» перестройки. И все это чувствуют и не обращают серьезного внимания на «духовных пастырей», верующих и полуверующих, любителей всякого рода «проповедей», замельтешивших на экранах телевизоров, на страницах прессы. А без глубокого и строгого духовно-религиозного, научно-философского обеспечения перестройки она рискует выродиться в мелкобуржуазную стихию потребительства и вседозволенности. На что ее и толкают со всех сторон, призывая «любыми средствами накормить народ». Чтобы спасти нацию, нужны не только политические, экономические, но в первую очередь духовные лидеры, способные увлечь народ вневременными, вечными ценностями и идеалами. «Ибо тайна бытия человеческого не в том, чтобы жить, а в том, для чего жить. Без твердого представления себе, для чего ему жить, человек не согласится жить и скорей истребит себя, чем останется на земле, хотя бы кругом его все были хлебы», — писал Достоевский.

III

«Экономика должна быть частным делом миллионов граждан, а не сферой «творчества» равнодушных чиновников».

К. ФЕОКТИСТОВ

Явление Толстого, на мой взгляд, — центральное явление русского национального духа, переосмыслить которое нам необходимо в первую очередь. Избавиться наконец от «дуализма» в его восприятии, навязанного нам официальной идеологией: «с одной стороны — гениальный художник», с другой — негодный учитель жизни, «помещик, юродствующий во Христе».

Наблюдения глубочайшего художника над жизненными процессами, его бесстрашные поиски истины — ох, как нам сейчас пригодились бы. Особенно актуальны его экономические статьи.

Приглядываясь к жизни многомиллионного народа, открывая сокровенные тайны характера человека, движущие силы его практической и духовной жизни, Толстой пришел к неординарному выводу. Он поставил центром развития общества, государства, человечества не общественные институты, а ч е л о в е к а, е г о б л а г о. Развитие свободного человека, его стремление к благу — прежде всего б л а г у с в о е й д у ш и — должно определять развитие общества и государства, а не наоборот, считал Толстой. Толстовцы — истинные, члены земледельческих коммун, так и поступали. Духовному благу отдельного человека у них служило все: труд, социальные и нравственные отношения между людьми, братски связанными между собой. Это не могло не влиять на общество и в конечном счете на государство. «Движение последователей Толстого в Советском Союзе не имело никаких политических целей. Все, чего хотели толстовцы, — жить в соответствии с религиозными принципами, которые исповедовал Толстой. Однако именно эти религиозные принципы делали их гражданами, способными оказать положительное влияние на жизнь любого общества, они были честными, воздержанными, трудолюбивыми, мирными и преданными благосостоянию своей общины», — писал американский исследователь У. Эджертон, комментируя воспоминания Б. Мазурина, председателя последней толстовской коммуны «Жизнь и труд», опубликованные в «Новом мире» в 1988 году.

Государственный казенный труд «кормит, не любя», говорил Толстой. Отсюда разобщенность, групповой эгоизм людей, их отчужденность и от самого труда, и от его результатов. Только труд, удовлетворяющий нравственным требованиям высшего личного блага человека — блага любви — «кормит, любя» и поэтому насыщает, по библейской легенде, пять тысяч народа пятью хлебами.

Сейчас мы хотим смешать эти два противоположных общественно-экономических уклада: государственный и человеческий. Тогда как достаточно одного человеческого, и если ему не мешать, он скоро мог бы «вывезти» на себе и все государственные проблемы. Вот это и был бы, если угодно, социализм с человеческим лицом, а не лицом бюрократа. Государство не должно предписывать человеку никаких форм деятельности. Человек должен находить их сам, исходя из своего стремления к благу. К этому толстовскому выводу приходят все больше людей, поддерживающих перестройку.

IV

Рожденное от плоти есть плоть,
а рожденное от Духа есть дух.
Не удивляйся тому, что Я сказал тебе:
должно вам родиться свыше».
(Христос — Никодиму)
ЕВАНГЕЛИЕ от ИОАННА.
гл. 3, ст. 3-7.

Учение о благе — главное звено толстовского учения. Оно включает в себя религиозное воспитание и образование человека. Поэтому учение о благе может успешно проводиться в жизнь только на определенном этапе развития личности, когда она уже находится в обладании своими духовными, то есть нравственными силами. Наше величайшее несчастье в том, что у «советского» человека, расплющенного деспотическим государством, нет этих нравственных сил. Отсутствие их и делает его «игралищем политических страстей», таким беспомощным в решении назревших проблем.

Без духовных, нравственных сил человек — дикарь, ленивое или агрессивное животное, как любая другая биологическая особь, не более. Таким его рождает природа, и если он не родится еще и «свыше», как говорит Христос, то есть духом, то он таким животным и остается на всю жизнь. Поэтому воспитывать эти духовные силы в человеке, помогающие ему «родиться свыше», надо с раннего детства, считал Толстой. Он пишет для этого чудесную книжку — «Евангелие для детей» («Учение Христа, изложенное для детей»), где на примере человеческой и просветительской деятельности, учительской жизни Иисуса Христа показывает, как происходит преображение природной, эгоистической, животной силы — биологического империализма — в духовную силу, дающую человеку духовное благо любви и жизнь вечную.

Толстой никогда не отворачивался от суровой правды жизни, не игнорировал ее материальных требований, что не раз приписывали ему всевозможные исказители его учения. Он только не шел у них на поводу, считал, что не борьба за существование — главный закон жизни, а вечный идеал любви. Он и должен стать критерием отношения к актуальной действительности, с его позиций должны решаться все насущные проблемы. Тогда и жизнь человеческая, сотканная из сиюминутых нужд, будет иметь вневременный и вечный смысл.

Эпиграфом к своей статье «О значении русской революции» Толстой приводит такое рассуждение Иосифа Мадзини: «Поклонники пользы не имеют иной нравственности, кроме нравственности выгоды, и иной религии, кроме религии материального блага. Они нашли тело человека изуродованным и истощенным нищетой и в своем необдуманном рвении сказали себе: «давайте излечим это тело, когда оно будет сильным, жирно, хорошо упитано, то душа вернется в него». А я говорю, что излечить это тело можно только излечив душу. В ней корень болезни, и телесные недуги являются лишь внешними проявлениями этой болезни. Современное человечество **умирает от отсутствия общей веры, общей идеи, связующей землю с небом, вселенную с Богом.** От отсутствия этой религии духа, от которой остались лишь пустые формы и безжизненные формулы, от полного отсутствия чувства долга, способности жертвовать собою, человек, подобно дикарю, пал, распростертый во прах, и воздвиг на пустом алтаре идол «выгоде». Деспоты и князья мира сего стали его первосвященниками. От них-то и возникла отвратительная формула морали выгоды, гласящая: «каждый только для своих, каждый только для себя».

«Религия людей, не признающих религии, — писал Толстой, — есть религия покорности всему тому, что делает сильное большинство, т. е. религия повиновения существующей власти».

И вот его главная мысль о религии: «Религия не есть раз навсегда установленная вера в совершившиеся будто бы когда-то сверхъестественные события и в необходимость известных молитв и обрядов, не есть также, как думают ученые, остаток суеверий древнего невежества, который не имеет в наше время значения и применения в жизни; **религия есть установленное, согласное с разумом и современными знаниями отношение человека к вечной жизни, к Богу, которое одно движет человечество вперед к предназначенной ему цели.**

...Человек есть слабое, несчастное животное до тех пор, пока в душе его не горит свет Бога. Когда же свет этот загорается (а зажигается он только в душе, просвещенной религией), человек становится могущественнейшим существом мира. И это не может быть иначе, потому что действует тогда в нем уже не его сила, а сила Божия.

Так вот что такое религия и в чем ее сущность».

V

« — Вот умрет Толстой
и все к черту пойдет...»
Чехов — Бунину.

Государство уповает на «отлаженный механизм» управления экономикой и — боже мой! — за двести лет так его и не отладило. Религия — истинная, включающая в себя и науку, и философию, «отлаживает» механизм души, и он работает отлично там, где государство (и культовая авторитарная церковь!) не препятствует человеческому сообществу, избравшему главной целью жизни — духовное благо.

Некоторые публицисты упорно пытаются защитить авторитет «сильного» государства, пошатнувшийся благодаря демонтажу командно-административной системы, ссылкой на «новые», нетрадиционные авторитеты, вновь набирающие силу. «Одним из пунктов разногласий был вопрос о том, что является наиболее яркой чертой русского народа, его неотъемлемой принадлежностью, его возможным вкладом в будущее устройство мира». Славянофилы такой чертой называли православие. Не соглашаясь с ними, Соловьев писал, что православие трудно рассматривать в качестве наиболее сильной стороны русской истории. Претерпев сокрушительный раскол в XVII веке, оно так и не восстановило единство своих рядов. Начиная с XVII века, православная церковь пребывает в подчинении у государства.

По мысли Соловьева, характерным признаком русского народа является не его религиозность, а свойственная ему сильная государственная организация, возникшая по вполне понятным историческим причинам. Следовательно, главный характерный признак народа — не его душевный склад, не то, как он трудится и как живет, во что верует, а внешняя организация, возникшая к тому же принудительно, как средство защиты и никогда не бывшая целью. По характеру же русский народ, наоборот, анархист, что и доказали Бакунин, Кропоткин да и Лев Толстой. Анархизм у нас дискредитирован до примитивного представления о хаосе и гибельном беспорядке. Тогда как на самом деле анархизм в русском народе (да и в любом другом) понимался как такая жизнь, где всяк живет своим умом, на свой манер и вкус. И так жили века, даже при крепостном праве, даже в своей общине наши замечательные «хори и калинычи». И подлинное единение возможно только тогда, когда при относительном единстве взглядов сохраняется свобода воли личности. Абсолютного единомыслия быть не может, так предусмотрено самой природой человека. «Счастье единомыслия», которым еще недавно гордились советские писатели в официальных отчетах со всевозможных «съездов», — это рабский восторг перед авторитарным режимом командно-административной системы. «Понять всю широту и действенность, понять всю святость прав личности и не разрушить на атомы общество — самая трудная социальная задача. Ее разрешит, вероятно, сама история для будущего, в прошедшем она никогда не была разрешена». Эта мысль Герцена и сейчас является основополагающей.

Осмыслить всю ее непреложность опять поможет нам духовный опыт Льва Толстого. В письме к Н. Страхову от 13 сентября 1871 года Толстой описывает свою встречу со стариком Тютчевым и вот какое признание делает он: «Из живых не знаю никого, кроме вас и его, с кем я так одинаково чувствовал и мыслил. Но на известной высоте душевной единство воззрений на жизнь не соединяет, как это бывает в низших сферах деятельности, для земных целей, а оставляет каждого независимым и свободным. Я это испытал с вами и с ним. Мы одинаково видим то, что внизу и рядом с нами; но кто мы такие и зачем и чем мы живем и куда мы пойдем, мы не знаем и сказать друг другу не можем, и мы чуждее друг другу, чем вам или даже мне мои дети. Но радостно по этой пустынной дороге встречать этих чуждых путешественников. И такую радость я испытал, встречаясь с вами и с Тютчевым».

Вот эту коренную черту русского народа и игнорировали революционеры-марксисты, более того — ее-то и третировали как «русскую расхлябанность», «неумение жить и работать», видели именно в ней главное препятствие для своего государственного, распланированного с головы до пят социализма, призванного дать «выучку» и «выволочку» русскому народу. «Выволочка» без обиняков обещалась кровавой: «...принуждение во всех своих формах, начиная от расстрелов и кончая трудовой повинностью, ...является методом выработки коммунистического человечества из человеческого материала капиталистической эпохи», — писал реабилитированный перестройкой «святой» Бухарин-ленинец.

Правда, не все. В 1909 году в Москве вышел сборник статей русской революционной интеллигенции «Вехи», которому суждено было стать знаменитым, пророческим прогнозом будущей, а нашей теперешней, истории. Лев Толстой не прошел мимо этого замечательного духовного явления русской жизни, дал свой отзыв о «Вехах», чрезвычайно сейчас для нас интересный. Три поколения русской «советской» интеллигенции выросли, не читая «Вех» и тем более их толстовской оценки, ибо все это было ошельмовано и запрещено. Поэтому перед тем, как привести суждения Толстого, даю краткую, хотя бы по энциклопедическому словарю, информацию о сборнике.

«Вехи» были отрезвительной и отрезвляющей реакцией русского либерализма на революцию 1905-07 гг. Сборник содержал критику марксистской теории социализма как классовой войны и диктатуры пролетариата и знаменовал собой возвращение русской интеллигенции к общечеловеческим ценностям, к идеалистической философии. Ядро сборника составили статьи Н. Бердяева, С. Булгакова, П. Струве, С. Франка. В числе второстепенных авторов был и А. Луначарский.

Исходной предпосылкой «веховской» критики революционеров — вождей русского освободительного движения была мысль, что не революционные массы, а внутренняя духовно-религиозная жизнь личности является «единственной творческой силой человеческого бытия», единственным «прочным базисом», на котором можно построить здание общественных отношений. По мнению авторов «Вех», социальная революция катастрофична и гибельна для общества. Атеистический материализм, политический радикализм и насилие, нигилистическое отношение к абсолютным ценностям, вера в земной рай и идеализация народа (в марксизме — пролетариата), подчинение философской истины утилитарно-политическим целям, максимализм социальных и этических требований, а вместе с тем пренебрежение к интересам отдельного человека и отчуждение от государства — таковы, по мнению авторов «Вех», характерные, хотя и не всегда совместимые друг с другом, черты демократической и социалистической идеологии, которая завела русское общество в тупик. Призвав к отказу от этой идеологии, «Вехи» выдвинули в качестве позитивной программы самосовершенствование личности на основе религиозно-культурных традиций, покаяние и признание личной вины и ответственности за происходящее, постепенное, под влиянием духовных факторов, изменение социальных и экономических условий и т. д.

Хотя общая духовно-нравственная установка «Вех», казалось, должна была бы быть близка Толстому, он тем не менее выступил с их критикой. Его раздражал наукообразный, абстрактный — «жаргонный» философский язык статей, затемняющий, по его мнению, истину. Из всех авторов сборника он выделяет лишь двух — Бердяева и Булгакова. «Единственные подобия ответов, хотя и выраженных тем же запутанным и нелепым жаргоном, которым написаны все статьи, были в статьях Бердяева и Булгакова, — пишет он. — В статье Бердяева говорится, что «сейчас мы духовно нуждаемся в признании самоценности истины, в смирении перед истиной и готовности на отречение во имя ее. Это внесло бы освежающую струю в наше культурное творчество. Ведь философия есть орган самосознания человеческого духа и орган не индивидуальный, а сверхиндивидуальный и соборный. Но эта сверхиндивидуальность и соборность философского сознания осуществляется лишь на почве традиции универсальной и национальной. Укрепление такой традиции должно способствовать культурному возрождению России».

В статье Булгакова говорится, что «в поголовном почти уходе интеллигенции из церкви и в той культурной изолированности, в которой благодаря этому оказалась эта последняя, заключалось дальнейшее ухудшение исторического положения... если бы интеллигенция стала церковной, т. е. соединяла бы с просвещением и ясным пониманием культурных и исторических задач (чего так часто недостает современным церковным деятелям) подлинное христианство, то таковая ответила бы насущной, исторической и национальной необходимости».

Читая все это, — далее пишет Толстой, — ему невольно вспомнился умерший друг, тверской крестьянин Сютаев, тоже несогласный с церковным пониманием христианства: «Он ставил тот же вопрос, что и авторы сборника Вехи. На вопрос этот он отвечал: «Все в тебе», в «любве». Так же отвечает на этот вопрос и крестьянин из Ташкента, письмо которого Толстой получил как раз во время чтения сборника. Его-то и приводит он как свой ответ «Вехам».

«Основа жизни человеческой любовь», пишет крестьянин, «и любить человек должен всех без исключения. Любовь может соединить с кем угодно, даже с животными, вот эта-то любовь и есть Бог. Без любви ничто не может спасти человека, и поэтому не нужно молиться в пустое пространство и стену, умолять нужно только каждому самого себя, в том, чтобы быть не извергом, а человеком. И стараться надо каждому самому о хорошей жизни, а не нанимать судей и усмирителей. Каждый сам себе будь судьей и усмирителем. Если будешь смирен, кроток, и любовен, то соединишься с кем угодно. Испытай каждый так делать, и увидишь иной мир и другой свет и достигнешь великого блага, такого, что прежняя жизнь покажется диким зверством. Не надо справляться у других, а самим надо разбирать, что хорошо, и что дурно. Надо не делать другим чего себе не хочешь. Как в гостях люди сидят за одним столом и все одно и то же едят и все сыты бывают, так и на свете жить надо, все одной землей, одним светом пользуемся и потому все вместе должны и трудиться и кормиться, потому что все ничье и мы все в этом мире временные гости. Ничего не надо ограничивать, надо только свою гордость ограничить и заменить ее любовью. А любовь уничтожит всякую злобу. А мы теперь все только жалуемся друг другу и осуждаем, а сами может быть хуже тех, кого осуждаем. И все теперь как низшие, так и высшие ненавидят так, что даже готовы убивать друг друга. Низшие думает этим убийством обогатить себя, а высшие усмирить народ. И это заблуждение, обогатиться можно только справедливостью, а усмирить людей можно только любовным увещанием, поддержкою, а не убийством. Кроме того люди так заблудились, что думают, что другие народы, немцы, французы, китайцы, враги и что можно воевать с ними. Надо людям подняться на духовную жизнь и забыть о теле и понять то, что дух во всех один. Поняли бы это люди, все бы любили друг друга, не было бы меж ними зла и исполнились бы слова Иисуса, что Царство Божие на земле внутри вас, внутри людей».

Так думает и пишет безграмотный крестьянин, ничего не зная ни о Махе, Авенариусе и Луначарском, но даже и о русской орфографии, — заканчивает Толстой свой отзыв о «Вехах».

И ведь лучше, то есть сжатее и вернее, чем этот крестьянин, у нас сейчас не скажешь.

ТУЛА — ЯСНАЯ ПОЛЯНА

ВИТАЛИЙ РЕМИЗОВ

ШКОЛА В ЯСНОЙ ПОЛЯНЕ

Сотни тысяч погибших деревень, варварское отношение к природе повсеместное, не щадящее наших национальных святынь, в том числе и Ясной Поляны. Кризис культуры, охвативший различные слои общества и приведший к утрате вековечных народных традиций. Бессмысленность существования многих людей, утративших веру в бессмертие души, а теперь и веру в безграничные возможности человека. И все же я не склонен сгущать краски и лишать современников перспективы нравственного выздоровления. Все чаще они приходят к пониманию недостаточности только экономических преобразований. Все чаще задумываются над смыслом жизни, над своим местом в этом бесконечном мире. Нет отчаяния, когда сознаешь, что рядом накопленный многими поколениями духовный опыт. В нем мудрость столетий, основа для сегодняшних раздумий о мнимом и истинной жизни, на него можно опереться. Толстой — один из тех, кто обогащает душу каждого человека, стремящегося к добру и справедливости.

Наедине с Толстым всегда трудно, ибо он взывает к совести, к ответственности перед теми, с кем живешь и кто придет в этот мир после тебя.

Педагогика Толстого — это не столько методика преподавания в начальных классах, это даже не столько искусство общения наставника с учениками, сколько методология жизни человеческого духа. Она не для избранных, а для каждого. Обращение к ней помогает нам разобраться в самых сложных вопросах существования, через чувство и разум постичь правду о мире и душе живущего.

Человечество могло бы избежать многих ошибок, научись оно прислушиваться к голосу мудрых, правильно воспринимать их критику действительности, их раздумья над путями обновления общества и внутреннего становления личности. Наследие Толстого и его судьба в трагическом XX веке — лучшее тому подтверждение.

В 1898 г. Толстой писал в дневнике: «Если бы даже случилось то, что предсказывает Маркс, то случилось бы только то, что деспотизм переместился бы. То властвовали капиталисты, а то будут властвовать распорядители рабочих»*. Будучи убежденным идеалистом, он видел ошибки марксистов (и не одних их, а всей материалистической школы) в том, что они не видят того, что жизнью человечества движет рост сознания, движение религии, более и более «ясное, общее, удовлетворяющее всем вопросам понимания жизни, а не экономические причины» (т. 53, с. 206). Крайность? Быть может. Но, как любил говорить сам Лев Николаевич, «крайности сходятся». В нашу эпоху мы особенно ощутили, к чему может привести забвение духовного начала в нашей жизни.

Некоторые трагические зарисовки современной Толстому эпохи поражают верностью и, к сожалению, злободневностью в наши дни. «Вчера, — читаем в его дневнике, — ходил по улицам и смотрел на лица: редкое не отравленное алкоголем, никотином и сифилисом лицо. Ужасно жалко и обидно бессилие, когда так ясно спасение» (т. 53, с. 21). И в другом месте, в письме к П. И. Бирюкову, говоря о мертвом аппарате чиновников, замечает: «...сидят преимущественно, исключительно даже, самые эгоистические сластолюбцы, поставленные в необходимость управлять народом, до которого им нет никакого дела» (т. 70, с. 35).

Толстому было ясно, что общество, основанное на равнодушии к нравственным проблемам бытия, рано или поздно дойдет до одичания и морального разложения. «Организация, — размышлял он в дневнике 1898 г., — всякая организация, освобождающая от каких-либо человеческих, личных, нравственных обязанностей. Все зло мира от этого. Засекают, развращают, одуряют людей, и никто не виноват» (т. 53, с. 176).

Он прекрасно понимал опасность ложных авторитетов для массового сознания. Давая оценку рассказу Д. А. Хилкова о протоиерее Иоанне Кронштадтском, Толстой писал: «...ужасно, что сделали в продолжении 900 лет христианства с народом русским. Он, особенно женщины, совершенно дикие идолопоклонники» (т. 65, с. 135).

Глубоко зная основы народной жизни, народного духа, Толстой мучался сознанием разобщенности людей, управляющих государством, с миром трудящегося человека. «Народ, — утверждал он, — не больше запутан, чем ученые. Меньше. Невежество не в незнании, а в ложном знании. И из народа не меньше относительно приходит людей к истине, чем так называемых образованных» (т. 65, с. 66).

Наблюдая за жизнью, Толстой порой приходил в отчаяние от происходящего: «Думал к воззванию, глядя на бесчисленных сыновей Дормидона в пальтецах. Он их воспитывает, «производит» в люди. Зачем? Вы скажете: вы живите, как живете, для детей. Зачем? Зачем воспитывать еще поколение таких же обманутых рабов, не знающих, зачем они живут, и живущих такою нерадостною жизнью» (т. 53, с. 139). И невольно возникает вопрос — что же делать, есть ли путь освобождения от духовного, а стало быть, и экономического рабства? «Война, суды, казни, угнетение рабочих, проституция и многое другое, — писал он накануне XX века, — все это необходимое, неизбежное последствие и условие того языческого строя жизни, в котором мы живем, и изменить что-либо одно или многое из этого невозможно. — Что же делать?» (т. 53, с. 230).

Ответ на вопрос он искал прежде всего в себе самом, ибо был убежден, что нет ничего легче, как найти причины и виновников в окружающем. Так уж устроен человек: он менее всего склонен обвинять себя, его все больше тянет к осуждению рядом живущих, социальной системы, животной природы и т. п. Но с себя и только с себя начинается перестройка всего и вся. Именно к себе Толстой обращал слова: «...не лгать ни пред людьми, ни пред собой, не бояться истины, куда бы она ни привела меня». И далее: «Не бояться разойтись со всеми окружающими и остаться одному с разумом и совестью... (...) покаяться во всем значении этого слова, т. е. изменить совершенно оценку своего положения и своей деятельности: вместо полезности и серьезности своей деятельности признать ее вред и пустяшность, вместо своего образования признать свое невежество, вместо своей доброты и нравственности признать свою безнравственность и жестокость, вместо своей высоты признать свою низость» (т. 25, с. 376—378).

Читаешь эти строки и думаешь, какая сила духа, какая мощь жила в нем! Обнажить душу перед всем миром, не побояться публичного раскаяния... Что это? Удел избранных или та высота, на которую поднимается человек, отдаваясь извечному поиску истины, нравственного самоусовершенствования? Воспитать в себе человека духовного, творчески мыслящего гражданина, сохранив при этом неповторимость индивидуальности, теплоту сердца, ясность ума — это, верил Толстой, под силу каждому. И чем раньше человек приобщается к подлинному существованию, тем ярче и долговечней его жизнь.

Мы, пережив потрясения XX века, возвращаемся на круги своя. Открываем забытую книгу мудрости, завещанную нам одним из самых замечательных пророков нашего Отечества. Эта книга необычна. Она в сотни тысяч страниц, и нет ни одной, где торжествовали бы жестокость, черствость, нелюбовное отношение к человеку. Эта книга о воспитании себя самого, о пробуждении разума, о стремлении к недосягаемому идеалу Христа. В этой книге есть указание на тот единственный путь, который способен вывести человечество из трагической безысходности. «Все яснее и яснее, — пишет Толстой, — вижу, что ключ ко всему в воспитании. Там развязка всего. Это самый длинный, но верный путь» (т. 70, с. 103).

* Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.: В 90 т. М., 1928—1958 гг., т. 53, с. 206. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте работы с указанием тома и страницы.



Фото ПАВЛА КРИВЦОВА

Когда уничтожаются памятники культуры, горят веками собиравшиеся библиотеки, когда в жертву технократии приносится все живое, когда личность превращена в средство достижения цели, а в обществе не умолкают разговоры о колбасе, рыночной экономике, вреде сексуального воздержания, острее ощущаешь пророческие слова Толстого о самом длинном, но самом верном пути.

Бессмысленно говорить о противоречиях современной школы, об остаточном финансировании нашего образования и нашей культуры. Об этом сказано и написано немало. Вопрос в другом — как выйти из заколдованного круга? Есть ли пути, ведущие к истинному воспитанию и образованию? В какой степени Толстой наш союзник и единомышленник?

Школ имени Толстого в нашей стране немало, а Школы Толстого нет. По существу, ни одна из его заповедей не вошла в школьную практику. Будто и не было толстовского призыва к свободному воспитанию, к нравственной обоснованности и практической целесообразности передаваемых знаний, к утверждению любви как главенствующего принципа во взаимоотношениях ученика и учителя, к недопустимости насилия на всех уровнях педагогической деятельности. В старости, перечитывая свои педагогические статьи, Толстой одно принимал, другое отрицал. Для него это было естественным. Он никогда не стоял на месте, постоянно боролся с собственной категоричностью. Но одна идея всегда была ему дорога, и о ней он размышлял с ранней юности. Это идея «религиозного понимания жизни», понимания не церковного, не догматического, а такого, которое придает смысл жизни, является «руководящим началом всей воспитательной деятельности» (т. 73, с. 63).

Чтобы понять педагогический пафос Толстого, вспомним, как долго и нудно в школах и вузах прививали нам сознание нашей конечности. Нас воспитали временщиками. Даруя избранным бессмертие, нас лишили такой возможности. Потеряв связь с прошлым, не ощущая будущего, мы не сумели найти себя и в настоящем. Распалась связь времен. Видимо, эта шекспировская мысль всегда была актуальна. В наши дни она стала главным признаком эпохи. Конечный человек и поступает конечно. Ему нет дела до памяти о былом, до судьбы будущих поколений. Он растрачивает свою жизнь сполна, а вместе с этим, как правило, не задумываясь, сжигает за собой мосты связи со всем живущим. Временщику легче быть чиновником, технократом, вором, убийцей. Временщик ни за что не отвечает, ни перед кем не несет никакой ответственности. Целые поколения временщиков воспитала наша школа, и нечего удивляться сегодняшнему бесцельному существованию огромного количества людей. Одна масса сменяется другой — и так до бесконечности, если не положить конец этому движению в царство теней.

«Смысл нашей жизни, — писал Толстой, — состоит в исполнении воли того бесконечного начала, которого мы сознаем себя частью: воля же эта в единении всего живого и прежде всего людей: в братстве их, в служении друг другу» (т. 73, с. 63). «Практический, центральный закон жизни» — «единение всего, достигаемое любовью», — вот то, что, по мысли Толстого, должно быть положено в основу воспитания, должно быть развиваемо в детях.

Педагогика Толстого — это нравственная система передачи духовного опыта, основанная на любви. Последняя «влечет к чистоте, к соблюдению и возвращению к себе божественной сущности» (т. 64, с. 286). Только благодаря всесильности и всеохватности любви произойдет «замена себялюбивого, ненавистнического, неразумного устройства жизни любовным, братским, свободным и разумным» (т. 72, с. 190).

Утопия? Наивность гения? Не ошибусь, если предположу, что большинство из читающих эти строки улыбнется и с видом знающего жизнь человека назовет толстовскую мысль чудачеством. Так поступали по отношению к нашему земляку современники, так думают и сегодня, так еще долго будут воспринимать Толстого. Не его в том вина, а наша, т. е. всей нашей педагогической системы. Мы воспитаны в другом режиме мышления. Нас больше устраивает насилие над личностью ребенка, не свобода, а своеволие, диктаторство в общении с ним. Мы стремимся наполнить его голову всевозможными знаниями и полагаем, что этого будет вполне достаточно. Но ни знаний, ни нравственных начал, ни эстетического вкуса ребенок в школе не получает — речь идет, конечно, о типичном для всей системы народного образования.

Наша школа внедряет в душу ребенка культ насилия. Принцип жизни — насилие, образцы для подражания — насильники, методы и формы воспитания тоже из арсенала насилия. Призывы современных педагогов-новаторов изменить положение в школе, повернуть детей и наставников лицом к любви, милосердию, состраданию, разумному общению пока что не очень популярны. Напротив, многих учителей они раздражают. Воспитанные кнутом и пряником, они воспроизводят в огромных количествах себе подобных.

Только кардинальный пересмотр главных духовных установок современной школы поможет возвратить учителя к «живой жизни», спасет его от схоластики, жестокости, менторского отношения к детям.

Только способный к истинной любви человек может возвратить ребенку доверие к себе и школе. Нам надо отказаться от насилия как в области содержания, так и в области форм и методов обучения. Пробудив в маленьком существе любовь ко всему живому, наделить его радостью общения с окружающими людьми, раскрыть ему глаза на красоту мира, на важность добра, которое неизмеримо сильнее зла, — это ли не задача большой педагогики!

Как известно, именно в Ясной Поляне и Тульской области были созданы Толстым школы принципиально нового типа. Опыт же великого педагога до сих пор остался невостребованным. Если мы хотим выйти из духовного кризиса, возвратить человеку смысл и веру существования, то должны обратиться к педагогическим идеям Толстого, связать их с лучшими достижениями советской школы на современном этапе.

Гуманистическая философия Толстого, как и вся общественная деятельность писателя, является методологической основой для разработки концепции подлинно гуманистической школы. В условиях гуманизации общественно-политических процессов, возрождения общечеловеческих ценностей и культурно-национальных традиций толстовские просветительские идеи звучат особенно актуально и обращены не только к настоящему, но и к будущему, к тому, что необходимо утверждается накануне XXI века. Это воспитание высоко нравственной личности, способной к неустанному нравственному совершенствованию и самообразованию, глубокая органичная взаимосвязь человека и природы и в связи с этим обостренное чувство сохранения природы, земной цивилизации, включая культуру земледельческого труда, гуманистическая направленность всего педагогического процесса, разносторонняя трудовая деятельность человека, методическая оснащенность педагогического наследия Толстого.

Гибкая педагогическая система Толстого дает возможность создать модели разных учебных заведений. Исходя из этого, для будущего эксперимента целесообразно включить школы городского и поселкового типов, а также малокомплектную школу. Каждая из них будет иметь свою специфику. Городская школа может быть ориентирована на всестороннее экологическое и культурологическое образование и воспитание учащихся. В сельской школе, а таковой должна стать прежде всего Яснополянская средняя школа, приоритетным будут музееведческое и земледельческое направление. Школа в Никольском-Вяземском (малокомплектная) должна быть связана с проблемами сельскохозяйственного экополиса, должна восполнять необходимые для полнокровной жизни села людские ресурсы. Каждая из школ — это центр духовной культуры. Вокруг него могут складываться новые традиции, оживать давно забытое.

Школа Толстого не элитарное учебное заведение. Каждый ребенок должен найти в ней все то, что разовьет его способности, что превратит его в совершенствующуюся личность.

Школа Толстого будет максимально приближена к идее свободного воспитания, а это предполагает свободу выбора средств и форм обучения и воспитания, демократизм в общении ученика и учителя, учет специфики школы, педагогического коллектива, индивидуальный подход к ученику, ориентированность на свободный выбор учениками и их родителями путей развития интересов и природных задатков ребенка, обеспечение всех правовых свобод развития личности, закрепленных в Конституции СССР.

Школа Толстого предусматривает гуманитаризацию всех сфер жизнедеятельности. Это и утверждение принципов общечеловеческой (христианской) этики, связанной с национальной традицией и просветительской концепцией личности ребенка, согласно которой «детский возраст» есть первообраз гармонии» (Л. Н. Толстой); деполитизацию учебно-воспитательного процесса и ориентация его на прогрессивные стороны духовного опыта человечества и народа; коренное преобразование учебного плана с целью значительного усиления в нем гуманитарной подготовки (имеется в виду создание условий для развития музыкальных, изобразительных, литературных и др. способностей учащихся, приобщение их к культуре прошлого и настоящего, к нравственным основам прогресса и цивилизации).

В этом же ключе должна пройти и перестройка преподавания языковых дисциплин. Не секрет, что выпускники наших школ в массе своей не владеют навыками устной и письменной речи. Русский народ, в отличие от других народов страны, преимущественно одноязычен. Глубокое изучение иностранного языка, начиная со второго класса, это не прихоть, а жизненная необходимость. Толстой был убежден, что, изучая чужой язык, человек познает душу другого народа, а это в свою очередь ведет к взаимопониманию людей. Риторика, логика, стилистика, основы общего языкознания — все это должно так или иначе использоваться в школьных курсах, призванных дать ученикам инструментарий общения.

Школа Толстого предполагает введение щадящей и в то же время эффективной системы оценок знаний учащихся, особой для каждой из ступеней его духовного развития.

В Школе Толстого ученик постепенно приобретает навыки самовоспитания и продвижения к идеалу. Труд, который так не любезен нашим детям в школе, должен быть нравственно и практически оправданным. Тогда он из принудительного становится жизненно необходимым и радостным. Мы отучили людей от культуры земледельческого труда. Не случайно во многих тульских селах стоят осиротевшие дома, доминирует психология дачников, тех же временщиков. Земля без хозяина, он сам не снизойдет до нее. Его надо воспитать. «Земледелие, — писал Толстой в предсмертной книге «Путь жизни», — не есть одно из занятий, свойственных человеку. Земледелие есть занятие, свойственное всем людям, труд этот дает больше всего свободы и больше всего блага людям». Но мы уже не знаем ни цену этой свободе, ни блага, приносимого от общения с природой. Возродить культуру земледельческого труда, приобщить детей к крестьянской жизни, раскрыв ее непреходящий смысл, — одна из важнейших задач толстовской школы.

Год назад, когда в Ясной Поляне создавалось, вернее, возрождалось Толстовское общество, участники учредительной конференции поставили перед собой несколько задач. Среди них — воскрешение из пепла издательской деятельности «Посредника», создание всесоюзных Толстовских маршрутов, увековечивание памятных мест, связанных с именами Толстого и его окружения, пропаганда педагогического и нравственно-философского наследия русского художника и мыслителя. Создание школы Толстого на Тульской земле — это лучший памятник яснополянскому пророку. Вместе с будущими экспозициями музея-заповедника «Ясная Поляна», с возрожденными усадьбами Толстых в Пирогове, Никольском-Вяземском, Покровском, школа Толстого станет свидетельством нашей искренней любви к тому, перед кем преклоняется весь мир.

Создание Школы Толстого — трудное и непривычное дело. Кому-то оно может показаться утопией. Но кто мог подумать, что в Никольском-Вяземском, где несколько лет назад все было голо, пусто, теперь целый культурный центр. Он возник не на пустом месте. В преданиях, в устных рассказах селян хранилась история старинной, брошенной на произвол судьбы усадьбы. Пришел умный и тонкий человек, не равнодушный к этим местам (я имею в виду В. С. Усова), собрал вокруг себя энтузиастов и вопреки недовольству тех, кому и мать родная не нужна, восстановил дом Толстых, построил великолепную школу, клуб, начал реставрацию Успенского храма.

Все чаще в Никольском-Вяземском проводятся праздники, все чаще звучат народные песни. Растет круг людей, стремящихся побывать здесь, прикоснуться к современному чуду. Мало таких энтузиастов, как тульские машиностроители, и потому много на Руси забытых, а то и изуродованных уголков, где когда-то было шумно и весело, красота природы сливалась с красотой рукотворной, а теперь одиноко.

Как бы там ни было, надо верить в неистребимость духа человеческого, томимого духовной жаждой, пребывающего в поиске совершенства.

«Самым лучшим мне кажется то, — писал Лев Николаевич, — чтобы жить *немножко* выше своей совести, т. е. ставить себе задачи жизнь немножко получше, впереди той, которую ведешь, и постоянно в жизни достигать этого и опять ставить себе цель впереди» (т. 64 с. 209)

ЛИТЕРАТУРА

Стихи.
Рассказ.
Эссе.

Константин Дмитриевич Воробьев (1919—1975) — известный русский писатель — участвовал в 1941 году в первых боях под Москвой в составе роты кремлевских курсантов, испытал трагические дни начала войны, попал в плен, дважды бежал, командовал в Литве партизанским отрядом. Автор знакомых многим читателям произведений «Убиты под Москвой», «Это мы, Господи!», «Друг мой Момич», «Вот пришел великан...» и др.

Рассказ «Немец в валенках» был написан в 1966 году, впервые напечатан в журнале «Урал» в 1967 году (№ 9), затем вошел в сборник рассказов и повестей «Тетка Егориха» (литовское изд-во «Вага», 1967).

В основу его положен реальный факт из лагерной жизни. Писатель прошел многие немецкие лагеря для военнопленных: в Клину, потом смоленский, каунасский, саласпилсский и шауляйский. И действительно, в саласпилсском лагере встретился такой немец и звали его Вилли Броде, который проникся к К. Воробьеву сочувствием и однажды дал ему хлеб и сигареты. Но в целом сюжет рассказа подчинен художественному замыслу: показать сложные взаимоотношения не только между пленными и немцами, но и между своими. В реальности, по словам писателя, в плену все было страшнее, чем им написано в повести «Это мы, Господи!». Предательство за баланду, безумие, людоедство, и вместе с тем в том кошмаре — случаи мужества и героизма.



КОНСТАНТИН ВОРОБЬЕВ

НЕМЕЦ В ВАЛЕНКАХ

Тогда в Прибалтике уже наступала весна. Уже на нашем лагерном тополе набухали почки, а в запретной черте — близ проволочных изгородей — проклевывалась трава и засвечивались одуваны. Уже было тепло, а этот немец-охранник явился в наших русских валенках с обрезанными голенищами и в меховой куртке под мундиром. Он явился утром и дважды прошелся по бараку от дверей до глухой стены: сперва оглядывал левую сторону нар, потом правую, — кого-то выискивал среди нас. Он был коренастый, широколицый и рыжий, как подсолнух, и ступал мягко и врозваль, как деревенский кот.

Мы — сорок шесть пленных штрафников — сидели на нижних ярусах нар и глядели на ноги немца, — эти сибирские валенки на нем с обрезанными голенищами ничего не сулили нам хорошего. Ясно, что немец воевал зимой под Москвой. И мало ли что теперь по теплыни взбрело ему в голову, и кого и для чего он тут ищет! Он сел на свободные нары, закинул ногу на ногу и поморщился. Я по себе знал, что отмороженные пальцы всегда болят по теплыни. Особенно мизинцы болят... Вот и у немца так. И мало ли что он теперь задумал! Я сидел в глубине нар, а спиной в меня упирался воентехник Иван Воронов, — он был доходяга и коротал свой последний градус жизни. У нас там с Вороновым никогда не рассеивались сумерки. окно лепилось над третьим ярусом, и все же немец приметил нас, точнее, меня одного. Он протянул по направлению ко мне руку и несколько раз согнул и расправил указательный палец.

Я уложил Ивана и полез с нар. Там и пространства-то было на четыре вольных шага, но я преодолел его не скоро: немец сидел откинувшись, держа ноги на весу и глядя на меня с какой-то болезненно брезгливой гримасой, а мне надо было балансировать, как бы табанить то правой, то левой рукой, чтоб не сбиться с курса, чтоб подойти к нему по прямой. Я не рассчитал и остановился слишком близко от нар, задев поднятые ноги немца своими острыми коленками. Он что-то буркнул, — выругался, наверно, и отстранился, воззрившись на мои босые ноги с отмороженными пальцами. Я стоял, балансировал и ждал, и в бараке было тихо и холодно. Он что-то спросил у меня коротко и сердито, глядя на ноги, и я отрицательно качнул головой, — мы знали, что охранники и конвоиры особенно усердно били доходяг, больных и тех, кто хныкал, закрывался от ударов и стонал.

— Шмерцт нихт?[1] — спросил немец и посмотрел на меня странно: в голубых глазах его, опушенных белесыми ресницами, было неверие, удивление и растерянность. — Ду люгст, менш![2] — сказал он. Я понял, в чем он, и подтвердил, что ноги у меня не болят. Он мог бы уже и ударить, — я был готов не заслоняться и не охать, а на вопросы отвечать так, как начал. Ожидание неминуемого — если ты в плену и тебе двадцать два года — главнее самого события, потому что человек не знает, с чего оно начнется, сколько продлится и чем закончится, и я начал уставать ждать, а немец не торопился. Он сидел, в чем-то думал, странно взглядывая на меня и поддерживая на весу свои ноги в валенках с обрезанными голенищами. В бараке было тихо и холодно. Наконец немец что-то придумал и полез рукой в правый карман брюк. Я расставил ноги, немного наклонился вперед и зажмурился, — начало неминуемого было теперь известно. Оно тянулось долго, и, когда немец что-то сказал, я упал на него, потому что был с закрытыми глазами, и звук его голоса показался мне глохлым эхом конца события. Немец молча и легко отвалил меня в сторону, и я побарахтался сам с собой и сел на край нар. В бараке было очень тихо и холодно. Наверно, Воронов видел, как я подходил к немцу, и теперь сам двигался к нам тем же приемом — будто плыл. Он глядел мне в лоб, — может, ориентир наметил, чтоб не сбиться с курса, и глаза у него были круглые и помешанно-блестящие. Немец не замечал Воронова, пробуя склеить сигарету, — я поломал ее, когда упал на него, а Иван все шел и шел, табаня то правой, то левой рукой. Я не знал, что замыслил мой друг доходяга. Управившись с сигаретой, немец увидел Воронова и сперва махнул на него рукой, как кот лапой, перед своим носом, а затем уже крикнул:

— Цурюк!

— Иди назад! — сказал я Ивану.

— А... ты? — за два приема выговорил он, по-прежнему глядя мне в лоб сумасшедшими глазами.

— Я тоже приду, — сказал я.

— А он? Чего он?

— Форт! — крикнул немец и махнул рукой перед своим носом.

— Иди к себе! Скорей! — сказал я, и Воронов округло повернулся, и его повело куда-то в сторону от нашего с ним места в углу нар. Зажигалка у немца не работала, наверно, камушек истерся или бензин иссяк, и он все клацал, не упуская из вида Ивана, — опасался, может, что того завернет сюда снова. Воронов добрался до места и лег там животом вниз, уложив по-собачьи голову на протянутые вперед руки. Он глядел мне в лоб. В сумраке нар глаза его блестели, как угли в золе, и немец издали опять махнул на них кошачьим выпадом руки, а Иван тоненьким — на исходе — голоском сказал:

— Хрен тебе... в сумку.

— Вас вьюншт феррюктер?[1] — спросил немец. Возможно, он произнес не эти слова, — я ведь не знал по-немецки, но он спрашивал о Воронове, и я ответил, тронув свой кадык.

— Он просит пить.

Немец наморщил лоб, глядя на мой рот, и понял.

— Вассер?[2]

— Да, — сказал я.

— Бекомт ир денн каин вассер?[3]

---

[1] Не болит? (нем.)

[2] Ты лжешь, человек! (нем.)

[1] Чего хочет этот сумасшедший? (нем.)

[2] Вода? (нем.)

[3] Вы не получаете воды? (нем.)

— Нет, — понял я.

— Шайзе, — негромко и мрачно выругался немец, а Иван попросил меня рвущимся подголоском:

— Саш, скажи ему... хрен, мол, в сумку!

Он сулил ему не хрен, а совсем другое, что, как казалось ему, не лучше стужи под Москвой, я кивнул, обещая, и Воронов притих и перестал блестеть глазами. Немец закурил, но сигарета плохо дымилась, потому что была поломана, и он протянул ее мне. Я зажал на ней надрыв и затянулся до конца вдоха. Сигарета умалилась до половины, а я подумал, что Ивану хватит «тридцати», и затянулся вторично. Я видел, что немец ждет, когда я выдохну дым, но его не было — осел там, во мне. Барак, нары, ждущий немец поплыли от меня, не отдаляясь, прочь, и в это время Иван позвал, как из-за горизонта:

— Саш! Двадцать!.. Ладно?

— Етцт вилл эр раухен?[1] — спросил немец, показав на Ивана и на сигарету. Я подтвердил, а немец удивленно выругался. Я решил, что проход — в нем и было-то каких-нибудь четыре вольных шага! — надо преодолеть падением вперед, тогда ноги самостоятельно обретут беговой темп и меня не уведет в сторону. Воронов ожидал меня не меняя позы, только растопырил указательный и средний пальцы правой руки, — приготовился. Я вложил между ними окурок и подождал. Иван затянулся и зажмурился, — поплыл, наверно, вместе с бараком, и тогда я оглянулся на немца. Он некоторое время смотрел то на мой лоб, то на ноги, потом позвал, но не пальцем, как раньше, а в голос.

— Алле зинд да флюхтлинге?[2] Ком-ком? — спросил он и посеменил по доскам нар короткими пальцами, поросшими медным ворсом.

— Все, — сказал я и сел на свое прежнее место. — Только не в одно время и из разных лагерей.

Немец приподнял с пола ноги, и лицо у него стало каменным и напряженным, — наверно, защемило пальцы. Мне хотелось лечь там у себя рядом с Вороновым, подтянуть колени к подбородку, и ступни обжать ладонями, чтобы затушить боль в мизинцах. Я безотчетно, но на такую же высоту, как и немец, приподнял свои ноги и нечаянно охнул.

— Шмерцен? — спросил немец.

— Ну болят, болят, — со злостью сказал я. — Тебе от этого легче, да?

Мы встретились взглядами, и в глазах немца я увидел какой-то опасный для меня интерес, как бы надежду на что-то тайное для него.

— Теперь тебе легче, да? — спросил я. Он не понял, видно, о чем я, потому что посунулся ко мне на руках, не опуская ног, и сказал торопясь:

— Их бин бауэр, форштеест? Ба-у-эр. Унд ду?[3]

Из военного словаря мне было известно, что такое «бауэр». Ну конечно! Он должен быть этим бауэром и никем другим. Они дуют пиво — «нох айн маль»[4] — жрут желтую старую колбасу, рыжеют, а потом воюют со всем светом и отмораживают ноги под Москвой!.. Я не знал, что он задумал по теплыни, чего ему от меня хочется, и не ответил на вопрос.

— Их бин ба-у-эр! — как о светлом, о котором он внезапно вспомнил, сказал немец. — Унд ду?

Может, потому, что у меня все время не проходила боль в мизинцах и думалось об обуви, я выбрал ремесло сапожника. Немец не уразумел, что это значит, и я показал на свои босые ноги и помахал воображаемым молотком.

— Шумахер? — догадался немец.

Я кивнул. Он поглядел на свои сибирские опорки и что-то проворчал, — моя профессия ему не понравилась. В бараке стояла прежняя трудная тишина: пленные ждали конца события, а немец держал на весу ноги и молчал. Я следил за выражением его лица. Оно было тяжелым и напряженным.

— На, аллес, — сказал он. — Цайт цу геен![1]

Пленному полагалось двигаться впереди конвоира шагах в шести. Такая дистанция очень опасна, если ты задумал бежать, — не в бараке, понятно, а за лагерем, когда уже известно, куда вы оба направляетесь. Тот, кто это пробовал, всегда падал убитым в десяти шагах от конвоира, если несся по прямой, в пятнадцати, когда бежал влево, и, примерно, в двадцати, если кидался в правую сторону. Пленные хорошо знали этот необъяснимый закон, и тот, кому судьба определила залагерную прогулку, неизменно бежал вправо. Можно было, конечно, и не бегать, но число двадцать на четырнадцать единиц больше шести, и ясно, почему беглец выбирал правую сторону, если не считать, что сердце у него в этом случае оказывалось защищенным от конвоира правым боком...

Я так и пошел к выходу, — впереди немца, но он сказал: «Момент», и я задержался, а оглядываться не стал, чтобы не видеть глаза Ивана. Немец поравнялся со мной, и мы пошли рядом, — я табаня то правой, то левой рукой, а он врозваль, морщась и глядя на мои ноги. У дверей в цементном полу была глубокая колдобина, заполненная янтарно-радужной кропой доходяг. Мы там споткнулись одновременно, и немец выругался резко и коротко, а я длинно и, наверно, заклинающе, потому что он притих и прислушался. Мне нужно было потереть зашибленные пальцы, чтобы они распрямились, и я присел и опять помянул души живых и мертвых.

— Что ты там бормочешь? — подозрительно, вполголоса спросил немец. — После этого не болят, да?

Возможно, он произнес другие слова, но смысл вопроса был этот, я не мог ошибиться. Мне было не к чему разуверять его, и я словами и жестами подтвердил его догадку. Кто-то из наших засмеялся тоненько и болезненно, и, наверно, немец понял злорадный смысл этого смеха, потому что оценивающе оглядел меня с ног до головы. Я уже управился со своими ногами и был готов идти, и тогда немец дважды спросил меня о чем-то, чего я не понял.

— Их хайсе Вилли Броде, — сказал он и большим пальцем ткнул себя в грудь. — Унд ви ист дайн наме?[2]

Я назвал свое имя. Немец старательно и неверно произнес его по складам и, не торопясь, врозваль, ушел. Я постоял у дверей и побрел назад, на свое место. Иван пошевелился и, не открывая глаз, всхлипывающе спросил:

— Чего он хотел, а?

— Не знаю, — сказал я. — Может, вернется.

— Хрен ему... В сумку.

Я лег, как и хотел, подтянув к подбородку колени и обжав ладонями пальцы ног. Весь день и ночь в бараке было тихо и холодно, а утром немец явился опять. Он не захотел переступать колдобину и встал у дверей. Мы с Вороновым сидели заученным доходяжьим приемом — спина к спине, и я чуть-чуть подался назад, чтобы стояк нар загородил меня от немца. Он и загородил, но немец в это время по складам сказал: «Алек-шандр», и я уложил Ивана и полез с нар. Немец стоял у дверей — коренастый, неподобранный и рыжий, как одуван в запретной черте нашего лагеря. Наверно, ему хотелось зачем-то, чтобы я споткнулся на вчерашнем месте, — смотрел он на меня так, когда чего-то ждут от человека, но я остановился перед колдобиной и тоже стал ждать.

— Моен, — невнятно и мрачно сказал немец. Я не понял, что это значило, и промолчал. Он оглянулся на дверь — крадучись и опасливо — и сунул правую руку в карман френча. Теперь трудно сказать, что из того вышло б, если бы я сделал то, о чем подумал в эту минуту: у немца отсутствовали глаза и правая рука; в кол

---

[1] Он хочет курить? (нем.)

[2] Все здесь бежавшие? (нем.)

[3] Я крестьянин, понимаешь? Крестьянин. А ты? (нем.)

[4] Еще раз (нем.)

[1] Ну, все. Пора идти (нем.)

[2] Меня зовут... А тебя? (нем.)

добину он упадет плашмя и я тоже, но сверху, на него...

Но этого не случилось.

Он дважды сказал: «Нимм»[1], а руку держал перед собой, — видно, хотел, чтобы я полез через колдобину, как вчера. Мне смутно виделось, что было у него в руке, и я не двигался и не шатался.

Ду хаст гут гефрюштюкт, я?[2]

Это он сказал рассерженно, оглянувшись на дверь и протянув ко мне руку, и я различил маленький квадратный пакет из серой бумаги. Концы ее были аккуратно заправлены, как у бандероли, и я взял пакет и сразу почувствовал невесомую важность хлеба, его скрытоживую телесную теплоту. Немцу б надо было уйти тогда, чтобы я отнес хлеб на нары и там посидел бы и какнибудь сладил — справился с собой, со всем нашим пленным обруганным миром и с ним — охранником-бауэром в наших валенках без голенищ. Ему б уйти, но он обиженно-ожидающе смотрел на меня, а я молчал и пытался засунуть пакет в нагрудный карман гимнастерки, не спуская глаз с дверей барака — недаром же он сам оглядывался туда!

Ах, менш!

Он по-кошачьи махнул в сторону дверей, перешагнул колдобину и подтолкнул к пустынным нарам, — пленные ютились в глухом конце барака, дальше от дверей. Мы сели и разом подобрали ноги. Я ощутил изнурительный запах хлеба, — край пакета высовывался из кармана гимнастерки, и голова против воли клонилась к нему.

Нун, вас вартест ду нох? Ис дайн фрюштюк![3] — сказал немец. Он показывал на пакет, и я понял, что ему зачем-то нужно, чтобы хлеб был съеден при нем. Он отобрал у меня обертку и спрятал в карман. Ровно обрезанный хлебный квадратик был намазан не то маргарином, не то каким-то другим эрзацем. Я перевернул хлеб стороной вниз, чтобы не было крошек, а немец что-то проворчал и отбивно махнул рукой в сторону дверей.

Таких бутербродов я мог съесть тогда дюжин пять. Немец неотрывно и пристально смотрел мне в лицо, и мне надо было откусывать хлеб микроскопическими дольками, неторопливо и долго жевать, а потом бесстрастно глотать, чтобы не вытягивалась шея и не ерзал кадык.

Шмект эс?![4]

Ему не надо было это спрашивать: не мог же я раболепно соглашаться, если ел так безразлично и лениво.

Гут? — не унимался немец.

Ну гут, гут! — сказал я. В бараке стояла какая-то враждебная мне тишина. Иван плашмя и молча лежал на своем месте, и глаза его тлели, как угли в золе.

Не дури там! Я помню! — сказал я. К тому времени от хлеба осталась ровно половина, но я подравнял еще немного углы и, когда бутерброд округлился, как коржик, рывком спрятал его в нагрудный карман.

Цу миттаг?[5] — недоверчиво спросил немец и поглядел на нары, где лежал Иван.

Да. На абенд[6]. Мне! — подтвердил я, постукав себя в грудь. Немец сказал: «Зеер гут», достал обертку и аккуратно оторвал половину. В нее я завернул остаток бутерброда.

Нам пора было идти — немцу к себе, а мне к Ивану: тому хватало окаянства и без этого ожидания. Но немец не уходил. Он сидел и молчал, изредка взглядывая на меня, а я на него. К нему ладно подходило все, чем он владел, — и царапно-кошачий взмах руки, и соломенная желтизна волос, и валенки без голенищ. Я подумал, что он плохой стрелок: при нем, если броситься вправо, можно остаться живым...

Он ушел после того, как мы выяснили, сколько нам

[1] Возьми (нем.)
[2] Ты хорошо позавтракал, да? (нем.)
[3] Ну, чего ты еще ждешь? Кушай свой завтрак! (нем.)
[4] Вкусно? (нем.)
[5] На обед? (нем.)
[6] На вечер (нем.)

лет, — немец был старше меня на целое детство. Мне было трудно пробираться на свое место, потому что люди привстали на нарах и смотрели на меня отчужденно и почти мстительно. Я не чувствовал никакой вины перед ними, но они и не обвиняли, они только смотрели, а с двадцатью двумя парами глаз больших, исступленных и гневных, как у святителей на церковных картинах — не потолкуешь!

— Чего он опять, а? — спросил у меня Воронов.

— Не знаю. Хлеб вот дал, — сказал я. Мы разговаривали шепотом, и бутерброд Иван доел неслышно, уткнувшись лбом в нары, будто молился. С этой минуты я стал ждать конца дня и исхода ночи: очередной бутерброд нужно делить не на две, а на четыре части, следующий снова на четыре, потом опять и опять...

Вилли Броде пришел в свое время. Он позвал меня от дверей и проворчал: «Моен». Мы сели на нары, и он дал мне бутерброд — не больше и не меньше прежнего. Я перевернул хлеб намазанной стороной вниз, отломил от него четвертую часть и съел ленивей вчерашнего. Лицо у Вилли было хмурое и мятое, он морщился и непрестанно поднимал и опускал ноги.

— Поставь их сюда, — показал я на нары. Он понял и уселся, как я: составил ступни вместе, подогнул колени, а на них оперся локтями.

— Теперь легче, да?

Вилли отрицательно качнул головой, снял с левой ноги опорок, затем стащил серый, под цвет френча, шерстяной носок, и я различил там белесую копошащуюся россыпь.

— Лойзе[1], — объяснил Вилли и посмотрел на меня беспомощно и жалобно.

— Ничего страшного, — сказал я. — У меня тоже есть.

— Филь? — оживился он.

— Хватает, — сказал я.

Он осторожно и долго разматывал бинт. Все пять пальцев на его ноге казались одного размера и рдели, как черносливины.

— Тебе их отрежут, — сказал я, потому что тут ничего нельзя было поделать. Вилли кивнул, решив, видно, что я просто утешил его. Я поглядел на пальцы своих ног и сказал, что у меня их тоже отрежут, если будет кому. Вилли опять согласно кивнул, и в его рыжих глазах была надежда. Он явно чего-то ждал, — может, хотел, чтобы я произнес над его отмороженными пальцами те самые слова, что говорил вчера над своими, и я сказал:

Тебе их оттяпают к чертям собачьим! И мне тоже оттяпают, мать его в плен, в войну, в стужу и в бурю!

Наверно, он по-своему понял этот мой причет, понял так, как ему хотелось, потому что его толстые обветренные губы расползлись в улыбке, и он лапнул и потеребил мое плечо. Ушел он бодрей, чем вчера, — может, перестало щемить? Я проводил его до колдобины у дверей, и он кивнул мне и что-то сказал, — возможно, обещал приход назавтра.

Иван уже не лежал, а сидел. Я дал ему его долю — половину вчерашнего — а остальное понес в конец барака. Тут дело было не в «святом чувстве спайки» и не в моем «самоотречении», — для штрафников в моровом лагере это всего-навсего жалкие слова. Тут все обстояло значительно короче — просто я знал, что после разового укуса хлеба доходяга оказывается в состоянии встать и пройти несколько шагов. Только и всего. Я это знал и нес хлеб — по разовому укусу — первым двоим доходягам. Возможно, так нужно было сделать сразу, вчера еще, но... все ведь видели, как это получилось у немца, у меня и у Воронова — моего напарника по побегам и нарам. Вчерашний день поминать нечего. Нынешний тоже не в счет. А завтра хлеб получат «свежие» четверо доходяг, послезавтра еще четверо, потом еще и еще, — мало ли, сколько раз вздумается прийти сюда этому человеку!..

[1] Вши (нем.)

Меня уже не так сильно шатало, и хлеб я нес почему-то на ладонях обеих рук. Пленные лежали на нарах лицом к проходу, и сидел тут только один военинженер Тюрин. Ему было под сорок. Мы знали его армейский чин — в плену с ним жили недолго, если о том узнавали эсэсовцы, и поэтому Тюрин был у нас негласным старостой барака, назывался военинженером и ютился немного обособленно, — в углу, — мы так захотели сами. Он сидел, опершись на руки, подавшись к краю нар, и сумасшедшими святительскими глазами следил за мной. К нему я и направился, кивнув еще издали, что все, дескать, будет в порядке, а он, не меняя позы, срывным западающим голосом крикнул пленным:

— Товарищи! Помните, что я сказал... Тот, кто примет от него вражескую приманку, должен будет сурово ответить! Крепитесь, товарищи!

Он сразу же лег, а я споткнулся, выронил и поднял хлеб.

— К охранникам подлизываешься... Сволочь!

Это сказал не староста, а кто-то другой, и я падением вперед достиг своего места. Иван сидел и пораженно глядел мне в лоб.

— Ну чего ты? — спросил я и разломил хлеб на две части. — На! Ешь! Ну чего остолбенел?!

Он зажмурился и взял хлеб.

Весь день и ночь в бараке было тихо, холодно и пустынно. С утра Тюрин начал показно и суетно к чему-то готовиться. Он даже простился со всеми, кроме нас с Иваном, но этот праведно спал и ничего не слышал. Незадолго до времени, когда являлся Вилли Броде, Тюрин обмотал ноги портянками, завязал их веревочками и спустился с нар. Осипло и надрывно он пропел начальные слова песни «Вы жертвою пали» и прощально оглядел барак и пленных. Я разбудил зачем-то Ивана и полез с нар. К Тюрину я пошел, прижав руки к бокам, и он тоже стал по команде смирно.

— В нечаянные мученики собрался, товарищ военинженер? Или в посмертные герои? — спросил я. — Ничего у тебя не выйдет... Останешься тут! С нами! Выше старосты не подымешься!

— Иди и делай свое черное дело! — шепотом сказал Тюрин, глядя мимо меня, на дверь барака. Я оглянулся и увидел унтера Бенка и фельдфебеля Кляйна из комендатуры, — кто ж их у нас не знал! Между ними, в середине, шел Вилли Броде. Мундир на нем был распахнут, и пилотка сидела на голове криво и мелко. Я стоял впереди Тюрина. Они подошли, и Кляйн, не глядя на меня, безразличным тоном спросил у Вилли:

— Дизем?[1]

Вилли поспешно и громко сказал: «Найн» и вздернул голову, а распрямленные ладони прижал к бокам.

— Дизем? — показал Кляйн на Тюрина. Я не услыхал, что сказал Вилли: Бенк шагнул мимо меня и наотмашь ударил Тюрина ладонью по рту. Тюрин упал на нижний ярус и по инерции поехал вглубь, к стене.

— Брот брал я! Их! — сказал я фельдфебелю Бенку, и сердце у меня подпрыгнуло к горлу. — Тот человек не ел! Это я один! Их!

Кляйн брезгливо, тыльной стороной ладони ударил Вилли — и тоже по рту, — а на мой затылок Бенк обрушил что-то тяжкое и кругло-тупое, как бревно. Я упал на пол лицом в сторону дверей, оттого и запомнил, как уходили из барака Бенк, Кляйн и Вилли. Он шел в середине, а они по бокам, и возле колдобины с нашей кропой Вилли споткнулся, но руки у него остались прижатыми к бокам...

Вот и все.

Между прочим, Иван Воронов остался жив.

Иногда я думаю, жив ли Вилли Броде? И как там у него с ногами? Нехорошо, когда отмороженные пальцы ноют по весне. Особенно когда мизинцы ноют и боль конвоирует тебя и слева и справа...

Публикация В. ВОРОБЬЕВОЙ.

[1] Этому? (нем.)

«НЕ ТРОГАЙ! ЭТО НАШЕ!»

заметки на полях рукописи

Опубликованная несколько лет тому назад документальная повесть С. Алексиевич «У войны не женское лицо», помню, произвела на читателей потрясающий эффект. Главное в ней — страшная, густая, пронзительная в своей трагической обнаженности правда войны, засвидетельствованная десятками и сотнями женщин, переживших кровавые будни на фронте, в партизанском отряде, в тылу. Даже обладая недюжинной фантазией, придумать *такое* едва ли возможно, да еще человеку, родившемуся после войны, знающему о ней по книгам, рассказам фронтовиков, по кино. Впрочем, молодая белорусская писательница ничего и не придумывала: она добросовестно записала на магнитофон рассказы-исповеди бывалых людей и умело их беллетризовала. «Появилось новое имя в литературе, всерьез и, уверен, надолго», — заметил о С. Алексиевич Алесь Адамович.

Сказал «беллетризовала» — и устыдился... Работу произвела писательница, конечно, огромную! Документы и факты Великой Отечественной обрели у нее силу высокой художественной правды. Вот почему повесть «У войны не женское лицо» очень тепло приняли и фронтовики, и новые поколения советских людей.

Потом у С. Алексиевич были еще произведения о войне, по ним снимались фильмы, кажется, они прошли с меньшим успехом, но и не остались незамеченными, на них словно отсвечивал яркий талант повести «У войны не женское лицо».

И вот прочитал анонс в газете «Комсомольская правда» новой документальной книги С. Алексиевич «Цинковые мальчики», которая скоро должна выйти. Газета отдала целую полосу главам из нее.

Тема необычная, больно кровоточащая, трагическая — «неизвестная» война в Афганистане, отраженная в письмах, в воспоминаниях людей, прошедших все круги афганского ада.

«— Послушай, — начал он, не представившись, — читал твой пасквиль. Если еще хоть строчку напечатаешь...

— Кто ты?

— Это неважно. Я тебя предупредил. Говорю от имени всех афганцев».

Зачем понадобился писательнице этот явно не в ее пользу телефонный диалог с неизвестным «афганцем», предваряющий главы книги? Признаться, подобных резкостей в

адрес повести «У войны не женское лицо» мне читывать или слышать не приходилось. Комментарий автора к угрозе «афганца» — тоже смущает. Чем она вызвана? Ну, хотя бы вот это замечание С. Алексиевич: «Отцы лгали», а потому, мол, и сыновья погибли ни за что ни про что по вине лгунов-отцов...

Напрашивается возражение: во-первых, не отцы нам лгали, по крайней мере, далеко не все лгали; беззастенчиво врали нам те, кто творил бесчинства за спиной у народа на высшем государственном Олимпе, но их постыдные дела никогда не ассоциировались в нашем сознании с делами отцов; во-вторых, что-то, видимо, не совсем ладно у писательницы, коль ее произведение вот так, что называется, с порога встречено в штыки: «Не трогай! Это наше!!» Попробуем разобраться.

Публикация в газете открывается откровениями военврача С. Лоскутова: «Он (советский солдат — В. Ю.) открывает ногой дверь в дувал и в него — из пулемета, расстреливает в упор... Сознание заливает ненависть. Мы стреляли всех, вплоть до домашних животных, в животное, правда, стрелять стрешно. Жалко. Я не давал расстреливать осликов. В чем же они виноваты?.. У них на шее висели амулеты, такие же, как у детей...»

Признаюсь, у меня, отслужившего свой срок рядового Советской Армии, волосы поднялись дыбом по прочтении этих мемуаров. Писательница точно рассчитала на естественно возникающую здесь у читателя ассоциацию: ага, коль стреляли в с е х, значит и в детей стреляли?! Потрясающая жестокость!..

Дальше больше. «Кто вам покажет ниточку засушенных человеческих ушей? — приглашает к раздумью автор другого «письма», старший лейтенант В. Агапов. — Их сушили... Боевые трофеи... Хранили в спичечных коробочках... Они скручивались в маленькие листочки... Не может быть? Неловко слушать подобное о славных советских парнях? Выходит, может. Выходит, было. И это тоже правда, от которой никуда не деться, не замазать дешевой серебряной краской»..

Ну и ну!.. Любители эпистолярного жанра — герои книги С. Алексиевич далеко оставили за собой инвективы академика А. Д. Сахарова, который, как вы помните, заявлял: «Я вспомнил сообщения западного радио о том, как наши командиры расстреливали своих солдат, чтобы не допустить их пленения. Документальных подтверждений у меня, конечно же, нет. Зато есть некоторые свидетельства, что командиры частей, попавших в окружение, вызывали огонь на себя. Зарегистрированы случаи, когда советские самолеты бомбили госпитали, в которых наряду с ранеными моджахедами находились и наши военнопленные. Думаю, я имел право сделать такое заявление, хотя оно, возможно, было слишком острым и не подкреплено документами» (Советская молодежь, 1990, 1 марта).

Покойный академик, однако, допускал возможность опровержения своих «доказательств» и потому не случайно делал осторожные оговорки. Позже они и в самом деле были отвергнуты как несостоятельные. Но как быть с произведением С. Алексиевич? Ведь тут «как будто конкретные «факты», сообщаемые «очевидцами», «участниками» афганской войны, а потому обретающие огромную эмоциональную силу воздействия на читателей и почти даже силу юридического обвинения в с е й Советской Армии. Причем автор делает все возможное, чтобы вызвать ощущение абсолютной достоверности «писем», заставить нас поверить в подлинность событий, как бы фантастичны с точки зрения здравого смысла они ни были. «Окружаем караван, он сопротивляется, сечем из пулеметов... Приказ: караван расстрелять на уничтожение... Переходим на уничтожение... Над землей стоит дикий рев раненых верблюдов... За это, что ли, нам вручали ордена от благодарного афганского народа?!».

Читаю об «Афгане», а в сознании сами собой всплывают картины фашистских изуверств времен Великой Отечественной. Варварские бомбежки беззащитных госпиталей, эшелонов с беженцами, отчаянный крик несчастных, рев расстреливаемого скота... Только теперь в роли фашистов оказываются наши советские солдаты... «А рядом другое... У мальчишек-водоносов наши патрули отбирали деньги... Что там за деньги? Копейки».

Творческий «отбор» С. Алексиевич сообщений ее склонных к мрачным историям респондентов, неуклонно движется в заданном направлении. Устами одного из своих «героев» она пытается выйти на глобальное обобщение: «Мы т а м были такими, какими вы нас сделали. Дети наши вырастут и будут скрывать, что мы т а м были». Предъявлен некий нравственный вексель еще не родившихся или только что опроставшихся от пеленок потомков своим отцам-извергам. Но разве отцы виноваты?.. Не слишком ли много в книге скороспелых приговоров?

Типология «афганцев», навязываемая читателю С. Алексиевич, удивительно примитивна: одни из них — «фашисты», хладнокровно расправляющиеся со своими жертвами, другие — этакие страдальцы-Вертеры с их пацифизмом, слащавой сентиментальностью, обидчиво расторгающие всякие духовные связи с Родиной и своим народом. Такой чрезмерно упрощенный подход к изображению наших «афганцев», конечно же, далеко не отвечает правде жизни.

Активное неприятие вызывают и главы, в которых изображены афганские «ППЖ» (походно-полевые жены, «термин» широко известен со времен Великой Отечественной). Приводить примеры даже язык не поворачивается. Предостаточно цинизма, вульгарного смеха, оскорбляющих женщин, служивших в Афганистане. Одна из героинь признается, что все у нее внутри сломано, смято. Я охотно верю ей — у войны ведь не женское лицо! — проникаюсь сочувствием. Однако почему-то не нахожу никакого сострадания у С. Алексиевич! Писательница как бы смакует пошлые картины, представляющие бытие афганских «чокнутых бочкаревок». Явно потеряно чувство меры.

Разумеется, я не ставлю вопрос так, будто во всех случаях, щадя души впечатлительных читателей, следует затушевывать трагизм афганской войны, без устали героизировать «афганцев», рисуя этаких орлов, с романтическим блеском ясных чистых глаз. Война есть война, она максимально проявляет и доброе и худое. Но чрезвычайное сгущение черных красок, намеренное нагнетание «сверхстрашных», уродливых сцен — столь же вредно, как и лакировочное вранье.

Конечно, С. Алексиевич имеет полное право на личный взгляд на недавние события в Афганистане, соответственно выбирая факты для своей книги.

Но в таком случая и я, читатель, волен сказать, что не могу принять эту нигилистически-ниспровергающую книгу, шельмующую на чем свет стоит ни в чем не повинных советских солдат и офицеров, заброшенных в неведомые края защищать неизвестно чьи интересы, отвечать огнем на огонь, смертью на смерть. Видит бог, они сражались достойно, честно, и потому заслуживают священной памяти погибшие и доброго человеческого участия те, кому повезло остаться в живых.

ВЛАДИМИР ЮДИН

г. Тверь

ВИКТОР СМИРНОВ

ВЕЩЕСТВЕННЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА



Фото ВЛАДИМИРА ИЩЕНКО

Виктор Григорьевич СМИРНОВ родился в 1945 году. По образованию — историк, по роду основной деятельности — журналист. Кандидат исторических наук. Живет в Новгороде. Проза и очерки В. Смирнова печатались в журналах «Нева», «Молодая гвардия», «Наш современник», «Север». Автор книг «Герцен в Новгороде» (1985) и «Шлиссельбургский Робинзон» (1990). Диапазон творческих интересов В. Смирнова довольно широк — от проблем современной русской деревни до философских исканий молодого Герцена. Тем не менее все, что написано этим автором, связано одной целью и представляет собой попытку установить мост между днем нынешним и днем минувшим. Этим объясняется и выбор героя очерка «Вещественные доказательства». толстовца В. Молочникова, дневники которого недавно были извлечены из архивов.

1.

Морозным утром 1-го января 1935 года Новгород еще досыпал после новогодней ночи, и поэтому мало кто видел, как трое сотрудников ОГПУ вошли в дом по улице Льва Толстого и спустя два часа вывели невысокого, чернобородого старика в широком пальто и ермолке, делавшей его похожим на духовную особу. Двое сотрудников повели арестованного в следственный изолятор, а третий пересек заснеженный двор, поднялся на крыльцо павильона с фигурой Толстого на фронтоне и опечатал дверь.

К вечеру город уже знал: взяли Молочникова. Новости этой не слишком удивились — Молочникова арестовывали не в первый раз и до революции и после. И то сказать: какому режиму понравится человек, исповедующий всеобщую любовь и непротивление, тем более теперь, когда в Германии Гитлер, на Дальнем Востоке японцы, и враги внутренние убили товарища Кирова прямо в Смольном. И все-таки Молочникова жалели. Как никак, местная достопримечательность. Друг Льва Толстого, создал первый в России музей великого писателя, да и человек незаурядный, даром что самоучка. В прежние времена состоял в переписке со Столыпиным, Керенским, Репиным, Кони, Короленко, Кропоткиным. Да и в нынешние времена приезжавших в Новгород знаменитостей старались познакомить с Молочниковым. Бывали у него писатель Шишков, певец Собинов и даже нарком культуры Луначарский. Поэтому надеялись, что и на этот раз вступятся за Молочникова известные люди и вызволят из неволи, что обойдется и на этот раз.

Не обошлось. Не помогли ходатаи, не помогли хлопоты детей, слезы жены, заключение врачей о болезни. На этот раз следствие располагало «вещдоками» — вещественными доказательствами преступлений арестованного. К ним мы еще обратимся, а пока — кто же такой Владимир Айфалович Молочников?

До двадцати двух лет жизнь его была обычной жизнью мастерового. Но однажды он взял в руки «Войну и мир», и день этот стал поворотным в его судьбе. Он читал Толстого запоем и десятками слал письма в Ясную Поляну. И вдруг пришел ответ, а затем и приглашение посетить Ясную Поляну. С этого началась дружба новгородского слесаря с великим писателем. Возникает вопрос: почему Толстой, весьма разборчивый в выборе близких людей, выделил Молочникова, чем глянулся он яснополянскому патриарху? Для самого Молочникова это было подобно чуду, но было ли это чудом?

Вспомним, что Толстой, особенно в последние годы жизни, находясь в зените мировой славы, был, в сущности, страшно одинок. Один из самых сложных людей эпохи, он был соткан из противоречий, и столь же противоречивым было отношение к нему людей. Почти всеобщее признание Толстого великим художником уживалось с почти всеобщим неприятием его религиозно-нравственного учения. Синод, возмущенный нападками Толстого на духовенство, отлучил его от церкви, да и верующие в большинстве своем предпочитали обряды богослужений абстрактной религии о Боге в себе. Социалисты клеймили Толстого за «реакционнейшую проповедь непротивления злу насилием», усматривая подкоп под фундамент марксизма — учение о классовой борьбе. Высший свет насмешничал над мужиковствующим аристократом, тачающим сапоги. Крестьяне туго воспринимали идею единого земельного налога в духе Генри Джорджа. Рабочих отталкивало неприятие индустрии, молодежь не воодушевляла пуританская мораль. Не на-

ходили отклика и призывы к вегетарианству в стране с холодным климатом и повышенными энергозатратами.

Словом, за исключением небольшого числа толстовцев да близких к ним сект духоборов, религия Толстого не встречала понимания, людям казалось странным, что великий писатель не может уразуметь простых вещей, доступных ребенку. Даже собственная семья разделилась на два лагеря, разрывая сердце Толстого, что в итоге кончилось уходом больного старика, потрясшим весь мир.

Так стоит ли удивляться тому, что Толстой близко и душевно принял Молочникова, человека из народа, безоговорочно поверившего Учителю, готового идти за ним до конца. Более того, чувствуя ответственность за ученика, Толстой сказал ему при первой встрече следующее: «Хотел я вам сказать, Владимир, что боюсь за ваш... иначе не умею выразить, за ваш радикализм. Ваше стремление к христианской жизни меня радует, но боюсь, боюсь, как бы это вас, обремененного семьей, не утомило, а усталый вы можете придти к разочарованию. У меня это бывало... Измучаешься в борьбе и начинаешь спрашивать себя: да так ли это все как я думаю? Может быть я ошибаюсь, может быть мир основан на зле? Чтобы избежать таких опасных состояний упадка духа, надо продвигаться вперед тихо. Я читаю теперь китайскую мудрость, и вижу, какое большое значение они придавали медленному росту сознания и нравственному движению. Я советую вам в тех случаях, когда появляется желание к радикальному изменению жизни, лучше сдерживать себя, чем поощрять. Старая жизнь отпадает, как ненужная скорлупа, лишь только жизнь внутри нас созреет».

Однако Молочников не внял предостережению Учителя, выбрав путь воинствующего толстовца, если «непротивленца» можно назвать воинствующим. Он не скрывал своих убеждений и вскоре очутился за решеткой, обвиненный в хранении запрещенных сочинений графа Толстого. Из тюрьмы он писал Толстому и получал ответные письма Учителя. Вот несколько выдержек из них. «Милый друг Владимир! Ваши письма всегда хватают меня за сердце. Они такие хорошие, простые, правдивые, сильные. Я вижу в них вашу душу, и как ни странно это сказать, любя ее, боюсь за нее, как боишься за человека, который поднялся очень высоко»... «Милый Владимир Молочников! Не переставая думаю о вас и особенно живо, когда получаю ваши письма. Знаю и понимаю, как вам тяжело и хочется чем-либо облегчить ваше положение, но знаю, что все только в вас, в том сознании свободного, вечного, духовного человека, которым мы живем»... «Я часто говорю: люди живут на воле среди кажущейся кипучей деятельности, а ни рассказать, ни написать им нечего, а вы — в тюрьме, и каждое ваше письмо содержательнее другого»... «Деньги вашей жене послал. Благодарю вас, что она позволила мне услужить ей»... «Поражен той кипучей жизнью, которая идет у вас в тюрьме. Да, все — в тебе. Человек живет, казалось бы в центре движения со всем миром»... «Нынче почему-то живо почувствовал, что вся жизнь наша, не говоря о моей, стариковской, временно стоящей уже так близко к концу, но всякая жизнь как жизнь моей трехлетней внучки, живущей теперь у нас, есть ни что иное как медленное умирание. Умирание же есть ни что иное как то самое, что мы называем жизнью, то есть постепенное освобождение духовного от тела... Скоро, скоро буду иметь радость увидеть вас!»

1 мая 1909 года Молочников снова был в Ясной Поляне. Толстой прослезился, увидев его, и не отпускал от себя в течение нескольких дней. А через год снова арест, снова тюрьма, снова хлопоты Толстого об освобождении. В Новгородском процессе 1910 года по просьбе Толстого участвовали лучшие адвокаты А. Ф. Кони и В. А. Маклаков. Толстой рассорился с сенатором Кузьминским, родственником, когда тот отказался хлопотать за Молочникова. Процесс был выигран, Молочников оказался на свободе, но разразился скандал из-за его письма князю Васильчикову, новгородскому помещику, которого Молочников обвинил в плохом обращении с крестьянами и привел отзыв Толстого о таких помещиках. Князь был тяжко оскорблен, и жена Толстого, Софья Андреевна, всегда недолюбливавшая Молочникова, как и других толстовцев, отказала ему от дома. Тем не менее связь с Учителем Молочников поддерживал до конца, встречался с ним в Крекшине, писал письма, и так вплоть до трагического финала на станции Астапово.

Оплакав Учителя, Молочников решил создать в Новгороде музей его памяти. К этому времени он стал владельцем небольшой кустарной мастерской по ремонту сельхозорудий, направив львиную долю доходов на приобретение экспонатов для будущего музея, к неудовольствию жены, озабоченной судьбой пятерых детей. Как и у Толстого, семейная жизнь Молочникова была непростой. Семья охотно читала романы Толстого, но оставалась равнодушной к его религии. Сам же Молочников неукоснительно следовал примеру Учителя, как во внешней, так и во внутренней жизни: работал физически, не пил крепких спиртных напитков, не курил, старался не потреблять мяса, помогал по мере сил ближним, а главное: проделывал ежедневную духовную и умственную работу, много читал, много думал. Дом Молочниковых на Чудиновской улице часто принимал гостей, местных и заезжих интеллигентов. Говорили о религии, философии, политике, искусстве.

Во дворе дома вырос павильон будущего музея, который постепенно стал пополняться экспонатами — заказанными известнейшим скульпторам и художникам — Гинцбургу, Ге — скульптурами Толстого, его портретами, а также письмами Учителя, библиотекой его сочинений и книг близких ему мыслителей прошлого. Вход в музей с первого и до последнего дня его существования был свободным для всех, и не было случая, чтобы Молочников отказал в просьбе показать музей.

Февральскую революцию Молочников принял с воодушевлением. Ему казалось, что сбываются предсказания Учителя, рушится враждебное народу государство, прекратится людская бойня и установится новое царство — царство любви и свободы. Но всеобщее воодушевление продолжалось недолго, бойня на фронтах не прекращалась, надвигалось что-то страшное, взаимная ненависть стократ усилилась, даже в тихом Новгороде бурлили страсти, люди с искаженными лицами готовы были броситься друг на друга. И когда пришла весть об октябрьском перевороте в столице, Молочников решил, что теперь-то уж точно воцарится мир, а крестьяне обретут землю. В отличие от других имущих людей города он принял, хоть и с оговорками, новую революцию и даже сложил с себя полномочия редактора газеты «Новгородское вече», обрушившуюся с яростными нападками на большевиков.

Но и этот мир оказался непрочным, грянула новая война, самая страшная, ибо брат восстал на брата. Поначалу у Молочникова отношения с новой властью складывались неплохо, особенно после того как Чудиновскую улицу, где находился его музей, переименовали в улицу Льва Толстого. Но вскоре толстовская проповедь пришла в противоречие с жестокой реальностью гражданской войны. В девятнадцатом году Молочникова арестовала Губчека по обвинению в подстрекательстве к дезертирству. Он ходатайствовал об освобождении от призыва молодых крестьян-толстовцев из приильменской деревни Ямок. Как ни странно, следствие не обнаружило состава преступления. Шла война, советская власть висела на волоске, но существовал закон — подписанное Лениным постановление СНК об освобождении от военной службы по религиозным убеждениям, и Молочникова отпустили.

В условиях военного коммунизма мастерскую у Молочникова, естественно, реквизировали, но в двадцать первом году, при нэпе, вернули. Жизнь начала налаживаться, крестьяне жадно хватались за обретенную землю, нужны были плуги, сельхозинвентарь, мастерскую вначале обложили непомерными налогами, а затем, обвинив владельца в финансовых злоупотреблениях, отобрали вновь, уже окончательно, вместе с домом и почти всем имуществом, а самого Молочникова посадили за решетку. Всполошились друзья в Москве, забросали ВЦИК прошениями, и Молочникова отпустили. Вместе с семьей он поселился в подвале своего дома, снова стал кустарем-одиночкой, промышляя мелким ремонтом кастрюль и примусов.

Дети разъехались и отдалились. Старший сын Александр стал полярником, зимовал где-то на Маточкином Шаре, Николай выдвинулся в большие люди, вырос в одного из ведущих конструкторов страны, Родион, музыкант-скрипач, уехал на юг, дочь Мария вышла замуж за иностранца, Анна поступила в консерваторию. Почти перевелись гости, негде принять, нечем угостить. Часто бывал художник Браз, ученик Репина, высланный из Петрограда.

Именно в эти годы и начал Молочников свой дневник. Быть может, от одиночества, а может требовала выхода непрекращающаяся умственная работа, или сказался пример Учителя, который с юных лет до последних дней вел дневник. Понимал ли Молочников, что сам на себя пишет обвинительное заключение, что дневник когда-нибудь будет фигурировать в его деле в качестве «вещдока»? Скорей всего, понимал, ибо не раз подвергался арестам и обыскам. Но подобно герою романа Оруэлла шел на этот риск, исповедуясь на его страницах с предельной откровенностью, не скрывая своих мыслей, не щадя ни себя, ни других.

Читая страницы с отметками красного следовательского карандаша, испытываешь чувство неловкости, так как многие из них сугубо интимны. Но поскольку страницы эти уже служили обвинению, пусть же они послужат оправданию. Итак, перелистаем некоторые из них...

2.

1927 год

5 июля. Мастерскую реквизировали. Злорадство окружающих. Нужно переставить в себе центры, чтобы центр моих радостей стоял не в вещах, и не во мнении обо мне людей. Человек сказал мне, что моя кустарная мастерская им, в действительности, не нужна, нужно лишь вытянуть хозяйственную почву из-под моих ног, чтобы я остался в воздухе. Я им неприятен.

Вчера опять был Браз. Ужинал. Принимает как должное. Цитировал Анатоля Франса: «Время беспощадно ко всему, в чем оно не принимало участия». Люди помочь мне не могут. Мог бы помочь своей любовью один Лев Николаевич, больше некому. Он незаменим, даже Бог не заменит его мне.

10 августа. Газеты пишут о расстрелах по Шахтинскому делу. Ужасно! Только простые люди в Новгороде хорошо относятся ко мне после бедствия, а эти господа — отвернулись.

5 сентября. Из Толстого била любовь, из Черткова — осуждение. Поэтому Чертков не может быть продолжателем дела Толстого.

Как много надо мужества, чтобы жить своим разумом.

1928 год

27 октября. Надвигается опять голод. Хлеб дают по карточкам. В дальней дали хлеба много, но скупщиков сажают, скупать может только государство, но оно не умеет, не успевает. Много раз собирался написать им об этом, указать выход, найденный еще Толстым — система единого налога, дающая народу возможность жить, устраиваться, торговать и передвигаться, как он хочет, только отбирая всю ренту, чистую ренту. Но Толстой считается отсталым феодалом, и народ разоряется вчистую.

1 ноября. «Советская обедня» у Софийского собора. Красноармейцы пели похабные частушки на мотив церковных песнопений.

5 ноября. Приехал Коля. Умен, трудолюбив, одарен, честен. Говорит, что с большевиками приятно работать, не вертятся туда-сюда, а есть общий принцип. На Путиловском его уважают.

12 ноября. От писателя Шишкова пришли две книги в подарок. Приятно.

28 ноября. Идет борьба между старой собственнической жизнью и жизнью общей — социализмом. Для последнего есть много внешних данных, но нет главного — любви.

3 декабря. Вселился новый жилец, «гепеушник». Его окна выходят на толстовский уголок. Хорош ансамбль! Человек, держащий в руках аппарат насилия, в саду отрицающего насилие Толстого.

26 декабря. Барометр моего дела опять падает. Самое поганое — долги.

27 декабря. Чудо! Получил письмо от Браза из Берлина. Шлет 500 рублей. Как он угадал! И что я сделал для него? Почти ничего, разве что поддерживал в эти два года невольного пребывания в Новгороде.

1929 год

12 января. Сегодня думалось вот что: человеку дана в отличие от животного свобода. Он сам строит свою жизнь. Нравственность — это выраженная свобода в отношении себя и окружающей жизни. Не все дорожат этой свободой, она налагает обязанности. А это трудно. С отказом от свободы человек отказывается и от нравственности. Так он чувствует себя спокойней.

2 февраля. Был в трактире. Один крючник сказал: «Все оттого, что за свою шкуру дрожим. А и шкуре-то цена полторы копейки».

14 марта. Нельзя из необтесанных, с буграми эгоизма камней построить здание социализма, к тому же без цемента всепроникающей любви. Вместе с «внедрением социализма» растут обособленность, себялюбие и озлобление. И этого не только не видят, но и поддерживают.

18 апреля. Прочел у Толстого «большевистские» строки осуждения капитализма и купцам.

26 апреля. Соблазн учения Маркса и его временный успех состоит в том, что как будто отпадает надобность личного усилия над улучшением своей жизни. Нужно кого-то прогнать, что-то захватить, и улучшение жизни готово.

15 мая. Ходил с женой в кино на «Живой труп». Какая гадость! Из глубокой духовной вещи вынули душу и насовали агитацию. Решили исправить и дополнить Толстого.

Письмо от Белинского. Под Москвой разогнали толстовскую земледельческую коммуну. Я бывал там. Хорошо работали. Председателя и его жену, дочь Страхова, арестовали.

29 мая. В тюрьме одно было хорошо — вынужденное половое воздержание.

31 мая. Неспокоен. Вся эта отвратительная собственность. Нужда, а хлопочу — вделать бронзового «Странника» в памятник Толстого. Жена сердится, в доме — ни рубля.

13 июня. Николай приезжал в воскресенье. Новая на нем мягкая шляпа, а характер жесткий. Он не злой, даже добрый, но чувствуется сталистость.

15 июля. Вечером через дорогу камнебоец из крестьян разбивает камни для мостовой. «Что так поздно работаете?» «По привычке». «А утром с пяти часов?» «Да». Налоговая система такова, что земли недостаточно для прокормления и надо идти к государству в работники.

1 августа. Вчера состоялся гражданский суд. Присудили 17 тысяч штрафа. Призрак нищенской старости стоит перед глазами.

10 сентября. Сто один год со дня рождения Толстого. Левушкины именины.

23 сентября. Ясно почувствовал, что такое любовь к Богу. Это любовь не к временному, телесному, а к безвременному. Любовь к людям — это любовь к временным проявлениям безвременного.

15 октября. Читал письмо Дудченко к Луначарскому о притеснениях сектантов. Слабо, боязливо, приторно. Не так надо.

16 октября. Ослабевает человек — слабей воды, окрепляется — крепче камня, писал мне Толстой. Вот и по-

шел опять на ослабление. Чуть что — плачу.

21 **октября.** Большое интересное письмо от Александра с Маточкина Шара. С восторгом описывает северное сияние.

28 октября. Приклеиваю вырезку из «Звезды». Чтобы попасть в господствующую партию, сын отрекается от отца-священника.

Приходил вчера человек за поучением. Я говорю: нашли маленькое окно — любуйтесь светом. Будут силы — расширяйте окно.

Толстой в запрете.

31 октября. Вчера в «Вечерней красной газете» оповещение о 22 расстрелах. И некому написать «Не могу молчать!» Каждый боится за себя. Каждый.

1 ноября. Большое письмо от Коли из Нью-Йорка. Визитка по-английски. Вот и шути с Колькой Молочниковым! Каждое утро за ним приезжает автомобиль и увозит осматривать заводы. Улицы, пишет, сплошь запружены автомобилями, под землей идут электропоезда. Мелкие покупки можно сделать в автомате, опустишь пятнадцать центов и вывалятся спички или папиросы, а автомат громко скажет: сенк ю, спасибо, значит.

13 ноября. Читаю дневник Софьи Андреевны. Она была ему чужая. Жена Анна на ее стороне.

28 ноября. Коля пишет, что поступил на работу к Форду.

Только что ушел Аршавер с женой. Образованная узость у Аршавера.

29 ноября. Надо изыскивать способы всеобщего блага, а вокруг куда ни глянь, признаки деления общества. Одни что-то получают, другие преследуют.

1930 год

3 января. Был в Рудметалторге и видел, как сбивают в кучу церковную утварь — ризы, подсвечники, паникадила. И рабочие делали это как самое обыкновенное дело. Прав ли был Белинский, что русский человек иронично относится к этим вещам — не годится Богу молиться, годится горшки покрывать? Казалось бы нерушимая вера летит вверх тормашками. Что устоит?

6 января. Сочельник. По улице ходят толпы мальчишек с факелами и антирелигиозными лозунгами. Люди лишаются праздника. Они лишаются даже выходных путем устройства непрерывной пятидневки. Когда церковь не притеснялась, я в нее ходил. Сегодня пойду ко Всенощной.

12 января. Вчера у Аршавера опять спор о земле. Собственность! Образованный юрист, а не может без раздражения говорить об уничтожении земельной собственности.

Надо записывать свои мысли, а не читать чужие. Это как чай, пьешь не потому, что хочешь пить, а потому что греет. Надо чтобы организм вырабатывал свое тепло. Книги отучают от самостоятельности, живешь чужим.

13 января. В деревне всякими хитростями вводятся колхозы. Мужики подчиняются с болью и по нужде. Стараются заранее распродавать скот. Многие бегут в город. Деревню хотят сделать фабрично-заводской. После — зерновая фабрика, пахарь — тракторист, хозяин — государство.

Вчера в «Звезде» требование удалить из учреждения курьершу, которая двадцать лет назад была женой офицера. Женщины работают у станка наравне с мужчинами.

18 января. Тяжело.

20 января. По улице идут двое пьяных и поют:

Нынче стало яиц мало, нету — масла, что за черт?
Видно куры и коровы тоже делают аборт.

27 января. От Коли открытка из Чикаго, центра американских бандитов, как он пишет. Кажется, он искренне ненавидит капитализм и привержен коммунизму.

4 февраля. Правительственные люди опять неистовствуют. Делают ночные налеты на население, имеющее отношение к торговле, и все отбирают, оставляя голые стены. Обчистили моего знакомого литейщика Лукокина. И все это делается якобы во имя социализма.

16 февраля. Был у З. Ее брат, душевнобольной, но очень интересный самобытный человек. Любит наблюдать пьяных, когда, по его мнению, люди наиболее открыты. Любит деревенский быт, не боится драчунов на вечеринках. Но боится ГПУ. Не согласен с Толстым в отрицании насилия, говорит, что без насилия не обойтись.

17 февраля. Предлагали выгодную работу: лудить пищевые баки. Отказался — для военного ведомства.

19 февраля. Правительство страшно компрометирует идею социализма принудительным объединением.

С удовольствием читаю Беранже.

28 февраля. Весь ужас нашего социализма в том, что человек в полной зависимости от государственного строя, и не только строя, но людей, случайно оказавшихся во главе строя. Или подчиняться, или погибать.

5 марта. Высылают так называемых кулаков из деревень и пригородов. Высылают семьями на Крайний Север. Страдания, слезы. Ко мне приходили сегодня трое, ища защиты. Одному из них, старику, дал письмо в Москву. Анна обозлилась на меня — боится.

1 мая. В воскресенье имел первый урок немецкого у Михневича. Не ради щегольства, ради Гейне.

26 мая. Горе. Оставленный у нас внук Левушка заболел. Вскакивал в жару и кричал: граждане! Умираю! Дедушка, мне больно!

28 мая. Нечего читать. Нового нет, прежнее устарело. Сметена личность, а литература исходила из личности. Интересы своего народа тоже редко кого трогают. Интересы рабочего класса — тут шевелят, толкают, науськивают. Но масса чувствует искусственность. Есть интересы всего человечества, но мешает «классовое деление», притягиваемое за уши. В перспективе рисуются интересы мира, всего вневременного.

30 мая. В двух номерах газеты глупая статья Луначарского о Толстом, «Мужицко-ремесленная утопия, опрокинутая пролетариатом». Ставка на ломку. Чтобы всего много, и нужного и ненужного, игра на соблазны.

Лудил три кастрюли. Общественный огород: работают далеко не так, как у хозяина. Чиновник не может заменить хозяина, пока работник не почувствует, что хозяин он сам.

31 мая. Оригинально и смело сказал однажды Браз об абортах: «Я смотрю на женский половой орган как на алтарь для совершения таинства деторождения. Когда же в него полезет доктор уничтожать плод, алтарь осквернен и становится местом общедоступным».

Жаль, что Браз потерян для России.

4 сентября. Никогда я не чувствую себя таким старым, как тогда, когда силюсь быть молодым.

29 сентября. За это время было ужасное: расстреляны по постановлению ГПУ 42 человека так называемых вредителей. Собрания рабочих и служащих выносили одобрения такому акту. Не слышно было ни об одном протесте.

24 октября. Приехал Шура. Радостно было слушать его «доклад» о Крайнем Севере, в самой северной обсерватории служит метеорологом-геофизиком.

6 октября. Просматривая комментарии к «Дон-Жуану», нашел слова Ньютона перед смертью: «Не знаю что я в глазах мира, но самому себе представляюсь мальчишкой, играющим на морском берегу, — ибо мне доставляло удовольствие по временам находить драгоценную раковину, между тем как великий океан истины лежал передо мной закрытым».

А мальчишки-комсомолы воображают, что они могут знать все.

25 ноября. На улице пахнет войной. Возможно что-то ужасное по жестокости и размерам. Хотя все хочется верить, что народы опомнятся и, оставив своих вожаков, начнут жизнь независимую.

Вчера прочел Коле о Паскале. Ничего не сказал. Там — Бог, теперь это звучит диссонансом, особенно в его кругу. Но я все-таки прочел, пусть знает, что есть иная точка зрения.

30 ноября. Холодно, нет дров, огромное количество

леса утоплено и расхищено.

7 декабря. Многознайство без внутреннего освещения утомляет.

8 декабря. Говорят, что я не выдержал бы ссылки.

10 декабря. Вчера А. рассказывал, как у них напиваются рабочие. Один очень буйствует. Однажды его связали, и он успокоился. Потом стали повторять это средство, и теперь это вошло в обыкновение: подойдет первый попавшийся человек, иногда мальчишка, и пьяный буян вытягивает руки вдоль тела, чтобы его связали. Я подумал: и весь русский народ такой — опьянится хотя бы революцией, набьет, наломает, награбит. Потом ждет, пока первый попавшийся свяжет его по рукам и ногам. И тогда он успокоится.

16 декабря. Нашел! Толстой в «Круге чтения» писал: «Любовь — опасное слово. Во имя любви в семье совершаются злые поступки, во имя любви к отечеству еще худшие, а во имя любви к человечеству — самые страшные ужасы».

Вот и теперь. Как будто в основе деятельности теперешнего русского правительства лежит желание блага всему человечеству, а что творится, что может сравниться по жестокости?!

1931 год

6 января. Сегодня на рынке молодой человек торговал свининой из-под полы. Его окликнул инспектор. Молодой человек пустился бежать, инспектор выстрелил и убил его наповал.

10 января. Сегодня я спросил себя: что ж ты хочешь — старых помещиков и фабрикантов? Нет, не хочу. Видно, надо раньше съесть самих себя, испытывать много страданий.

17 января. Сегодня был К. Отрицает не только государство, но и кооперативы, где все решается большинством голосов. Почему меньшинство обязано подчиняться большинству?

18 января. Читал в газете: от адвокатов требуют, чтобы они доносили, если узнают что-либо контрреволюционное в деле своего подзащитного.

20 января. Продал трюмо. Кононенко за что-то арестован. Послал о нем письмо Сталину, жаль хорошего человека, семью его жаль.

25 февраля. Получил повестку для явки на лесозаготовки. Я был поражен, ведь мне 60 лет. Но явился в указанное место на Федоровский ручей. Толпа «лишенцев», много стариков. Меня освидетельствовал врач и по слабости здоровья отпустили.

5 марта. Крестьян на лесозаготовки гоняют безжалостно. Оплата почти равно нулю. Климушкин и Копчиков отказались принципиально. Дали по шесть месяцев тюрьмы и конфисковали имущество.

12 марта. А. делал доклад о Фейербахе, апостоле безбожия. «Страх породил религию». Возможно, это верно по отношению к язычеству. Но христианство? Оно открывает радость жизни, его центр — духовное начало.

13 марта. При постоянной духовной работе вырабатываются итоги, как в бухгалтерии с ее активом и пассивом. Про себя чувствую, что я всегда в долгу, баланс плох, перевешивает в сторону грехов.

22 марта. От Гусева письмо. Он снят с директорства толстовского музея. Идет борьба с влиянием Толстого. Ничего, прорастет из-под земли.

26 марта. Многим хочется реставрации. Но когда посмотришь на таких как Зельцер, то берет отвращение. А какие-то господа и усядутся на верхушке, как они сидели до революции. Нет, не надо реставрации, пусть идет как идет.

27 марта. Павел из безземельных крестьян в 1921 году взял девочку из голодного вагона, воспитал как родную и отдал в профшколу учиться швейному делу. А ее там обучают делу военному.

30 марта. Бороться с хвастливостью.

2 апреля. Вчера неожиданно вызвали в ГПУ. Волновался. Было столкновение. Крайне грубый следователь. На угрозы я ответил: сажайте, я вас не боюсь. Перечислить своих знакомых отказался. Вот образец, как создаются «дела».

13 апреля. Я гадкий, распущенный старик.

14 апреля. Подходил вчера к городской тюрьме и поклонился заключенным.

15 апреля. Пушкин — прекрасен!

16 апреля. Приходил сотрудник архива Стулов. Показал пакет, найденный им в архиве князя Васильчикова. Это письма, касающиеся обид, нанесенных Васильчиковым крестьянам, по поводу чего я писал сначала Толстому, а, получив ответ, Васильчикову. Последний очень взволновался, через Стаховича пожаловался в Ясную Поляну Софье Андреевне, та осатанела, устроила страшную сцену Льву Николаевичу (я в письме князю имел неосторожность привести слова Толстого о такого рода грабежах). В пакете есть письма Софьи Андреевны князю, где она меня ругает. Князь Голицын, новгородский предводитель дворянства, пишет, что и только прикрывался Толстым, а сам всегда был социалистом.

23 мая. Вчера написал директору Путиловского завода о том, что сыну Николаю (их главному механику) нечем заплатить за сапоги.

21 июня. Вчера снова свистнул «лишенцев» под хомут.

25 июня. Думал: ничто так не разъединяет людей, как насильственное объединение.

27 июня. Освободили Кононенко. Я писал о нем Сталину. За полгода в тюрьме он «переоценил» свою философию, отказался от нее.

28 июня. Колю посылают в Сталинград (Царицын) техническим директором тракторостроительного завода.

3 июля. Был у тюрьмы. Скопилось много народа, преимущественно женщин, отправляли большие партии в концлагеря (на Апатиты). Народ разволновался, многие в толпе плакали.

5 июля. Вчера приезжала Нюрочка. Закончила консерваторию. Живет музыкой.

10 августа. Надпись на могиле Сковороды: Мир меня ловил, но не поймал.

20 августа. Думалось о слове. К слову надо относиться бережно, как работник к инструменту. Каждое слово должно быть к месту.

24 августа. Все внешнее зло покоится на нашей внутренней беспринципности. Винить некого.

1 сентября. Тот «гепеушник», что был у меня с обыском, на днях погиб под автомобилем. Он хорошо относился ко мне.

22 сентября. Из Лао-Цзы: Там, где великий мудрец имеет власть, подданные не замечают его существования, там, где властвуют не великие люди, народ бывает привязан к ним и хвалит их. Там, где властвуют еще меньшие люди, народ боится их, а где еще меньшие — презирает их.

24 ноября. Читаю записки революционера Гершуни. Против его воли вырисовывается хорошая сторона старого русского правительства. Оно стыдилось казней, с уважением относилось к врагам, даже таким заклятым, как еврей Гершуни.

29 ноября. Сердце лежит около желудка.

8 декабря. Чем объяснить устойчивость большевистской власти? Масса больше не желает терпеть над собой богатых. На этом принципе и держится власть: все бедны. Это так же похоже на социализм, как церковь на христианство.

1932 год

6 января. Правительственные старания уничтожить религиозные чувства имеют некоторый успех. Но вместе с религиозным чувством исчезнет и взаимное согласие. Церковь хотя и суррогат религии, все же несколько единит людей, хотя бы как искусство — музыка, живопись, молитва. А ныне общество держится борьбой, инерцией, как ездок на разогнавшемся велосипеде.

10 января. Человек тридцать горожан взяли и отправили в Ленинград. Там впихнули в помещение, где не только лечь, сесть нельзя. Требовали золотых денег. Приемы инквизиторские. Это называется «просвечивание».

12 января. Был с женою в кино, встретил «гепеушника» Будякина. Человек резкий, дерзкий до наглости. (Будякин будет вести следствие по последнему «делу» Молочникова. — В. С.)

28 января. После каждого дня работы так болят руки, что не могу держать ложку.

31 января. Раннее утро, воскресенье. Долгая оттепель, на дворе мокро, ветер. Не спалось. Встал, взял книгу, прочел о юродстве: аскет, едва прикрытое тело, обличает сильных и злых. Хорошо бы и мне.

В лавке увидел шлифовальный круг. Дай, думаю, куплю. На выходе встретил стекольщика Голованова. А говорит, перестал запасаться в хозяйстве. Пора запасать... гроб. Расставшись с Головановым, вернулся в лавку и говорю: не возьмете ли назад круг? Отчего же, отвечают, возьмем.

2 февраля. Заходила А. Ф. Ее муж держал экзамен на инженера-лесовода. Главный экзамен — политграмота.

6 февраля. В колхозах гибнут отобранные от хозяйств коровы, а масло на рынке 9 рублей фунт. Я не мог бы примириться с восстановлением земельной собственности, но не верю в принудительное объединение крестьян в колхозы.

10 февраля. Старость, а к смерти не готов — боюсь. Чувствую, как во мне растет холодность к людям, даже когда делаю добро.

11 февраля. Встретил на мосту пьяного. Крикнул мне: Что, Молочников, за что боролись, на то и напоролись?

5 апреля. Был с женой на «Бесприданнице». Актеры александринцы. Автор пьесы любит Ларису Дмитриевну, но непонятно, любит ли жеребца-помещика и купцов — прожигателей жизни?

11 апреля. Был у Ф. Как только он открывает занавеску своего меньшевизма, он становится противен. Вот и эти господа рвутся к власти. Что хорошего они могут дать народу?

26 апреля. Приходил Пипер, профессор философии. Говорил о моей странной роли — моста между двумя лагерями.

9 августа. На Вечевой площади ставится памятник Марксу из материала разрушенного памятника Александру II. Один идол заменяется другим. Как будто нельзя без идола.

27 августа. Какие люди мне неприятны? Те, кто охотно берут от жизни и от окружающих, а сами ничего не дают.

18 сентября. Заходил Забелин, бывший пароходчик. Ныне нищий. Просил сделать прибор для шпарения клопов и тараканов.

4 октября. Землекоп Дмитрий Васильевич, лежа больной и голодный на соломенном матраце, рассказывал мне: «Когда Брахма сотворил мир, он разделил его и половину отдал сыну Вишну. Эта половина — наш мир юдоли. Потусторонний мир был виден людям, и они один за другим стали перебегать туда. Вишну растерялся, прибежал к отцу и говорит, что же ты, батя, сделал? Народ не хочет у меня жить, говорит, что у тебя, на том свете лучше. Брахма подумал и велел сделать непроницаемую завесу между двумя мирами. С тех пор люди, не зная, что их там ждет, боятся, и уже не хотят уходить с земли». Вздохнув, Дмитрий Васильевич, закончил: «А все-таки там, наверное, лучше».

15 октября. Сегодня думал: несмотря на некоторую интеллигентность, я только в пожилом возрасте стал размышлять по вопросу — как надо жить: подчиняясь ли тому, чего хочется мне, моему телу, или руководствоваться выводами моего размышления, то есть разумом. Раньше казалось: раз тело требует, значит имеет на это право. И лишь много позже, благодаря Толстому, я начал понимать, что особенность человека в том, что он сам решает вопрос, что он должен делать и чего не должен, а полагаясь на требования тела, обрекает себя на жалкое, скотское существование.

8 ноября. Вчера праздновали 15-летие Советской власти. Я подумал: что там не толкуй, а дело не шуточное, несколько интеллигентов с Евангелием от Маркса приехали из эмиграции и сделали переворот в шестой части мира, переворот не только политический, но и всего хозяйственного уклада. И так держится уже пятнадцать лет. И сделала это даже не кучка людей, а один человек.

9 ноября. Я давно думаю, что идея социализма и коммунизма есть следствие грубого нарушения самого института собственности, который покоится на труде. Один трудится, а другой собирает плоды его трудов. И как реакция выдвигается идея социализма. Несомненно, что и помимо системы Маркса люди после уничтожения земельной собственности объединились бы во всякого рода ассоциации, но это произошло бы, естественно, без насилия.

10 ноября. Помог деревенскому священнику. Сельская власть обложила его непомерным налогом, пыталась выселить из плохой избы. Даже дочь боялась хлопотать за отца. Но им показалось симпатичным: противоцерковник Молочников хлопочет за попа.

25 ноября. Извещения из ВЦИКа: я восстановлен в избирательных правах.

1933 год

9 января. Две дочки у меня. Одна с пузом, другая с мужем. Которая с мужем, та без пуза, которая с пузом, та без мужа.

24 января. Главный момент моей теперешней жизни — приближение конца или, как чувствую по временам, перемена декораций. Назначение человека — все большее и большее расширение, вплоть до пантеизма, до слияния себя с Целым.

17 февраля. В «Правде» за 13-е большая статья «Насущные вопросы философского фронта». Достается Деборину — не выдерживает генеральной линии. Не понимаю: человечество вступает в эпоху перехода от зоологического состояния борьбы к состоянию любви, это большая и радостная работа для философии, а тут толкуют о новых формах борьбы.

13 марта. Хотел пожалеть церковь и пошел было к ней, а там ложь на пустом месте, украшенная ложь. В книге «На каждый день» меня назвали единомышленником Толстого, а я такой же единомышленник, как проститутка Мария Магдалина была единомышленницей Христа. Есть сознание греховности и любовь к Учителю.

26 марта. Бедного Фишмана посадили за так называемое вредительство. У них не ладилось на общественном огороде и надо найти виновного. Мне не нравится в нем это еврейское стремление наверх, и все-таки жаль человека, он искренне верил в Маркса и радовался осуществлению социализма (где можно устроить себя и детей своих).

4 апреля. Вспомнил Великого Инквизитора Достоевского. Несколько лет назад у меня был огород. За ним наблюдал опытный садовник-сосед. Когда зацвел картофель, сосед к моему изумлению стал топтать листву ногами. Оказалось, для того приламывал листву, чтобы рост пошел под почву в плоды. То же делает ныне «Хозяин», послав рабов утоптать церковь. Но те, кто утаптывает христианство, только увеличат его урожай.

6 апреля. То, что мне кажется движущимся, переходящим из одного состояния в другое — все это уже есть. И детство, и старость, и то, что произойдет с человеком — уже есть. Я только не вижу этого, поскольку отдален, зато мне дана радость творческой жизни, передо мной как бы развертывается свиток, в котором уже есть все изображения.

14 апреля. Вчера в здешнем суде приговорены к расстрелу трое, в том числе одна женщина, около двадцати человек — к 10 годам лишения свободы. И все за то, что стоя возле питания, сами много ели. Одна семнадцатилетняя продавщица брала хлеб домой и отпускала без карточек знакомым. Хлеб! Какие разговоры о хлебе могли быть в прошлом? Конница окружала здание, где шел суд. Когда судья прочел первую часть приговора, дочь подсудимой закричала: «Мамонька!», приговоренная с криком упала в обморок, родня подняла рев, уже ничего не было слышно.

16 апреля. Судят в Москве вредителей от электричества. Много инженеров русских и иностранных.

18 апреля. Встретил в переулке митрополита Алексея в пышном белом клобуке, с драгоценным посохом в изнеженной руке. Увидев меня, перешел через грязную мостовую на другую сторону улицы.

29 апреля. Отправили Мишу Кононенко в концлагерь в Котлас.

2 мая. Простой народ косо смотрит на сектантов, даже и на толстовцев. Мир людей страдает, а тут отдельная группа людей отделяется от всех, постигая тайны истины. Получается деление на наших и ненаших. А надо жить для всех, страдать со всеми и спасаться вместе.

3 мая. Ларошфуко: Немногие умеют быть стариками.

4 мая. Была группа учителей. Смотрели толстовский уголок, спрашивали, как я увязываю анархо-религиозное учение Толстого с сегодняшними правительственными требованиями. Я отвечал, что с каждым человеком можно сговориться, даже в ГПУ я найду сочувствующих, надо только не бояться.

16 мая. Орава женщин ворвалась к нам, требуя подписаться на заем.

20 мая. В Германии не на шутку принялись искоренять марксистов. Сгоняют с мест ученых, жгут книги. Что такое фашизм? Пока не знаю.

23 мая. Много безработных и голодных. Видел на пароходе: отец, мать, четверо маленьких детей. Проходя, погладил ребенка по голове. Отец сказал: «Купи». «Что?» — не понял я. «Пару ребят». Был без денег, дал девочке только рубль.

4 августа. В доме нужда. На меня донос за мой музей. Что-то будет?

13 августа. Был в деревне Змейско. Ржаную муку мешают с сушеной крапивой. Лучшие земли у колхозов, но трудодни оплачиваются скудно. Государство — помещик.

30 августа. Приезжал человек из Краснодара, рассказывал, что люди вымирают от голоду. Это одна из самых хлеборобных местностей. Пошли аресты, мучения людей. Возможен и мой арест. Современное политическое движение, причиняющее так много страданий, является свидетельством того, как тот же способ узаконенного утверждения собственности может быть обращен на ее уничтожение.

4 ноября. Бывают минуты бесстрашия, чувствуешь в себе силу.

10 ноября. Паспортизация. Ходил за новым паспортом. Меня выслеживают. Подозревают, что действует некая организация, а я один — сам-друг.

1934 год

3 декабря. Убили человека (Кирова). Правительство сделало много шума около похорон и ознаменовало их убийством около ста человек, судя по опубликованным спискам. Культ мести, свойственный кавказцу. Но что можно сделать казнями? И все-таки солнце рано или поздно выглянет из-за облаков. И всем станет ясно заблуждение.

29 декабря. Письмо от Л. Пишет: «надо изъять из жизни всех врагов с корнем». Не могу я приветствовать социализм, для осуществления которого нужно «изъять» тысячи врагов, как не мог преклониться перед церковью, объявившей себя христианской и для преуспеяния которой ее хранители жгли и мучали миллионы еретиков. То — не социализм и это — не христианство...

3.

...Семь общих тетрадей, исписанных от корки до корки. Восьмая оборвана размашистой подписью красного следовательского карандаша. Две последние записи жирно подчеркнуты, в них — состав преступления. Впрочем, не только в них. Толстое следственное «дело» содержит еще немало улик. Здесь и акт экспертизы толстовского музея с подписями руководящих сотрудников Новгородского музея, указывающих на «контрреволюционный, антисоветский характер учения Льва Толстого, отразившийся в музейной экспозиции». По этому акту, а точнее доносу, музей был закрыт, часть экспонатов передана в Москву, часть — Новгородскому музею. Бесследно исчезла великолепная библиотека Молочникова, которую он собирал всю жизнь. Есть в «деле» показания учителей-экскурсантов, столь же доносительского характера. Есть показания сокамерника Молочникова, юнца, спасающего шкуру предательством. Есть протоколы допросов крестьян-толстовцев, арестованных по обвинению в создании контрреволюционной толстовской организации, возглавляемой Молочниковым. Крестьяне упорно отрицали обвинение, не сказав худого слова в адрес Молочникова, как не принуждал их к тому следователь Будякин.

И, наконец, есть протоколы допросов самого Молочникова.

...**Следователь.** Кто состоит в вашей контрреволюционной организации?

Ответ. Никакой организации не существовало. И вообще, если я в чем-либо виноват перед государством, то не желаю втягивать в мое дело других лиц.

И далее многократно повторяемое: «Не скажу по вышеуказанной причине...»

Следствие продолжалось восемь месяцев и закончилось неожиданно мягким приговором: ссылка на три года в Северный край. По тем временам печально знаменитая 58-я статья сопровождалась более суровым наказанием. Повлияли ходатаи? Или обвинение хладнокровно рассчитало: для больного старика вполне хватит и этого?

Молочников прожил на поселении один год и один день. Подобно Учителю он умер вдали от дома и поразительное совпадение! рядом с его постелью сидел врач Душан Маковицкий, на руках которого умер Толстой на станции Астапово. Маковицкий отбывал ссылку на том же поселении, что и Молочников.

Такая вот судьба. Остается добавить, что по заключению прокурора Новгородской области, приговор в отношении Молочникова признан незаконным, и сам он реабилитирован. Но прежде, чем ставить точку, зададимся вопросом: а не пришла ли пора реабилитации толстовского учения? Ошельмованное, оглупленное, непонятое, оно по-прежнему остается в общественном сознании некой вычурной утопией Толстого, на старости лет вообразившего себя мессией. Мы до сих пор не дали себе труда вдуматься сызнова и непредвзято в сущности этого учения, не ловя на мелочах, не подозревая в гордыне. И если бы мы это сделали, то тотчас узнали бы мысли Толстого и в тезисе Бердяева о том, что «только любовь обращает человека в будущее», и в призыве Солженицына «Жить не по лжи», и в том, что составляет сердцевину нового мышления — отказ от насилия, приоритет общечеловеческих ценностей над классовыми.

Величие и трагедия гения состоят в том, что он опережает время. Его мысль кажется неприменимой к реальности, и потому отторгается, но чем дальше движется история, тем ближе подходят люди к осознанию его правоты. «Художник угадывает, — обронил однажды Толстой в разговоре с Молочниковым, — к нему радиусами устремляются такие, казалось бы, неизъяснимые чувства в виде образов». Там, в яснополянской тиши, он уже слышал грозный гул надвигающихся катастроф, предчувствовал, куда заведет человечество ненависть и разделенность, и взывал к миру и любви. Но поверили ему только ученики, принявшие на себя трагическую роль преждевременных людей.

...В Новгородском музее выставлен единственный экспонат из Молочниковской коллекции. Это бронзовый бюст Толстого работы Гинцбурга, во время войны служивший мишенью для стрельбы немецкому офицеру. Великий старец с продырявленным пулями черепом смотрит вперед с упрямой надеждой, зажав в морщинах могучего лба мысль о грядущем человеческом единении. Лучшего символа не придумать.

МИХАИЛ ГАВРЮШИН

* * *

Как удобно стоять на коленях,
будто в землю врасти вполовину,
вслед ушедшим в нее поколеньям,
шарить в злом сорняке пуповину.
В горле ком, как в Онеге торосы —
сердцем в лоно земли достучаться...
Где вы, россы, великие россы?!
Безымянной страны домочадцы.
Кто не пахарь, уж ныне не вор он,
хоть кистень поменял на веригу.
И слетаются к ворону ворон
на Отечество, как на ковригу.
Как удобно — ни слово сказати,
ни качнути язык против ветра...
И дорожный гремит указатель:
до Отечества — три километра.
Три как есть от развилки до сути,
но под нами пути наши гнутся,
ведь в чудовищном этом досуге
мы б успели еще оглянуться.
Чтобы Китеж в тумане увидеть,
чтобы Калку оплакать с Цусимой,
чтоб взойти нерастраченной силой
да при этом земли не обидеть.

ПОЛИНА РОЖНОВА

* * *

Я с мороза клюкву принесу.
Застучит в мое окно январь:
— Дай-ка на болотную красу
поглядеть! дивна ли вправду ярь?

На шестке на противне бело
тесно поднимается. Толку
в сытице я клюкву. Отмело
сластно-горько на моем веку.

К клюквенному пирогу, январь.
ты пришел. На колдовской огонь.
Плачет и смеется в зыбке ярь,
и слезу баюкает ладонь.

НИКОЛАЙ СЕРБОВЕЛИКОВ

* * *

Я родом из «темного» прошлого
и трудной судьбе не солгу:
как пращур далекий, на звезды
гляжу, а постичь не могу.

Я тщетно пытался пробиться
к загадке живой бытия...
Не делится мир, а двоится,
как грешная совесть моя.

Я многому в жизни обучен,
но к истине ближе не стал,
с тех пор, как мой предок дремучий
родимую землю пахал...

АНАТОЛИЙ ВЕРШИНСКИЙ

* * *

Поздно в Россию приходит весна,
рано кончается лето.
Только в июльские дни отогрета
Наша сквозная страна.

...В парке, венчающем берег Дуная,
днями скитаться готов.
Пить аромат медоносных цветов,
русский апрель вспоминая.

Что ж! отрезвит в подмосковном саду
запах медлительных почек.
Руку, задевшую первый листочек,
робко назад отведу.

Верю: опять осенит благодать
эти дубравы и долы.
Вновь заснуют хлопотливые пчелы...
Господи, долго ли ждать?

ИГОРЬ ТЮЛЕНЕВ

* * *

Пригублю серебро из ковша,
Остужу раскаленные речи,
Сколько слов растеряли спеша —
Не осталось ни слов, ни картечи.
Между добрых пророков и злых
Пролегает дорога народа,
Кровь течет в колеях фронтовых,
И святые глядят с небосвода.
Молодые идут до седин,
Старики до погостов отчизны.
Вновь родится у матери сын
И разбудит Россию для жизни.

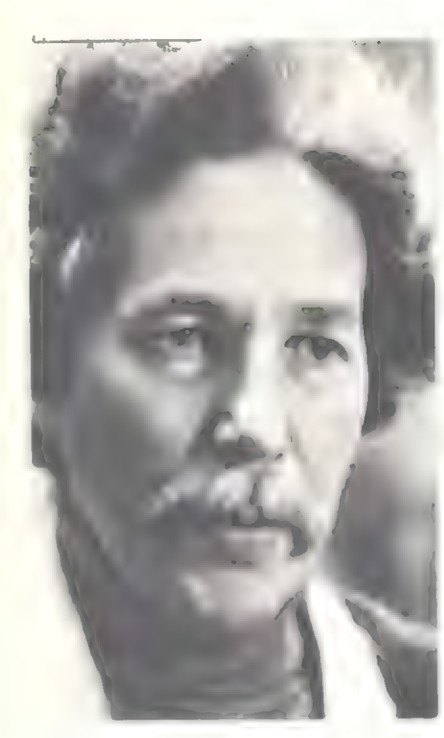
РУСЛАН ДЕРИГЛАЗОВ

* * *

Почти немыслимо, почти
уже неотвратимо
весна в прожилках шелестит
и даль горчит от дыма.

От дома дальше, чем всегда
зовуще и маняще
кричит весенняя вода
все ласковей и чаще.

А в чащах — звон и трепет птиц,
и легче опрокинуть,
чем выпить — чашу небылиц, —
нет, легче душу вынуть!..



ЧЕРНОВ Евгений Евгеньевич. Родился в 1938 году. Член СП СССР, прозаик. Автор многих книг прозы, в том числе — «Проводы и встречи», «Высокий девятый этаж», «День до обеда», «Заботы пассажира Кобылкина» «Не самый удачный день», «На узкой лестнице».

ЕВГЕНИЙ ЧЕРНОВ

«В минуту жизни трудную,
Теснится ль в сердце грусть...»

Какой еще смысл можно добавить к этим строкам Михаила Юрьевича? Разве что — печаль наша стала чуть иной, и все меньше рассуждений о вечности бытия и бессмертии собственной души...

Разбили в доме градусник, чтобы вообще не знать температуры, и наступили дни необычайно юркие, блестящие и неуловимые, словно шарики ртути.

Посмотришь пристально на один шарик, попробуешь прикоснуться к нему, чтобы что-то, наконец, понять, — а он дробится тут же на тысячи составных. И нет его... И нет составных... И лишь печаль в душе, да смутное ощущение прожитого и увиденного.

Да то, что записалось...

БЕСЕНОК

Возле станции метро «Электрозаводская» в голубом фанерном лотке пожилая хмурая женщина продавала пирожки. Очередь была в несколько человек, видно торговля пошла недавно, то есть по нынешним крутым временам вполне можно было достояться. Ну, и я встал, и взял два пирожка. И с ними отошел в сторонку.

Во всех углах теперь, где не пролегает человечья тропа, как бы исподволь скапливается мусор, и лежит он, лежит, наконец, становится обязательным дополнением городского пейзажа.

В глубокой мягкой пыли, среди притемненного временем кирпичного боя, бродили голуби. Они никуда не торопились, на людей не обращали внимания, ибо знали: те давно перестали подавать, — ходили они вперевалочку, отодвигая клювами бумажные катыши и мятые картонные стаканы. Но что съедобного найдешь под этими отходами... И мне стало жаль их, таких несуетных, добродушных, некогда громко чтимых, а теперь вот заброшенных, ничего у разного люда, кроме раздражения, не вызывающих.

Я бросил ближней птице кусочек пирожка. Голубь не спеша обошел его, желая, судя по всему, присмотреться со всех сторон, а потом уже и решить, как распорядиться этим, невесть откуда свалившимся богатством.

Так вот, пока он обходил, то направо, то налево склоняя голову, откуда ни возьмись, ну прям не иначе из-под земли, вдруг явился маленький, на тонких ножках, шустренький, даже словно бы кучерявенький воробей. Скок, скок! Прямо, деловито, по-хозяйски, с какой-то, я бы сказал, наглой целеустремленностью, как механический бесенок, подпрыгнув, толкнул голубя, схватил кусок и стремительно понесся низко над землей, так что пыль вздыбилась волной.

Ну надо же! А бедный сизарь даже и не понял толком, в чем дело, он крутился на месте, беспомощно перетаптывался, и вид у него был до того растерянный, что даже мне стало не по себе, словно меня тоже обокрали, взяли да и залезли в карман среди белого дня.

«Э-э, — отчего-то подумалось мне. — Нет, раньше у нас такого не было».

ПЕРШИНГ

Зашел по делу к давнему знакомому, у которого — так получилось — не бывал ни разу. Знал только, что у него удачно сложилась семейная жизнь, и вот уже много лет он считается домоседом. Отшумит в институте на своей философской кафедре и тут же домой, воспитывать двух дочерей.

Встретили гостеприимно. Вся семья вышла в прихожую, жена Владимира тут же сказала: пельмени варятся, минут через десять можно к столу. А девочки — одной лет десять, другой пятнадцать, растерялись и обрадовались, когда я им протянул по шоколадке.

Прошли в комнату, обычное, скромное, деловое жилье. Разномастная мебель, обычная расстановка ее вдоль стен, два сдвинутых письменных стола у окна, разделенные легкой ширмой, обыкновенный телевизор без всяких видеоприставок, простенький проигрыватель. Тут подумалось, что популярный среди студенчества кандидат философских наук мог бы, если бы захотел, жить повеселей, посовременней что ли — модную гравюру повесить, ножки у дивана отпилить.

Но самое замечательное, что было в этой комнате — большой зеленый танк, сооруженный так искусно, что тянуло тут же присесть перед ним на корточки и потрогать округлую, крепко посаженную башку его. А управлялся он на дистанции, и чего только не выделывал, являя едва ли не акробатические способности.

А когда мы пили чай на кухне и остались вдвоем, я вспомнил о танке:

— Все-таки какая игрушка: играешь и еще хочется. И в душе просыпается нечто такое...

— Да, просыпается... И ужас-то весь вот в чем. Я спросил старшую: что подарить тебе на день рожденья? И она, представляешь, не задумываясь ответила — танк! Ну, что тут скажешь? Все ясно: агрессор растет. Тогда я спросил у младшей: а тебе чего подарить? И она, тоже не задумываясь — пушку. Вот это да!

— Да...

А когда я возвращался домой, падал снег, было тепло и влажно. Последнюю остановку решил пройтись пешком. Шел и размышлял: отчего же так получается? И семья замечательная, добрая, приветливая. Все домоседы. Философские воспитательные беседы. И на тебе — какую-то скрытую пружинку проворонили.

Пришел домой. Дочка готовила уроки. Свет настольной лампы высвечивал волосы изнутри, нимб окружал ее голову. Одна книжная полка отведена под игрушки — куколки, глиняные зверюшки, вышитые салфетки, стакан с высохшими фломастерами.

Тихая, застенчивая девочка растет. Иной раз горло перехватывает, как только представлю, какие испытания ожидают ее впереди. И наступит время, когда уже не придешь ей на помощь, беспомощной.

— А скажи-ка, дочка, вот и Новый год подходит, какой бы ты хотела подарок от деда Мороза? Вот какой, чтобы от всей души?

Она повернула голову, посмотрела на меня пристально, и даже как бы изучающе.

— Честно?

— А как же еще?

— Я хочу, чтобы он подарил мне першинг.
— Чего? — обалдел я.
— Першинг, — твердо сказала она.
— Вот это да! Это надо же... А зачем тебе ракета? А где ты ее будешь держать?
— На балконе.
— Подумать только... А ну, ответь отцу вразумительно: зачем все-таки тебе ракета?
— Надо, — сказала она, поджав по-старушечьи губы, и повела подбородком.

ОБЩИЙ ЯЗЫК

— Свет, подожди, не волнуйся. Не надо волноваться. Успокойся, возьми себя в руки. Тебе сколько лет?
— Одиннадцать.
— Как бы у нас ни складывался разговор, ты только трубку не бросай, хорошо?
— Хорошо...
— А сейчас ответь, пожалуйста, на мои вопросы. Тебе очень одиноко?
— Очень.
— С мамой общий язык найти не можешь?
— Не могу.
— А скажи-ка, пожалуйста, Света, у тебя есть тайны?
— Есть.
— Ну, такие, такие, которыми ты ни с кем не захотела бы поделиться?
— Есть.
— А как ты думаешь, почему у тебя с мамой натянуты отношения?
— Она все время хочет поговорить со мной.
— Значит, она хочет узнать твои тайны?
— Да.
— А тебе никак не хочется раскрывать их?
— Не хочется.
— Света, а если бы мама узнала твои тайны, ей было бы приятно?
— Да.
— И, значит, в ваших отношениях все бы изменилось?
— Да.
— Света, а ты можешь придумать какие-нибудь две, три тайны? Совсем пустяковые, но тайны?
— Наверное, могу. Вообще-то, конечно, могу.
— А почему бы тебе не придумать эти две-три маленькие тайны и не поделиться ими с матерью? Тебе же это ничего не стоит.
— Не знаю.
— А ты придумай и поделись. Как ты полагаешь, это поправит отношения с мамой?
— Поправит.
— Вот видишь, умничка ты какая. И тебе будет хорошо, и маме, да и мне тоже.
— Спасибо.
— Вот так-то, Светочка, запомни первую заповедь в жизни — не будь простушкой.

ЗНАЧОК

Шел по улице старик и все на него оглядывались. Да и было на что оглянуться. Старик — сухопар, высокого роста, в соломенной желтой шляпе, с пышными усами, как раньше было принято говорить: с буденновскими. Голова его была гордо вскинута, кожа лица морщинистая и шершавая, как будто бы сплошная оспина. Может, он был вблизи большого огня, а может, многолетне бреется, как и большинство наших — чем придется. Глаза его уставшие, но еще при этом-то возрасте ясные, смотрели прямо перед собой, чуть даже повыше голов прохожих. День хоть стоял солнечный и жаркий, а старик был одет в темно-синий суконный костюм, а толстая шерстяная рубаха повязана галстуком с широким, едва ли не в кулак, узлом.

Но не цвет лица, и не ясность взгляда, и даже не великолепно распушенные усы, останавливали прохожих.

Старик был при боевых наградах — вот что главное! Может, на встречу с фронтовыми товарищами собрался, а может просто так надел, чувствуя, как приближаются к концу отпущенные дни. Вот и необходимость появилась и окружающим напомнить, да и себе самому тоже: а ведь что-то значил он в этой жизни.

Справа на груди его вздрагивали, отзываясь на каждый шаг, медали. А с левой — ордена: Красного Знамени, Отечественной войны, Красной Звезды и два ордена Ленина.

Вот это иконостас, наверное думал каждый, испытывая чувство возвышенной радости и ощущая некоторую нереальность...

А старика вел под руку внук, такой же высокий и жилистый, как и дедушка. По виду можно сказать, что парень получил среднее образование и приступил к высшему. Он был в наушниках, мягкий проводок соединялся с магнитофоном, пристегнутым к солдатскому ремню, а на груди его красовался крупный кооперативный значок: «Партия, дай порулить».

КОЕ-ЧТО О СПИДЕ

— Был я как-то в глубинке. Вечером привел к себе в гостиницу певичку из оперетты. Еще толком двух слов не связали, как она сразу: а вот и постель, а вот и постель... Постель-то постель, ответил я на это, а как же спид? Он же надвигается!
— Какая чушь, — сказала певичка. — У нас же закрытый город, ни одного, понимаешь, ни одного негра. Так откуда быть спиду?
— Вон как? — в свою очередь удивился я. — Если действительно ни одного негра, тогда нет проблем.

ИТОГ

Он впервые попал в магазин с импортным товаром (на валюту, конечно, на валюту!). Посмотрел на выгороженные отдельные комнаты и вдруг понял — как нищенски живет. И комнатки у него маленькие, и мебель вся разномастная, из комиссионки. Прикупить бы чего, поправить дело, да ставить негде. И подумал он тогда, что, может быть, только после его смерти, когда освободится его комнатка, куда можно будет стащить весь хлам, семья оживет, и, дай-то Бог, может, и приблизится хоть к какому-то уровню..

ВСТРЕЧИ С ЧЕРЧИЛЛЕМ

Неожиданно позвонила сестра, и в первую минуту я сильно перепугался. Телефона у нее не было, междугородний переговорный пункт далеко, да и очередь там всегда. К соседям ходить неудобно: денег не берут, сами оплачивают счет, вот и пойми тут — доброта это душевная или позиция?
— Как здоровье мамы? — сразу спросил я.
— Ничего, ходит, — ответила сестра. — И все другие тоже... Пока все хорошо.
— Ну, слава Богу, а то меня аж в пот бросило.
— Нет, пока все хорошо. Тут твой рассказ напечатали в городской газете. Мы все прочитали с удовольствием.
— Что ты говоришь. Надо же, откуда они его, интересно, взяли? Так-то ничего не посылал.
— Вот видишь, значит, где-то взяли. А ты молодец. Мама сказала: иди и позвони. Это чтобы ты знал — следим за твоими успехами.

Кто что-то делает, тот знает, как радует признание труда, и память о тебе, уехавшему навсегда. А я-то по испорченности своей думал, что прохладным было расставание. Ан нет — помнят, имеют в виду, рассчитывают. Хорошо стало на душе.
— Только странный какой-то у тебя рассказ, да и написал ты его в форме воспоминаний. Может, ты пишешь сейчас именно воспоминания, просто мы не знаем?
— Да нет, откуда воспоминания. Вроде бы рановато. А как называется-то рассказ?
— И название странное: «Мои встречи с Черчиллем». Я так и ахнул:
— Ты что, сестра, откуда Черчилль, какой Черчилль..
— Вот и мы подумали. И мама сказала: странно все... Но рассказ твой.
— Но ты же понимаешь — даже по возрасту, я никак не мог встречаться с Черчиллем
— Я-то понимаю. Да и мама говорит... Но с другой стороны...
— Какая другая сторона, о чем ты... Чушь какая-то.
— Мы тоже решили, что чушь. А с твоей фамилией как быть? Мало ли что... и ты давно не приезжал.
— Но Черчилля давно нет в живых.
— Да.
— Значит, это не мои воспоминания, а кого-то другого.
— Тогда другого, — согласилась сестра и вздохнула. — Ну, ладно, и так много говорим. Приезжай, как выберешь минуту. А рассказ у тебя все-таки интересный. Мы его вырезали вчера и отправили тебе заказным письмом.

ПРОВИНЦИАЛ

— Как жизнь, как настроение?
— А-а... еще спрашиваете. Какое тут настроение!
— Чего так?
— А вы не читали? Наши кооператоры опять полсотни новейших авиамоторов переправили за границу.
— Ну и что? Вам очень нужны эти моторы?
— Да нет, собственно, мне они совсем не нужны.
— Так чего же тогда?
— Обидно! Державу на глазах разворовывают.
— Э-э... обидно... Надо же, сколько живете в столице, а все никак свои провинциальные замашки не бросите.

БЕРЕЗКА

Случилось так, что приехав на республиканское совещание по краеведению, мы, люди битые возрастом, с клочками седых волос, с печальными лысинами, оказались без гостиницы — ее захватили кооператоры и наотрез отказались освобождать. Вот и разместили нас где придется.

Я попал в тесную комнатку общежития строителей, и со мною вместе — высокий сухопарый человек с выражением лица то ли болезненным, то ли тоскующим. Звали его Александром Григорьевичем, был он из Москвы, и сразу же заявил, словно оправдался: в командировку поехал добровольно — очень захотелось ему взглянуть, жива ли еще провинция, а если вдруг и природа сохранилась, то получится, словно побывал на даче большой и индустриальной.
— Вечером будем пить травы, — сказал Александр Григорьевич. — Целебную смесь привез.

Но потом стихия всевозможных мероприятий развела нас в разные стороны.

К вечеру пошел дождь, глина, покрывавшая тротуары, вспухла, стала липкой, и трудно было убедить себя, что у природы нет плохой погоды. И еще — ветер, наверное, сменил направление. Когда мы собрались в своей комнате, из всех оконных щелей несло будь здоров. Как в поезде!
— Просто жуть, — сказал Александр Григорьевич, доставая из спортивной сумки фирмы «Адидас» шерстяное белье. — Один раз так же попал в историю, в Кельне. Казалось бы, такая цивилизация, но вот простудился, — и он пнул со злостью старенький засаленный стул, да так, что тот пискнул.
— А какая разница: Нью-Йорк или Рязань? Сквозняк есть сквозняк. А насморк тем более.

В ответ на эти слова Александр Григорьевич испытующе взглянул в мою сторону.
— А вы знаете, эта мысль все сильней стучит в моих висках. Если продолжить вашу аналогию, то можно придти к крупным выводам. Допустим: труд есть труд, отдых есть отдых, в какой бы части света это не совершалось. Так?
— Видимо, так.
— Или взять что попроще: атмосфера, вода... Вода — река — лес. Лес вы, надеюсь, не станете отрицать?
— Нет.
— Значит, лес: елка — ольха — береза. И везде все одинаковое. Выходит, среда обитания, по сути, без различий.
— Выходит, только вот березку вывел бы...
— А почему березу, а не ольху? Ни дуб, ни граб, ни кудрявую ветлу?
— Кудрявая у нас березка.
— А-а, вот-вот... Вот и вы, как и все. Бе-ерезка-а у родимого крыльца-а, — протянул Александр Григорьевич с неожиданной иронией и злой, какой-то знакомой, интонацией. — Неужели современный цивилизованный человек верит в этот миф? Начнем с того, что никто никакого родного крыльца не помнит. А березу — тем более. Из детства помнят другое... Я даже затрудняюсь это доходчиво объяснить, но другое. В любом случае общие ощущения добра, допустим, и зла. Но добро и зло одинаково и у нас и у них. Это как поцелуй матери.

Я хотел промолчать: нет начала, а теперь и нет конца этим разговорам. И чтобы отвлечься, подумал: правильно пишут в газетах — столичные жители превращаются в особую человеческую разновидность: много думают о себе, готовы браться за любое, даже незнакомое дело. Но самое главное: потеряли веру — не верят ни во что! — впрочем, это, наверное, сказано слишком сильно.

Но Александр Григорьевич разошелся. Вместо того, чтобы ложиться спать, он вспомнил о травах, достал кипятильник и ярко разукрашенную железную банку.
— Будем пить, — замечательно просто сказал он. — Вусмерть! Может, хоть тогда дойдет: чего же вам так далась береза? Что, она вас обувает и одевает? Или молоко дает?

В общем-то я тоже не знал, как объяснить ему. Сколько помню себя — все в городе живу, тоскую без асфальта, без этой пестрой выматывающей уличной круговерти. И тем не менее! И березку-то вижу от случая к случаю. Но неведомая сила, сокрытая в этом образе — поднимает душу и наполняет силой. Именно так! С кровью дано. И, как видно, не только мне.
— А вот, кстати, Александр Григорьевич, русские за рубежом не приживаются. Спят и видят березку.
— Тоже мне скажете, — отозвался он с недоверчивостью.
— Точно, точно, тут даже и спорить бессмысленно.

Александр Григорьевич задумался, но вот лицо его просветлело:
— Тогда должен вам сказать следующее: если тоскуют, а по ночам видят какое-нибудь дерево — значит, не сумели как следует устроиться.

ТЕЛЕФОН

Удивительно было видеть Василия Федоровича обедающим. Сидит, склонив седую голову над куриной котлетой и по сторонам не смотрит. Обычно днем его не бывало. В свой ведомственный пригородный профилакторий он приезжал поздно вечером, оставлял под окном машину, не зажигая света ложился, а утром, позавтракав раньше всех, отбывал.

Это был человек с необъятными связями, все об этом знали и поэтому относились к нему, как к отцу родному.

Утренние бегуны с почтительной завистью наблюдали, как он хмуро, никого не замечая вокруг, садился в машину и громко хлопал дверцей. Все и понимали его, как отца родного — жизнь идет такая, что не только хмурым будешь, но и чокнешься...

Так вот, я увидел Василия Федоровича и, сам того не ожидая, присел за его столик.
— А-а... — поднял он голову. — Привет, привет. Я слышал, ты квартиру получил. Поздравляю. Хорошая хоть?
— Хорошая.
— Дом-то новый?

— Нет, хрущоба.

— Ну, вот видишь, а завтра и эту шиш получишь. Ну, а проблемы какие? Чем помочь?

— Телефон не могу пробить. Вот уже сколько, как с дубом бодаюсь.

Видали мы эти дубы, — мрачно сказал Василий Федорович. — Все решают личные отношения. А что, без телефона плохо? — и с ехидцей посмотрел на меня.

— Не то слово. Живу, как в погашенном мире.

— Хм, еще бы... Придешь домой, хоть позвонить кудато... В принципе, домашний телефон я глубоко не уважаю, но без него нельзя. Давай подумаем. Здесь ход нужен... Только один ход, но капитальный, иначе их не достанешь. Весь вопрос — через кого и как.

Василий Федорович задумался, глубоко вздохнул, орденская планка на груди встала дыбом.

— А почему ты именно ко мне обратился? — неожиданно спросил он.

— Так получилось.

— Сердце подсказало, — усмехнулся он. — Впрочем, правильно подсказало. Есть у меня один приятель в обкоме партии. Он-то, конечно, вмешается. А впрочем, что сейчас партия. Глядишь, только повредит.

— Но вы же сами депутат горисполкома.

— Депутат-то депутат, только полномочия стали странные: город разрушить могу, войну, допустим, Танзании объявить, а вот телефон тебе пробить, — и Василий Федорович провел в воздухе вилкой полукруг, и лицо его приобрело глуповатое беспомощное выражение. — А знаешь, загляни завтра, бумагу на министра составим.

— Тогда сразу на президента, — вырвалось у меня.

— Президент — это последний шанс, когда терять будет нечего. Президент для телефона, как нитроглицерин для сердца.

Василий Федорович указательным пальцем поднял манжету рубахи и взглянул на часы. Знак подан, и я встал. Но Василий Федорович продолжил разговор.

— А скажи-ка дорогой, а у тебя не сложилось впечатление, что кто-нибудь здесь просит на лапу? В общем, кому-то надо дать?

— По-моему, это всегда приветствуется. Самый короткий путь.

— Правильно рассуждаешь. Так вот, если строго между нами, самый короткий путь зачастую бывает и единственным.

— Не понял.

— Нужно подумать, чтобы себе дешевле было. Деньги-то сейчас, не деньги, в бумажки.

— Но зарплату нам платят бумажками. И живем на них... А потом сейчас все дорого, дать в лапу — надо иметь сбережения.

— А у тебя их нет, — вставил Василий Федорович.

— Нет.

— Да я так и думал. В жизни, между прочим, всегда так: и хочешь дать для пользы дела, а нечего.

Я промолчал.

— А иной раз мог бы дать для сокращения пути, но не знаешь как. Верно? Ладно, не бери в голову, все это шутки.

Василий Федорович задумался. Он смотрел мимо меня, в окно, на улицу, на весеннюю оживленность деревьев, в бледно-зеленую дымку ранней, и словно бы пока еще пугливой листвы. В глубине парка есть островок из могучих столетних сосен, прямых, как выросших по линейке. Они, правда, уже смертельно отравлены грунтовыми водами, и вершины их год от года все сильнее окрашиваются желтизной. Но держатся они еще молодцом. Там живут белки, и чувствуют они себя прекрасно.

— Слушай, — вернул меня к действительности игромкий голос Василия Федоровича. — А что если я тебе дам взаймы? Бери пятьсот и решай свои проблемы.

И он потянулся за бумажником.

— Бери без всяких комплексов и не суетись. Разбогатеешь — отдашь.

Вот и бумажник уже показался из кармана.

И внутренний голос во мне с ужасом, с каким-то леденящим душу страхом зашептал:

«Боже мой! Боже мой...»

ТОЛСТОВЦЫ

Деятельность последователей Л. Н. Толстого в России — это не знающее аналогов в нашей истории, подлинно духовное, развивающееся вне рамок любых государственных и церковных институтов движение, сравнимое разве что с духовными движениями в Индии.

Как пишет в предисловии к книге один из ее авторов, М. И. Горбунов-Посадов, «история толстовского движения заслуживает многотомного исследования». В самом деле, что знаем мы и помним об Обществах Истинной Свободы в память Л. Н. Толстого, основанных почти во всех уголках России, о вегетарианском движении, о борьбе Объединенного совета религиозных общин и групп за свободу совести, о толстовской академии (курсах свободно-религиозных знаний)?.. Пока же у нас появился этот сборник воспоминаний, представляющий первый опыт издания мемуарного наследия русских толстовцев-земледельцев, среди которых были крестьяне, рабочие, бывшие солдаты, люди из интеллигенции, натуры, как правило, незаурядные, в чьи души глубоко вошли идеи великого писателя.

Наиболее сильное впечатление оставляют, пожалуй, воспоминания В. В. Янова, одного из самых бескомпромиссных последователей этического учения Толстого. Ценнейшим и горестным документом эпохи предстают воспоминания Б. В. Мазурина, в которых он называет главную причину разгрома толстовских сельскохозяйственных коммун, заключавшуюся в том, что толстовцы-земледельцы «не стриглись под одну общую гребенку, и каждый из них смел иметь какие-то свои личные особенности, свои взгляды на жизнь».

Воспоминания толстовцев-земледельцев, собранные в этой книге, — еще одно, взывающее к нашему уму и совести свидетельство против террора сталинской эпохи и против мясорубки насильственной коллективизации.

Л. МЕШКОВА

ВОСПОМИНАНИЯ КРЕСТЬЯН-ТОЛСТОВЦЕВ. 1910—1930-е годы. — М.: Книга, 1989.

КНИГА О КНИГАХ

Эта книга — приглашение в увлекательное и познавательное путешествие в книгохранилище и Музей книги Главной Библиотеки страны. Авторы ее постарались рассказать читателям о наиболее интересных и ценных изданиях, хранящихся там, от самой древней рукописи «Архангельского евангелия», датированной 1092 годом, до последних новинок книжного искусства.

Материалы эти подобраны таким образом, что на конкретных примерах можно проследить как изменялась книга во времени, пока не обрела так хорошо знакомый нам сегодня вид, и задуматься над тем, какое значение она имела не только в духовной жизни народа, но и как предмет материальной культуры.

Книга рассчитана как на библиофила и издателя, так и на просто человека любознательного. Обязательно заинтересует читателей повествование О. Ласунского о судьбе В. Ф. Одоевского или рассказ В. Огрызко о библиотеке выдающегося русского мыслителя и публициста П. Я. Чаадаева, в публикации Э. Бабаева речь идет о работе Л. Н. Толстого над главной книгой для детей — «Азбукой». О том, как издавались первые книги на Руси, кто были — эти удивительные люди — первопечатники, узнаешь, прочтя исследование О. Мраморнова «Книжник XVII века».

Остается только добавить, что эта первая книга в новой серии, которую стало выпускать издательство «Книжная палата». В следующем выпуске будут раскрыты фонды Всесоюзной государственной библиотеки иностранной литературы. Серьезный разговор с читателями об искусстве книги будет продолжен.

Д. КОСТРОВА

КНИЖНЫЕ СОКРОВИЩА МИРА / Из фондов Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина. Вып. 1, Москва, Издательство «Книжная палата», 1989.

ВЕЧНЫЕ СПУТНИКИ

Лев Толстой

В ГОСТЯХ

О Толстом писать трудно. Признаюсь, теперь, когда давно прочитаны «Война и мир», «Анна Каренина» и «Воскресение», «Крейцерова соната» и «Холстомер», когда читаешь «Освобождение Толстого» И. А. Бунина, охватывает смятение: как же все-таки следует понимать Толстого?.. Что знаем о нем мы, если даже Софья Андреевна говорила: «Сорок восемь лет прожила я со Львом Николаевичем, и так и не узнала, что он был за человек!» «Многообразие этого человека всегда удивляло мир», — читаем у Бунина. Потому нам дорого все, что связано с именем Толстого. Нужно ли говорить, какие чувства владели мною, когда я подходила к московскому дому Толстых, о посещении которого вспоминал И. А. Бунин (о встречах с Толстым он рассказывает сам, см. стр. 72).

Дому Л. Н. Толстого в Хамовниках повезло. Он пережил лихие времена: и пожар Москвы в 1812 году, и революции 1905, 1917 годов, и Великую Отечественную войну 1941—1945 годов, и дальнейшую социалистическую перестройку столицы, от которой она пострадала едва ли не больше, чем от всех других лихолетий.

Первое упоминание о доме в московских переписных книгах относится еще к 1805 году. А в 1882 году Л. Н. Толстой купил его у коллежского секретаря И. А. Арнаутова за 27 тысяч рублей. По распоряжению Льва Николаевича в доме были подняты потолки первого этажа и надстроен второй. И в таком виде, вместе с другими постройками — сараем, «конторой издательства» и кухней — дом и сад сохранились в неизменном виде.

Здесь семья Толстого прожила девятнадцать лет (с 1882 по 1901 года), здесь росли и учились дети. Лев Николаевич не хотел, чтобы они учились в частной гимназии, но для учебы в государственном заведении необходима была «подписка о политической благонадежности», которой Толстой дать не мог. Только по этой причине он вынужден был отдать сыновей в частную гимназию...

Я испытала такое же волнение, как когда-то молодой Бунин, впервые переступивший порог толстовского дома, уже в передней, где хозяин часто выслушивал посетителей, приходивших «засвидетельствовать свое почтение» великому художнику слова. И каково же было мое изумление, когда вдруг в Малой гостиной закуковала в часах кукушка, как когда-то при Толстом. Эти часы были куплены Софьей Андреевной еще в 1883 году, и по сей день они исправно извещают о времени.

Тамара Васильевна Полякова — заведующая мемориальными фондами, показала мне каждую из шестнадцати комнат в доме, рассказала интересные подробности быта Толстого, и меня не покидало ощущение присутствия хозяина. Казалось, вот сейчас ему доложат о посетителе, и сам Лев Николаевич выйдет в своей неизменной блузе-«толстовке» и взглянет внимательно — с чем пожаловали.

Отсутствие в доме лишних вещей, роскоши подтверждает стремление Толстого жить «простой» жизнью. Зато в доме множество фотографий, картин, портретов. Среди них написанные дочерью — Татьяной Львовной, незаурядной художницей, бравшей уроки живописи у И. М. Прянишникова, Н. Н. Ге, И. Е. Репина, Л. Пастернака. Многие дети Л. Н. Толстого были одарены талантами. Сын — Михаил Львович отличался необыкновенной музыкальностью, играл на многих инструментах. После того, как в составе части офицеров «Дикой дивизии» Михаил Львович вынужден был покинуть Россию, он занялся созданием русских народных хоров. Большинство его молодых воспитанников приглашались в профессиональные труппы театров.

В детской комнате самого младшего, последнего сына — Ванечки на столе под стеклом хранится записанный с его слов рассказ «Спасенный Такс», сочиненный им в шестилетнем возрасте. Судьба этого одаренного ребенка, самого любимого Толстым, была печальна. За месяц до семилетия Ванечка заболел скарлатиной и умер. Лев Николаевич был неутешен. Видевшие его в этот период жизни отмечали, что Толстой сразу превратился в старика, сразу как-то согнулся.

В Большой гостиной на втором этаже дома стоит бюст Л. Н. Толстого, выполненный Н. Н. Ге. Художник говорил, что сделал вызов скульпторам, до сих пор не удосужившимся увековечить облик великого писателя. Этот дом помнит многих выдающихся людей — писателей, художников, артистов, композиторов: Бунин, В. Соловьев, Репин, Серов, Станиславский, Немирович-Данченко, Савина, Андреева, Римский-Корсаков, Рахманинов, Скрябин. В этом доме пел сам Шаляпин.

Уходя, я еще раз окинула взглядом этот островок духовности в тесном окружении фабрик и заводов, и щемящее чувство тоски вдруг сжало душу от мысли утратить и то немногое, что досталось нам в наследство.

И. ФИЛИППОВА

ИВАН БУНИН

ДОМ В ХАМОВНИКАХ



На другой день вечером я, вне себя, побежал наконец в Хамовники...

Как рассказать все последующее?

Лунный морозный вечер. Добежал, стою и едва перевожу дыхание. Кругом глушь и тишина, пустой лунный переулок. Передо мной ворота, раскрытая калитка, снежный двор. В глубине, налево, деревянный дом, некоторые окна которого красновато освещены. Еще левее, за домом, — сад, и над ним тихо играющие разноцветными лучами сказочно-прелестные зимние звезды. Да и все вокруг сказочное. Какой особый сад, какой необыкновенный дом, как таинственны и полны значения эти освещенные окна: ведь за ними — Он! И такая тишина, что слышно, как колотится сердце — от радости, и от страшной мысли: а не лучше ли поглядеть на этот дом и бежать назад? Отчаянно кидаюсь наконец во двор, на крыльцо дома и звоню. Тотчас же отворяют — и я вижу лакея в плохоньком фраке и светлую прихожую, теплую, уютную, с шубками и шубами на вешалке, среди которых резко выделяется старый полушубок. Прямо передо мной крутая лестница, крытая красным сукном. Правее, под нею, запертая дверь, за которой слышны гитары и веселые молодые голоса, удивительно беззаботные к тому, что они раздаются в таком совершенно необыкновенном доме.

— Как прикажете доложить?

— Бунин.

— Как-с?

— Бунин.

— Слушаю-с.

И лакей убегает наверх и, к моему удивлению, тотчас же, вприпрыжку, бочком, перехватывая рукой по перилам, сбегает назад:

— Пожалуйте обождать наверх, в залу...

А в зале я удивляюсь еще больше: едва вхожу, как в глубине ее, налево, тотчас же, не заставляя меня ждать, открывается маленькая дверка, и из-за нее быстро, с неуклюжей ловкостью выдергивает ноги, выныривает, — ибо за этой дверкой было две-три ступеньки в коридор, — кто-то большой, седобородый, слегка как будто кривоногий, в широкой, мешковато сшитой блузе из серой бумазеи, в таких же штанах, больше похожих на шаровары, и в тупоносых башмаках. Быстрый, легкий, страшный, остроглазый, с насупленными бровями. И быстро идет прямо на меня, — меж тем, как я все-таки успеваю заметить, что в его походке, вообще во всей посадке, есть какое-то сходство с моим отцом,— быстро (и немного приседая) подходит ко мне, протягивает, вернее, ладонью вверх бросает большую руку, забирает в нее всю мою, мягко жмет и неожиданно улыбается очаровательной улыбкой, ласковой и какой-то вместе с тем горестной, даже как бы слегка жалостной, и я вижу, что эти маленькие серо-голубые глаза вовсе не страшные и не острые, а только по-звериному зоркие. Легкие и жидкие остатки серых (на концах слегка завивающихся) волос по-крестьянски разделены на прямой пробор, очень большие уши сидят необычно высоко, бугры бровных дуг надвинуты на глаза, борода, сухая, легкая, неровная, сквозная, позволяет видеть слегка выступающую нижнюю челюсть...

— Бунин? Это с вашим батюшкой я встречался в Крыму? Вы что же, надолго в Москву? Зачем? Ко мне? Молодой писатель? Пишите, пишите, если очень хочется, только помните, что это никак не может быть целью жизни... Садитесь, пожалуйста, и расскажите о себе...

Он заговорил так же поспешно, как вошел, мгновенно сделал вид, будто не заметил моей потерянности, и торопясь вывести меня из нее, отвлечь от нее меня.

Что он еще говорил?

Все расспрашивал:

— Холосты? Женаты? С женщиной можно жить только как с женой и не оставлять ее никогда... Хотите жить простой, трудовой жизнью? Это хорошо, только не насилуйте себя, не делайте мундира из нее, во всякой жизни можно быть хорошим человеком.

Мы сидели возле маленького столика. Довольно высокая старинная фаянсовая лампа мягко горела под розовым абажуром. Лицо его было за лампой, в легкой тени, я видел только мягкую серую материю его блузы, да его крупную руку, к которой мне хотелось припасть с восторженной, истинно сыновьей нежностью, да слышал его старческий, слегка альтовый голос, с характерным звуком несколько выдающейся челюсти... Вдруг зашуршал шелк, я взглянул, вздрогнул, поднялся: из гостиной плавно шла крупная и нарядная, сияющая черным шелковым платьем, черными волосами и живыми, сплошь темными глазами дама:

— Леон, — сказала она, — ты забыл, что тебя ждут...

И он тоже поднялся и с извиняющейся, даже как бы виноватой улыбкой, глядя мне прямо в лицо своими маленькими глазами, в которых была какая-то темная грусть, опять забрал мою руку в свою:

— Ну, до свидания, до свидания, дай вам бог, приходите ко мне, когда опять будете в Москве... Не ждите многого от жизни, лучшего времени, чем теперь у вас, не будет... Счастья в жизни нет, есть только зарницы его — цените их, живите ими...

И я ушел, убежал и провел вполне сумасшедшую ночь, непрерывно видел его во сне с разительной яркостью, в какой-то дикой путанице...

Возвратясь в Полтаву, я писал ему и получил от него несколько ласковых ответных писем. В одном из них он опять давал мне понять, что не стоит мне так уж стараться быть толстовцем, но я все-таки не унимался: обручи набивать бросил, но стал торговать книжками «Посредника», — московского толстовского издательства, завел полтавское отделение его. Да, как это ни странно, я когда-то торговал: когда-то в Полтаве была лавочка, внутри которой очень хорошо пахло новыми тесовыми полками и лежащими на них новыми книжками и брошюрами, а над входом висела вывеска: «Книжный магазин Бунина». Я служил тогда в полтавской земской управе, был ее библиотекарем, сидел в сводчатом полуподвальном зале, в глубокие окна которого глядел старый сад управы. Там я, один, в тиши, читал, писал стихи, порой работал над составлением очерков (о борьбе с вредными насекомыми, об урожае хлебов и трав), которые мне заказывало статистическое бюро, бывшее при управе, и составил, кстати сказать, столько, что если бы собрать их теперь, к сочинениям моим прибавилось бы еще три-четыре порядочных тома. Так я проводил время до обеда. А после обеда шел в свой книжный магазин и ждал покупателей, жаждущих толстовского просвещения. Покупателей, однако, не было, и вот я, чтобы хоть как-нибудь способствовать распространению этого просвещения, стал бесплатно раздавать некоторые брошюрки «Посредника» управским сторожам. Когда же и из этого не вышло ничего путного, — например, один сторож, которому я дал брошюрку о вреде курения, сказал мне после того, что вся брошюрка эта пошла у него на тютюн, на цигарки, — я решился на более смелое дело: стал иногда, пользуясь свободой своей службы, отправляться в странствия по губернии, торговать «Посредником» по ярмаркам, по базарам, где и был однажды задержан урядником «на предмет составления протокола за торговлю без законного на то разрешения», каковой протокол, конечно, повлек за собой через некоторое время судебное преследование. Преследование оказалось довольно сурово: меня приговорили к трем месяцам тюремного заключения, и я был, понятно, очень рад, что наконец-то и мне удастся «пострадать». Однако и тут преследовала меня неудача: сидеть в тюрьме мне не пришлось, — я попал под всемилостивейший манифест по случаю восшествия на престол нового императора и таким манером от страданий был насильственно избавлен.

Бросив торговлю (в которой я так запутал счеты, несмотря на их малые размеры, что порою подумывал повеситься от стыда, от беспомощности), я переехал на жительство в Москву, но и там все еще пытался уверить себя, что я брат и единомышленник руководителей «Посредника» и тех, что постоянно торчали в его помещении, наставляя друг друга насчет «доброй жизни».

Там-то я и видел его еще несколько раз, он туда иногда заходил, вернее, забегал (ибо он ходил удивительно легко и быстро), и, не снимая полушубка, сидел час или два, со всех сторон окруженный «братией», делавшей ему порою такие вопросы:

— Лев Николаевич, но что же я должен был бы делать, неужели убивать, если бы на меня напал, например, тигр?

Он в таких случаях только смущенно улыбался:

— Да какой же тигр, откуда тигр? Я вот за всю жизнь не встретил ни одного тигра...

Сыновей его я в ту пору еще никого не знал и не видал. Дочерей видел. Однажды вечером застал в «Посреднике» и его, и их, всех трех: Таню, старшую, Машу, среднюю, и Сашу, младшую. Он сидел возле большого деревянного стола, занимавшего середину комнаты и освещенного сверху висячей лампой, зябко ежился, запустив руки в рукава своего старого нагольного полушубка и положив их на стол, и слегка нахмурился, слушая стоявших вокруг и что-то говоривших сотрудников «Посредника», из которых резко выделялись двое: один небольшой, широкоплечий, широкоскулый, похожий на сельского учителя, в серой блузе и в валенках, с острым, сумасшедшим взглядом за очками, другой, высокий, стройный, страстно-мрачный красавец с черно-синими волосами и совершенно безумным, экстатическим выражением смуглого, худого лица. А они все сидели на диване в углу и пристально смотрели оттуда блестящими молодыми глазами. Когда я присел к столу, они с любопытством стали глядеть на меня, начали что-то шептать друг другу и смеяться: живо и насмешливо взглянут на меня, что-то тихо скажут одна другой и покатятся со смеху. Я недоумевал: в чем дело, что смешного нашли они во мне? И стал краснеть, делать вид, что не замечаю их, как вдруг он быстро взглянул на меня, весело улыбнулся и, не оборачиваясь, строго и шутливо крикнул:

— Перестаньте смеяться!

Вспоминаю еще, как однажды я сказал ему, желая сказать приятное и даже слегка подольститься:

— Вот всюду возникают теперь эти общества трезвости...

Он сдвинул брови:

— Какие общества?

— Общества трезвости...

— То есть это когда собираются, чтобы водки не пить? Вздор. Чтобы не пить, незачем собираться. А уж если собираться, то надо пить. Все вздор, ложь, подмена действия видимостью его.

А на дому я был у него еще только один раз. Меня провели через залу, где я когда-то впервые сидел с ним возле милой розовой лампы, потом в эту маленькую дверку, по ступенькам за ней и по узкому коридору, и я робко стукнул в дверь направо.

— Войдите, — ответил старческий альтовый голос.

И я вошел и увидал низкую, небольшую комнату, тонувшую в сумраке от железного щитка над старинным подсвечником в две свечи, кожаный диван возле стола, на котором стоял этот подсвечник, а потом и его самого, с книгой в руках. При моем входе он быстро поднялся и неловко, даже, как показалось мне, смущенно бросил ее в угол дивана. Но глаза у меня были меткие, и я увидел, что он читал, то есть перечитывал (и, вероятно, уже не в первый раз, как делаем это мы, грешные) свое собственное произведение, только что напечатанное тогда, — «Хозяин и работник». Я, от восхищения перед этой вещью, имел бестактность издать восторженное восклицание. А он покраснел, замахал руками:

— Ах, не говорите! Это ужас, это так ничтожно, что мне по улицам ходить стыдно!

Лицо у него было в этот вечер худое, темное, строгое: незадолго перед тем умер его семилетний Ваня. И после «Хозяина и работника» он тотчас заговорил о нем:

— Да, да, милый, прелестный мальчик был. Но что это значит — умер? Смерти нет, он не умер, раз мы любим его, живем им!

Бунин И. А. Освобождение Толстого. Собр. соч. в 9 т., т. 9.



больше этой полиции, принужденной терпеть «огромный общественный подъем», тем лучше...

В те дни нам уже стало известно с достаточной точностью, — от Сергея Львовича, старшего сына его, постоянно жившего в Москве и только что вернувшегося из Ясной Поляны, — что именно «переполнило чашу терпения Льва Николаевича» и как он бежал. Все это было то самое, что апоследствии столько раз описывали и что Сергей Львович узнал от Александры Львовны. И я помню, как я, слушая, минута за минутой переживал в воображении эту иочь с 27 иа 28 октября: ведь эта ночь была еще так близка, ведь с этой ночи прошло тогда всего две недели...

Говорили общеизвестное теперь: бежал потому, что за последний год был особеино замучен жеиой и некоторыми сыновьями из-за слухов, что написал завещание, в котором отказался от авторских прав уже на все свои сочииения. Говорили, что Софья Аидреевна с психопатической настойчивостью добивалась узнать, правда ли, что существует такое завещаиие, — она уже давно чувстаовала, что вокруг нее происходит что-то тайиое, что Лев Николаевич с Александрой Львовной ведут какие-то сокровенные дела: имеют какие-то письменные и устные переговоры с Чертковым и его помощниками, где-то видятся с ними, прячут от иее какие-то бумаги и новые днеаники Льва Николаевича... Целью ее жизни стала с тех пор слежка за иим, искание по дому этих бумаг и дневников...

Алексаидра Львовна просиулась в ночь с 27 на 28 октября от его легкого стука в дверь и услыхала его прерывающийся голос: «Саша, я сейчас уезжаю». Он стоял в своей серой блузе, со свечой в руке, и лицо у него («розовое») было «светло, прекрасно и полно решимости». Сергей Львович рассказывал: отец весь дрожал, как попало собираясь при помощи Александры Львовны в дорогу, — «только самое необходимое, Саша, да карандаши и перья, и никаких лекарств!» — руки его прыгали, затягивая ремни чемодана... Потом он побежал на конюшню будить работииков, велел запрягать лошадей. Ночь была серая, холодная и непроглядная, он в темноте заблудился, попал в какие-то кусты, чуть не аыколол глаз, потерял шапку... Вернувшись в дом и надев другую, опять побежал, светя себе электрическим фонариком, в конюшню, стал помогать запрягать и, все больше дрожа от страха, что вот-вот проснется Софья Андреевна, едва мог иадеть иа лошадь уздечку, потом обессилел: бросил помогать, отошел в угол каретного сарая, слабо освещенного огарком свечи, и в полном изнеможеиии сел на что-то в полутьме... На ием была а эту ночь старая вязаная шапка, — может быть, все та же самая, в которой

Вскоре мы вышли и пошли в «Посредник». Была черная мартовская ночь, дул ветер, раздувая огни фонарей. Мы бежали наискось по снежному Девичьему Полю, он прыгал через канавы, так что я едва поспевал за ним, и опять говорил — отрывисто, строго, резко:

— Смерти нету, смерти нету!

Через иесколько лет после этого я видел его еще рвз. Как-то в страшно морозный вечер, среди огней за сверкающими, обледенелыми окнами магазинов, шел в Москве по Арбату — и неожиданно столкнулся с ним, бегущим своей пружинной походкой прямо навстречу мне. Я остановился и сдернул шапку. Он сразу узнал меня:

— Ах, это вы! Здравствуйте, здравствуйте, надевайте, пожалуйста, шапку... Ну, как, что, где вы и что с вами?

Старческое лицо его так застыло, посинело, что имело совсем несчастный вид. Что-то вязаное из голубой песцовой шерсти, что было на его голове, было похоже на старушечий шлык. Большая рука, которую он вынул из песцовой перчатки, была совершеино ледяная. Поговорив, он крепко и ласково пожал мою, опять глядя мие в глаза горестно, с поднятыми бровями:

Ну, Христос с вами, Христос с вами, до свидания...

Не помню, в каком именио году видел я его в этот зимний вечер в Москве на Арбате. О чем мы говорили, тоже не помню. Помню только, что во время этого короткого разговора он спросил меня, пишу ли я что-нибудь? Я ответил:

— Нет, Лев Николаевич, почти не пишу. И все, что прежде написал, кажется теперь таким, что лучше и не вспоминать.

Он оживился:

— Ах, да, да, прекрасно знаю это!

— Да и нечего писать, — прибавил я.

Он посмотрел на меня как-то нерешительно, потом точно вспомнил что-то.

— Как же так нечего? — спросил он. — Если нечего, напишите тогда, что вам нечего писать и почему нечего. Подумайте, почему именно нечего, и напишите. Да, да, попробуйте сделать твк, — сказал он твердо.

Так видел я его в последний раз. Часто потом говорил себе: непременно надо хоть однажды увидать еще, ведь, того гляди, это станет невозможно, — и все не решался искать новой встречи. Все думал: зачем я ему? Когда разнеслась весть, что его уже нет на свете, я был в Петербурге. Тотчас подумал: ехать, увидать еще раз, хоть в гробу! — но удержало какое-то необъяснимое чувство: нет, этого не надо.

Я вскоре возвратился в Москву. Там только и было разговору, что о нем. Те, что были иа его похоронвх, рассказывали, «какое это было удивительно грандиозное зрелище, истинно народное, несмотря на все меры, предпринятые правительством, дабы помешать ему быть таким», как везли тело со станции Астапово на Козлову Засеку, как, в сопровождении огромной толпы, иа руках несли гроб по полям к Ясной Поляне, и и рад, что ничего этого не видел собственными глазами: хоронили его «благодарные крестьяне», хоронила «студенческая молодежь» и «вся русская интеллигенция», — общественные деятели, адвокаты, доктора, журналисты, — люди, чуждые ему всячески, восхищавшиеся только его обличениями церкви и правительства и на похороиах испытавшие в глубине душ даже счастье: тот экстаз театральности, что всегда охватывает «передовую» толпу на всяких «гражданских» похоронах, в которых всегда есть некоторый революциоиный вызов и это радостное сознание, что вот настал такой миг, когда никакая полиция не смеет ничего тебе сделать, когда чем

я видел его на Арбате, — старая синяя поддевка, старые вязаные перчатки, старые калоши... А 7 ноября, уже на смертном ложе, — серая фланелевая блуза, серенькие штаны, серые шерстяные чулки и ночные туфли...

Ужасно было в то время читать газеты с их пошлой торжественностью:

— С 10 часов 7 ноября разрешили входить в ту комнату, где лежало тело великого старца, всем желавшим поклониться ему. Железнодорожники убрали его ложе ветками можжевельника и возложили первый венок с трогательной надписью: «Апостолу любви». Потом стали подходить крестьяне из соседних деревень, деревенские школьники; многие родители приводили детей, чтобы они видели и всю жизнь вспоминали потом лицо великого защитника всех трудящихся и обремененных...

— В полдень организовали первую гражданскую панихиду. Толпа пела «вечную память»...

На другой день гроб поставили в товарный вагон, убранный соломенными венками и хвойными ветками, и поезд, переполненный родными и близкими, друзьями и поклонниками, представителями общественности и печати, медленно тронулся...

«Приехав в день похорон в Ясную Поляну с журналистом Поповым, — писал в «Русских ведомостях» поэт Брюсов, — мы пошли к усадьбе пешком... Вот фруктовый сад, посаженный Толстым, вот крытая аллея, где он любил сидеть отдыхать, а вот и рощица, где вырыта для него могила... Дальше — типичная усадьба деревенских даорян, простой двухэтажный дом... Во дворе усадьбы — толпы народу, студенты, курсистки, фотографы... В парке повсюду конные стражники и конные казаки... Откуда-то издали уже слышится хоровое пение приближающегося кортежа:

— Несут!

Кортеж приближался. Впереди идут крестьяне, несущие на древках полотнище, на котором начертано: «Лев Николаевич, память о том добре, которое ты делал нам, никогда не умрет в нас, осиротевших крестьянах Ясной Поляиы». За ними — простой дубовый гроб, который несут на руках открытым. Еще дальше три телеги с венками»...

Тем же тоном рассказывается и дальнейшее:

«В сумерки опять растворяются двери дома. И тихо, медленно выносят гроб.

Несут сыновья.

Кто-то начинает «вечную память». Пение подхватывается всей толпой, даже теми, кто никогда в жизни не пел.

В эту минуту этот хор — Россия.

— На колени!

И вся толпа, на всем пути гроба, опускается на колени...»

Фото ПАВЛА КРИВЦОВА

ПО ЛИЧНЫМ ВОСПОМИНАНИЯМ

Н. ЛЬВОВ

Я знал Толстого в годы моей юности. Я учился с его сыном Ильей в Поливановской гимназии в Москве. Мы жили на Смоленском бульваре, Толстые недалеко от нас в Хамовниках.

Толстой часто проезжал мимо нашего дома верхом на иноходце. Мы, дети, всякий раз выбегали к окну нашей классиой комнаты, отрываясь от занятий, чтобы взглянуть на него.

Бывало, он остановится около нашего подъезда, передаст свою лошадь извозчику Ивану, стоявшему на углу переулка, и входит к нам. С моим отцом он был знаком еще издавна, с молодых лет. Случалось, что Толстой вдруг зачастит к нам, чуть ли не каждый день, а то не показывается целыми месяцами.

Как сейчас вижу его перед собой со всклокоченной бородой, в чериой рубашке, подпоясанной ремешком (это было уже начало опрощения). По внешнему виду он походил на торгоаца или природного мужика, но по манере держать себя, по говору в нем сказывался большой барин.

Толстой и был таковым. Он принадлежал к тому высшему кругу русского даорянства, которое перед своим увяданием дало самый пышный цвет утонченной аристократической культуры.

Впитав в себя всю западноевропейскую культуру (для них и Шекспир и Гете были своими, а не чужими), они, подлинные европейцы и аристократы по духу, оставались тем не менее глубоко русскими — вопреки общераспространенному мнению.

Толстой был барин, но вместе с тем он был по всему своему складу природный русский мужик. Таких, как он, мы могли найти и среди сектаитов в глухих захолустьях, и среди торгового люда в Заволжье, и среди странииков и бродяг на большой дороге.

Толстой не рядился под мужика, он им был. Нижняя часть его лица поражала своею грубостью; мясистая, чувственная, неуклюжая: широкие челюсти, скулы, толстый нос, но глаза Толстого, эти глубокие глаза, блуждающие из-под нависших бровей, производили неизгладимое впечатление. Кто раз их видел, никогда их не забудет. В них сквозило какое-то томление страдания, обреченность.

В это время начала 80-х годов Толстой начинал уже мучиться своими думами, но еше не перешел за грань Толстого «Войны и мира» и «Анны Карениной».

В нем еще боролись два человека.

Он жил в купленном своем барском особняке с большим садом в Хамовническом переулке, в обстановке богатого дома, которую осуждал, но с которой, тем не менее, не был в силах порвать. Его жена и дочь ездили на балы, принимали у себя гостей. Толстой среди всех своих сомнений сам не раз поддавался, казалось бы, странным увлечениям. Так, он вдруг пристрастился к игре в винт и целые вечера проводил за карточным столом.

Он отдал своих сыновей в гимназию, а между тем приходил к нашему директору Л. И. Поливанову доказывать ему всю ненужность образоваиия.

Толстой, продолжая жить не только в условиях достатка, но и роскоши, проповедовал всю гибельность богатства и сытости и необходимость опрощения.

Я говорил, что Толстой часто заходил к моему отцу. Их сближала между собой одинаковая религиозная настроенность.

Отец мой получил от жизни все, чего может желать человек: красоту, богатство, высокое общественное положение, независимость, семеиное счастье, и тем не менее, так же, как и Толстого, его влекло от этой жизни что-то другое. Он не умел сойти на землю и наслаждаться ее благами.

Один из крупнейших землевладельцев в России, мой отец не только не дорожил своим богатством, но тяготился им. Особенно его тяготили отношения с крестьянами нашего родового имения Саратовской губернии.

Газета «Возрождение», Париж, 27.09.1928.

И вот Толстой убеждал моего отца отдать всю землю крестьянам.

Помню, как однажды Толстой, сидя в кресле в кабинете моего отца, среди горячего спора вынул из кармана Евангелие и стал вслух читать Нагорную проповедь. Он произносил каждое слово с такою силою убеждения в правде этого слова... Крупные слезы капали из его глаз. Его волнение невольно передавалось тем, кто его слушал. Никогда не забуду того неотразимого впечатления, которое оставил во мне этот шестидесятилетний старик, читавший в слезах проповедь Христа.

«Блаженны нищие духом», — начал Толстой и продолжал все так же напряженно читать, как будто он впервые, только что был охвачен истиной евангельского слова. Толстой плакал, так глубоко он чувствовал

Другой раз мне как-то пришлось зайти к Илье. В комнату, где мы сидели, вошел Лев Николаевич со старшим сыном Сергеем. И тут же при нас они продолжали свой разговор. Неожиданно я услышал из уст того же самого Толстого, перед которым благоговел, такие слова, которые меня, пятнадцатилетнего мальчика, резанули, точно ножом.

Толстой говорил о рождении Христа, доказывая, что Христос такой же человек, как и все мы. Грубая реальность его выражений была настолько циничной, что хотелось заткнуть себе уши, убежать из комнаты, чтобы не слышать его. Но Толстой и не заметил нашего смущенья и всей неловкости говорить такие вещи при детях и продолжал приводить доказательства своего мнения с упрямой настойчивостью, точно ему ни до кого не было дела.

Это был какой-то другой Толстой, жесткий, тяжелый, внушающий к себе неприязненное, враждебное чувство.

Нет, это был один и тот же человек. В страданиях, с невероятным напряжением искал Толстой правды во что бы то ни стало. Он был резок, жесток, неумолим: ему нужна была вся правда, хотя бы правда эта была ужасна.

Нашел ли он ее? Нет. Но он искал со всею искренностью и пламенностью, искал, мучился, терзался, мучил своих родных, близких, искал и не нашел.

В этих страданиях все значение Льва Толстого. Отымите эти страдания — и от учения Толстого не останется ничего.

В трагизме между поставленными страшными вопросами и неумением разрешить их — весь смысл толстовского учения.

Толстого можно понять, и, несмотря на все его заблуждения, перед Толстым невольно обнажаешь голову. Это могучий вековой дуб, высоко поднявший свою вершину к небу, со всеми его болезненными наростами, с корявыми, сухими ветаями, с раскрытым, черным дуплом.

Но кого нельзя понять, так это толстовцев. Те, которые думают, что Толстой раскрыл всю правду и нашел истинный путь, находятся в печальном заблуждении.

По Толстому не только нельзя жить, но нельзя и спасаться, по Толстому можно только бесплодно страдать.

О. ВАСИЛЬЕВ

ОБРАЗОК



I

После смерти Толстого графиня Софья Андреевна неожиданно очутилась у русского общества на положении «опальной». Ей вменяли в вину все: «уход» Толстого из Ясной Поляны, его болезнь, даже преждевременную смерть на глухой железнодорожной станции. По адресу ее сыпались нелестные эпитеты включительно до Ксантиппы. Ее называли светски-бездушной, не понимавшей своего великого мужа.

Я не был ни противником, ни сторонником жены великого русского писателя. Но кое-что в отношении к ней меня все же коробило. Мне казалось крайней жестокостью недопущение прибывшей на станцию Софьи Андреевны к умирающему мужу. Моя совесть с этим фактом как-то не мирилась. Мне казались, наконец, в высшей степени бестактными и бессердечными, тотчас же после смерти Толстого, эти грубые попреки его жене, прожившей с ним более сорока лет... Много раз мне хотелось побывать у «опальной» яснополянской отшельницы и проверить личным впечатлением суждения о ней, но все не было повода. И вот, наконец, он явился.

Был первый год войны. Стоял ноябрь. Московское Толстовское Общество, членом которого я состоял, решило в годовщину смерти Толстого не устраивать обычного годичного заседания, посвященного его памяти, «ввиду отрицательного отношения Толстого к войне», но предложило членам в день смерти отправиться в Ясную Поляну на могилу. Я решил воспользоваться «поводом» поехать.

В образовавшуюся для поездки небольшую компанию, кроме меня, вошли: известный московский скульптор, автор статуи-монумента Толстого, ныне поставленного при большевиках в Москве; молодая петербургская художница; один московский архитектор; старый, популярный артист Московского Художественного Театра. Был с нами еще сотрудник «Русского Слова», служивший в последние годы постоянным рупором Ясной Поляны. В одном поезде ехал также старший сын Толстого — Сергей Львович. В отличие от нас он ехал не во втором классе, а в первом, вероятно, по старой барской привычке, но во время пути пересел к нам и не покидал нас до глубокой ночи.

Газета «Возрождение», Париж, 17.12.1929.

Пользуясь присутствием среди нас первенца великого писателя, тогда также уже старика, мы, разумеется, хотели навести его на какие-либо воспоминания о своем великом отце, но удавалось это плохо. Сергей Львович охотнее говорил о военных злобах дня, — он был очень патриотически, антинемецки настроен, — чем о своем отце. Впрочем, нам удалось кое-что услышать от него, хотя и не столь значительное. В связи с тогдашним отношением к немцам он сказал нам, что отец его, конечно, ни к каким немцефобам не примкнул бы на том простом основании, что вообще никакая «фобия» для него неприемлема, он был даже большим поклонником немцев, их литературы, философии. Кант был его любимцем, немецкий романист Ауэрбах оказал на него огромное влияние. Роман «Die Neue Zeit», в котором молодой светский человек уходит от роскоши светской жизни, сильно содействовал выработке его нового миросозерцания.

II

Выехав из Москвы вечером, мы прибыли на станцию Козловская Засека рано утром. Нас встретила ужасная ноябрьская погода: пурга, дождь, холод, слякоть. У станции дожидались высланные из имения за нами два экипажа, которыми правили Адриан и Филька, те самые, которые еще незадолго перед тем отвозили Толстого на станцию для следования в дальний путь, откуда он уже не вернулся. Это были уже почтенные, бородатые мужики, и имя Филька никак не вязалось с одним из них. Очевидно, так называли его с давних пор, по старой памяти.

Со станции мы поехали прямо на могилу. Путь лежал сквозь пургу, дождь, ветер. Легко представить наше повышенное настроение в эту минуту: мы ехали на могилу Толстого! Живо представлялась ночь, в которую «уходил» Толстой из дому, она была так же ненастна. В довершение сходства нас везли те же Адриан и Филька.

Пока мы доехали, погода немного исправилась. Пред нами возник невысокий холм, возвышающийся у самого края оврага, покрытый пожелтевшим дерном, осыпанный свежим ельником. Несколько астр, явно свежего происхождения, было разбросано на нем. Со дна оврага поднимался сизый туман, за которым прятался чахлый оголенный лесок. Простой могильный холм на фоне простого, убогого, подлинно русского пейзажа производил почти величественное впечатление. Именно такова должна быть могила Толстого!

Мы постояли недолго, обнажив головы, и, простившись, уехали в усадьбу, к Софье Андреевне. Менее, чем через полчаса, мы были уже на месте, и я с чувством большого волнения входил в покои Толстого.

Передо мной был типичный русский помещичий дом средней руки. Ничего выдающегося, ничего особенного, никакой роскоши. Так жило многое множество зажиточных интеллигентных семей на Руси и, в частности, в Москве. А между тем, как много писали и говорили о «роскоши» жизни Толстых...

Из большой светлой передней с традиционным рундуком нас провели в довольно большую, очень скромно обставленную столовую, любимую комнату семейства Толстых. Здесь всегда собиралось оно, здесь Толстой нередко играл в шахматы, либо в винт с кем-либо из приезжих. Единственной «роскошью» обстановки было несколько портретов хозяина дома работы крупных мастеров, в том числе Крамского, да стоящая на особом постаменте чудесная статуэтка работы князя Трубецкого «Толстой на лошади» — подарок самого скульптора. Вот и вся «роскошь» столовой Толстых.

Не прошло и пяти минут, как послышались шаги и вошла живой, бойкой походкой женщина уже немолодая, но прекрасно сохранившаяся. Ей можно было дать лет 50, а между тем вошедшей шел уже седьмой десяток: Софья Андреевна. Кто-то из нас не удержался и сделал ей комплимент.

Мне всегда давали на десять лет меньше, чем в действительности, — ответила она. — Это оттого, что я всегда чем-нибудь увлечена. Просыпаясь утром, я всегда с интересом думаю о том, что меня ожидает. Мой секрет молодости такой: меньше есть, больше спать и всегда чем-нибудь сильно интересоваться.

Она приветливо и радушно пригласила за чайный стол, который был уже сервирован. Опять все было очень просто, скромно, без тени какой-либо изысканности. Разливая чай, она неумолчно и оживленно рассказывала, — сначала о том, что она только что перед нами была на могиле, потом о последней яснополянской злобе дня — аресте бывшего секретаря Льва Николаевича, Булгакова, и юного «толстовца» Сергеенко за пропаганду антимилитаристических идей, наконец о более радостной новости — о полученном ею разрешении на доступ к дневникам ее мужа в Румянцевском музее. Об этом она много хлопотала, и много было на пути ее препятствий. Рассказывая, Софья Андреевна все время буквально горела, и, глядя на ее раскрасневшееся, оживленное лицо, думалось: «У этой женщины и впрямь есть секрет вечной молодости».

От полученного разрешения на доступ к «дневникам» разговор естественно перешел к Черткову и опять вся она загорелась, но уже другим — чем-то темным и недобрым. Да и как могло быть иначе? Этот человек доставил ей столько тяжелого, причинил так много страданий. Но и в негодовании и гневе она сумела сохранить меру, не выйдя ни на секунду из границ дозволенного и принятого в хорошем, культурном доме. Сказывались врожденный такт и школа хорошего, подлинно светского воспитания.

III

Когда чай был окончен, Софья Андреевна просто и мило сказала нам:

— Не хотите ли, господа, познакомиться с домом Льва Николаевича?

Мы конечно, не отказались.

Живой, бойкой походкой она пошла вперед и привела нас сначала в спальню, а затем в кабинет Толстого. Спальня была еще не вполне убрана из-за раннего утреннего часа; Софья Андреевна очень извинилась и сказала:

В последние годы Лев Николаевич уже здесь не спал, а переселился в кабинет, где устроил себе постель.

В больших, серых глазах Софьи Андреевны мелькнула легкая тень не то печали, не то горечи, но голос не выдал ни одной нотой происходившего в ее душе. Так же спокойно и почти бесстрастно она сказала:

— В эту ночь также я была здесь, а он там, у себя.

Она помолчала и, уловив живой интерес на наших лицах, продолжала:

— Было так... Я очень заработалась в ту ночь... Был уже третий час, когда я кончила... Каждую ночь перед тем, как ложиться спать, я обыкновенно заходила к Льву Николаевичу посмотреть, как он спит, а если не спит, узнать, как чувствует себя... проститься с ним... И на этот раз так же поступила... Пришла к нему в кабинет... Вижу, он не спит и тяжело ворочается на постели. «Что с тобой?» — спрашиваю у него. «Изжога у меня», — ответил Лев Николаевич, но таким суровым, сердитым голосом, что мне стало не по себе. Не желая его раздражать, я ничего не сказала и вышла. Вернулась к себе, легла и уснула, как всегда оставив дверь спальни открытой. Это я делала для того, чтобы всегда знать, что происходит у Левушки. А когда я утром проснулась, Льва Николаевича уже не было...

Софья Андреевна опять немного помолчала, как бы что-то припоминая или проверяя наши впечатления, и сказала:

— Перед тем, как уйти, Лев Николаевич подошел к дверям спальни, прикрыл их, боясь, чтобы я не услыхала и не проснулась...

Я не выдержал и спросил:

— Скажите, Софья Андреевна, а до этого Лев Николаевич не пытался уходить?

— О, много раз! — воскликнула она. — Лев Николае-



Фото ПАВЛА КРИВЦОВА.

вич всю жизнь от меня уходил. Конечно, только грозил. Я, бывало, расплачусь, он рассердится и этим все дело кончится...

Мы перешли в кабинет Толстого. Не без волнения вступил я в комнату. Она была до чрезвычайности скромна. Вне всякого сомнения, кабинет любого столичного адвоката или доктора средней величины был до революции куда импозантнее и богаче.

IV

Осмотрев простой письменный стол, огромный старомодный диван, стоявший когда-то в детской Льва Николаевича, мы подошли к стоявшей в углу за выпятившейся стеной деревянной постели. Здесь спал Толстой...

Над кроватью, довольно высоко висела простая деревянная полка, заполненная книгами. Кто-то из нас обратил внимание на нее, и Софья Андреевна живо сказала:

— Здесь иностранные издания сочинений Льва Николаевича, а раньше, в первое время нашей жизни, на полке стояли наши иконы. Лев Николаевич велел их потом убрать, но впрочем, один образок оставил тайно от меня...

Мы невольно переглянулись. Софья Андреевна заметила наш взгляд и весело, оживленно сказала:

— Да, один образок Лев Николаевич спрятал от меня... тот, которым благословил его когда-то Филарет и который находился с ним в Севастопольской кампании... Я обнаружила это так... Однажды вскоре после переноса сюда своей спальни я как-то зашла к Левушке, когда он был чем-то болен и лежал в постели. Я увидела на полке плохо убранную пыль и, взяв тряпку, полезла вытирать полку, но Левушка вдруг приподнялся и, схватив меня за руку, быстро сказал: «Не надо, Соня». Я не послушалась и продолжала вытирать и вдруг нащупала глубоко спрятанный за книгами какой-то твердый предмет. Вытащила: он оказался маленькой старенькой иконой Льва Николаевича...

Софья Андреевна быстрым, совсем молодым движением поднялась на постель и извлекла с полки потемневший образок.

— Вот... — сказала онв, — этот самый...

Мы стояли в некотором замешательстве. Что это? Разоблачение непоследовательности Толстого? Нет, нисколько! Просто большая любовь его к прошлому, ко всему, что касалось их долгой жизни, наконец, горячее рвение к сохранению всех деталей, даже мелочей из жизни мужа.

Через минуту мы приблизились к круглому столику, с лежавшей на нем раскрытой книгой. Это был роман Достоевского «Братья Карамазовы», раскрытый на странице свидания Алеши со старцем Зосимой. Эти страницы перечитывал Толстой в ночь перед уходом и на них осталась книга раскрытой после него. Конечно, выходило немножко театрально и по-музейному, что все еще до сих пор лежала на столике раскрытой на этой странице книга, но можно ли было винить Софью Андреевну за это, быть может, излишнее усердие? Известно, как она в эти годы страстно собирала всякие реликвии своего мужа. На свой яснополянский дом она смотрела, как на бывшее жилище Льва Николаевича и еще при жизни своей создавала из него памятник.

V

На этом окончился наш обзор, вскоре мы покинули бывшую долголетнюю обитель Толстого. Уезжая, я уносил сложные впечатления личности Софьи Андреевны, но в одном я не сомневался: в том, что Софья Андреевна была вполне достойной женой и подругой великого писателя. У нее могли быть свои недостатки, как у каждого из нас, — много, очень много было их и у самого Толстого, — но она была женщиной образованной, культурной, понимавшей значение Толстого, и до самой смерти интересной и привлекательной.

«Нет, не могла быть Софья Андреевна Ксантиппой и злым гением своего великого мужа, как пытаются изобразить ее Чертков и его сторонники, — думалось мне. Конечно, она была духовно не равна своему мужу, она была просто обыкновенная, хорошая русская женщина, из ряда так называемых «тургеневских женщин». Недаром их творец когда-то ею сильно увлекался, да и не он один, а многие другие знаменитые друзья и приятели Толстого, в том числе и поэт Фет...

Пока я так размышлял, Адриан и Филька везли нас обратно на станцию. Перед глазами был все тот же простой, неприхотливык русский пейзаж. Вдруг я увидел две бредущие пешком, по грязной дороге плохо одетые фигуры в студенческой форме. Одна из них громко крикнула нам:

— Сюда идти к могиле Толстого?

— Сюда, сюда... — ответил кто-то из нас.

Экипажи наши умчались, а две плохо одетые студенческие фигуры остались далеко позади в серости туманного ненастного дня.

Публикация ИГОРЯ ХАБАРОВА.

И. Д. СЫТИН

ПОСРЕДНИК

В 80-х годах прошлого столетия Л. Н. Толстой выступил с горячим призывом начать издание для народа лучших произведений русской литературы. Первым откликнулся И. Д. Сытин, положивший начало нового издательства. Под девизом «Не в силе Бог, а в правде» в середине 80-х годов вышли первые книжки «Посредника». Цена их — 80 копеек за сотню — была неслыханным дотоле делом, произведшим целый переворот в народной литературе. Просветительские общества, земства, общественные деятели, учителя с энтузиазмом принялись за распространение книжек «Посредника». Их редактор И. И. Горбунов-Посадов, обращаясь к И. Д. Сытину, писал: «Вы способствовали в значительной степени тому, что, наконец-то, всколыхнулось, посветлело и оживилось сонное, застоявшееся, затянувшееся тиной лубочного хлама, темное море народной литературы».

В течение первых четырех лет было распространено около 12-ти миллионов книжек «Посредника», а если учесть, что их перепечатывали и распространяли другие издательства, эта цифра может быть с большой вероятностью доведена до 20-ти миллионов. Другая заслуга И. Д. Сытина — выпуск четырех изданий полного собрания сочинений Л. Н. Толстого. Таким образом вся Россия узнала своего великого писателя — по всему ее необъятному пространству были распространены миллионы томов этих изданий. Вот как об этом рассказывает сам И. Д. Сытин.

Шел ноябрь 1884 года. В один счастливый день в лавку зашел молодой человек в изящной дохе и предложил, не хочу ли я издавать для народа более содержательные книжки. Посредничество между авторами и издателями он берет на себя. Книжки эти будут произведения лучших авторов — Толстого, Лескова, Короленко, Гаршина и других. Издателю обойдутся они дешево. Часть литературного материала будет бесплатная. Но издавать их обязательно в одну цену с дешевыми народными книжквми. Если народные листовки продаются по 80 коп. за сотню, то и эти должны быть в ту же цену. Они должны иметь дешевого потребителя и идти взамен существующих пошлых изданий. Предлагавший эти условия был В. Г. Чертков.

С большим интересом выслушал я это предложение. Поблагодарил его за такое милое внимание к читателю лубка. Владимир Григорьевич предложил мне сейчас же издать книжки: «Чем люди живы», «Бог правду видит» Л. Н. Толстого, «Христос в гостях у мужика» Лескова и еще одну. Эта первая серия шла бесплатно. Дальнейшие книжки могли быть платными, причем авторский гонорар должен быть выше существовавшего тогда гонорара для дешевых народных книг. В то время авторам за печатный лист народных листовок платили от 3 до 5 руб., при этом рукопись приобреталась в полную собственность. Печать, бумага и другие расходы по изданию составляли 65 коп. на сотню листовок, а продавались по 80 коп. за сотню. Дальнейшие условия с В. Г. Чертковым были такие: издатель обязан уплачивать авторам гонорар, если материал платный, также и художникам за рисунки. На Черткове лежала работа по редакции, корректуре и художественной части издании. Здесь он был полный хозяин. Расходы по оплате гонорара уравновешивались бесплатным материалом, благодаря чему книжки можно было продавать не дороже лубочных. Книжки, поступившие через Черткова, были всеобщей собственностью. Издатель права собственности на них не имел. Достояние было общее.

Так начались издания «Посредника».

Делу этому я посвятил всю мою любовь, внимание и интерес. Книжки по тому времени вышли необыкновенные: дешевые, изящные, с рисунками Репина, Кившенко и других. Дешевизна их сильно влияла на распространение. Пред этим подобные книжки начал издавать Петроградский Комитет Грамотности, но по цене 7 коп. за книжку. Мы выпустили по 80 коп. за 100 штук. Успех издания увлек и Черткова. Он всей душой отдался этому делу: открыл в Петрограде контору и склад «Посредника» и привлек большую группу работников и вообще сочувствующих. Изданием дешевых книг для народа интересовались и другие просветительные учреждения, близкие нашему издательству. Многим хотелось дать народу хорошую книгу. Но все начинания кончались малыми результатами. Выходило 5—6 книжек, недоступных по цене для народа, затем начинание прекращалось. «Посредник» же неутомимо работал и в короткое время дал народу колоссальную серию великолепных, дешевых изданий, чистых по своей идее.

Наша совместная работа с Владимиром Григорьевичем продолжалась лет 15. Что это было за время! Это была не простая работа, а священнослужение. Я вел свое, развивающееся дело. Рядом шло дело «Посредника». Я был счастлив видеть интеллигентного чистого человека, так преданного просвещению народа. Чертков строго следил, чтобы ничто не нарушило в его изданиях принятого направления. Выработанная программа была святая святых всей серии. Все сотрудники относились к этому начинанию с таким же вниманием и любовью. Л. Н. Толстой принимал самое близкое участие в деле печатания, редакции и продажи книг. Много вносил ценных указании и поправок. Любил он ходить ко мне в лавку, особенно осенью, когда начинался «слет грачей», как мы называли офень, которые с первопутком трогались в путь на зимний промысел — торговлю книгами и иконами. В это время в лавке часто за раз собиралось их до 50 человек. Сами отбирали кучками книги и картины. Целый день шла работа, слышались шутки, анекдоты. В это время любил заходить в лавку Л. Н. Толстой и часто подолгу беседовал с мужичками. Он ходил в русской одежде, и офени часто не знали, кто ведет с ними беседу. Льва Николаевича всегда дружески встречал наш кассир Павлыч, большой балагур.

— Здравствуйте, батюшка Лев Николаевич, — встречал он великого писателя. — А сегодня у нас, касатик, грачи прилетели. Ишь, в лавке какую шумиху несут. Уж очень шумливый народец-то. Иван Дмитриевич им языки-то размочил, — хлебнули, теперь до вечера будут галдеть, а к вечеру, батюшка, в баню будут проситься. И водим, касатик, водим.

Лев Николаевич смеется, отходит к прилавку, в толпу:

— Здравствуйте! Ну, как торгуете?

— Ничего, торгуем помаленьку. А тебе, что же, поучиться хочется? Стар, брат, опоздал, раньше бы приходил.

Павлыч суетится, видит, что они дерзят ему, как простому мужику.

— Вы, ребята, понимаете, с кем говорите? Это ведь сам Лев Николаевнч Толстой!

— Так зачем же он оделся по-мужицки? Иль барское надоело? Дал бы нам, мы бы поносили.

Искренно, от души смеется Лев Николаевич.

— Ну, Лев Николаевич, побеседуй с нами. Мы, брат, работники, труженики. Мучаемся, таскаем вот сытинский товар всю зиму, а толку мало: грамотеев-то в деревне нет. Картинишки еще покупают, а вот насчет книг плохо

Лев Николаевич интересуется, как идут книги под девизом «Не в силе Бог, а в правде».

— По новости плохо. Таскаешь их в каждый дом. За зиму даже надоест. Спрашивают везде все пострашнее да почуднее. А тут все жалостливые да милостивые. В деревне и без того оголтелая скучища. Только и ждут, как

наш брат, балагур, придет, — всю деревню взбаламутим. Только и выезжаем на чертяке. Во какого изобразил Стрельцов[1] — зеленого и красного! Целую дюжину чертяк! На весь вечер беседы хватит. Старухи каются, под образа вешают, молятся и на чертяку косятся. Кому не надо, и то продадим. Пишите-ко, Лев Николаевич, книжечки пострашнее. Ваши берут, кто поумнее: попы, писаря, мещане на базаре. В деревне разве только большому грамотею всучишь.

— А где вы торгуете? — интересуется Лев Николаевич.

— Мы-то? Везде. По всей матушке России. Я Калужскую, он Курскую, этот Орловскую, Смоленскую, Тверскую колесит. Где кто привык. По знакомым местам, деревням и ярмаркам ездим.

Много раз такие беседы вел Лев Николаевич с офенями.

Дело «Посредника» между тем развивалось. В лавке Т-ва книжки его имели свой «иконостасик», совершенно особое филиальное отделение. В. Г. Чертков неустанно работал. Он посвятил всего себя этому делу. Я часто бывал с ним у наших литературных корифеев: Л. Н. Толстого, Н. С. Лескова, В. М. Гаршина, В. Г. Короленко и других.

Издания «Посредника» для издательства были первой дружественной ласточкой сближения народной издательской фирмы с интеллигенцией. Мне было тогда 25 лет. До 18 лет я жил в мальчиках, 7 лет затем вел живое торговое дело, которое, кроме практических торговых навыков и физической работы, ничего не давало. Сознание важности книжного дела, его великого значения было развито слабо. У каждой фирмы был один или несколько своих поставщиков литературного материала. Авторы по заказу писали на разные темы. Содержание книжек часто заимствовали из злободневных газетных фельетонов или боевых романов, которые появлялись в разных переделках и в дешевых изданиях. Писатели, уважающие себя, считали за стыд не только печататься, но даже иметь какую бы то ни было близость к Никольскому рынку. Это считалось чем-то недопустимым. И вдруг Чертков, а за ним Л. Н. Толстой, Н. С. Лесков и вся старая благородная гвардия потянулась на этот исторический рынок лубка. Все это меня страшно захватило. Я старался всеми силами ответить на душевные желания нашего нового, чистого апостола В. Г. Черткова. Дело шло. Он ликовал и радовался удаче и огромным результатам дела, его широте. Милый, дорогой Владимир Григорьевич! Только теперь, когда я внимательно оглянулся назад, чуть-чуть приподнял завесу пережитого, я почувствовал, какие райские дни, месяцы и годы были пережиты мною среди вас. Вы — мой духовный учитель, вдохновитель, воспитатель. С вами, при вас и вокруг вас росла, ширилась и крепла связь с народным издательством лучших литературных и художественных сил. Благодаря вам, вашим наставлениям и указаниям, я понял, что такое литература и что значит быть издателем книг для народа. Какая невознаградимая утрата была для меня ваш невольный переезд в Англию! Я утратил свою надежную духовную опору, к которой я так привык за 15 лет.

* * *

Когда прошли первые траурные дни, родные Толстого должны были подумать о приведении в порядок наследства Льва Николаевича. А. Л. Толстая, В. Г. Чертков и присяжный поверенный Муравьев составили особый комитет и обратились к издателю «Нивы» Марксу, к Товариществу Сытина со следующим предложением. Комитету необходимо получить 300 тысяч рублей за сочинения Л. Н. Толстого. Деньги эти нужны для выкупа Ясной Поляны у наследников Толстого, дабы передать землю в полную и безвозмездную собственность яснополянских крестьян.

Комитет предоставляет право выпустить одно издание сочинений (без права собственности) и предлагает «Ниве» полное собрание сочинений для приложения к этому журналу. А если «Нива» не пожелает, то комитет предлагает разделить право издания пополам и предоставить «Ниве» (за 150 тысяч рублей) выпустить приложение, а И. Д. Сытину (тоже за 150 тысяч) выпустить дешевое или дорогое издание, по его усмотрению.

Оба издателя принципиально согласились принять это предложение, но по вопросу о продажной цене издания между ними вышли разногласия.

Сытин предлагал выпустить сразу два издания: дешевое и дорогое — в 10 рублей и в 50 рублей.

А Маркс возражал против дешевого издания и настаивал, чтобы цена сытинских изданий была в 25 и 50 рублей.

Противоречие это было очень трудно устранить, и комитет поставил вопрос: не пожелает ли один из издателей взять все дело на себя и заплатить целиком 300 тысяч?

Чтобы избежать какого-либо торга при наследстве Толстого, я предложил Черткову самому избрать издателя, и Чертков, вполне резонно, остановил свой выбор на Марксе, мотивируя это тем, что при «Ниве» приложения даются бесплатно и, значит, задушевное желание Толстого, чтобы книги его были общей собственностью, в комбинации с «Нивой» ближе к своему осуществлению. К несчастью, однако, Маркс отказался от всякой сделки (он находил цену в 300 тысяч слишком высокой и убыточной), и дело снова повисло в воздухе.

Тогда комитет опять обратился ко мне.

— Не согласитесь ли, Иван Дмитриевич, принять на себя посмертное издание все целиком? Помогите нам выйти из этого положения...

Я посмотрел контракт, который был заключен с Марксом (но не был еще подписан), и согласился.

— Хорошо. Я согласен подписать договор на тех же условиях, какие были предложены Марксу.

Получив в свои руки литературное наследство Толстого, я распорядился им так: 10 тысяч полного собрания было пущено в продажу по 50 рублей и 100 тысяч — по 10 рублей.

Это последнее, десятирублевое, издание разошлось в приложениях к «Русскому слову» и другим периодическим изданиям, принадлежавшим нашему Товариществу.

Конечно, никаких барышей от этого издания наше Товарищество не получило. Мы свели лишь концы с концами. Я принял предложение наследников только потому, что считал долгом издательской совести помочь комитету распутать все узлы, завязавшиеся вокруг яснополянской земли.

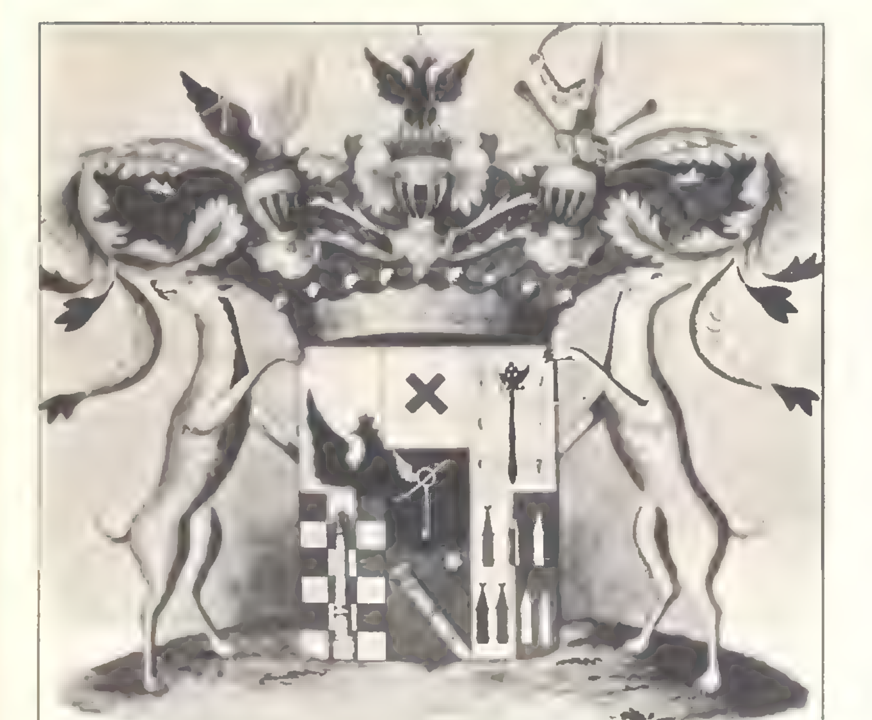
Мы все так бесконечно много были обязаны Льву Николаевичу, что не прийти на зов его наследников было бы делом самой черной неблагодарности.

●

---

[1] Стрельцов — московский издатель лубочных картин.

Журнал «Слово» (№ 2, 1989) в статье «Правда об опальном маршале» анонсировал готовившееся к печати десятое издание «Воспоминаний и размышлений» Г. К. Жукова. Сообщаем читателям, что широко известные мемуары Маршала Советского Союза, в которых восстановлены сокращения, сделанные в период застоя соответствующими идеологическими службами, в частности целая глава о 37-м годе, недавно вышли из печати в издательстве «Новости» (АПН). В них также значительно изменен и иллюстративный ряд — опубликовано большое число редких, малоизвестных фотографий.



ГЕРБ РОДА ТОЛСТЫХ

Великий русский писатель Л. Н. Толстой по своему происхождению принадлежал к очень древнему роду графов Толстых, родоначальником которого по праву считают Петра Андреевича Толстого (1645—1729), занимавшего пост дипломата, сенатора, президента коммерц-коллегии, начальника тайной канцелярии в царствование Петра Великого, высоко ценившего П. А. Толстого как государственного деятеля.

В 1722 году царь удостоил Петра Андреевича ордена св. Андрея Первозванного, в разное время ему было даровано 1695 крестьянских дворов. В день коронации императрицы Екатерины Алексеевны ему был жалован титул графа Российской империи. Диплом на графское достоинство П. А. Толстой получил 30 августа 1725 года. С тех пор из поколения в поколение в роду графов Толстых передавалась металлическая печать с изображением герба их рода, которая в настоящее время хранится среди мемориальных вещей Дома-музея Л. Н. Толстого в Ясной Поляне.

Герб рода графов Толстых — это запечатленная в символах увлекательнейшая и во многом поучительная история служения Отечеству одного из ярких представителей Петровской эпохи. Герб представляет собой щит, разделенный на семь частей: три — вверху, три — внизу, одна — в центре. Над ним графская золотая корона с девятью жемчужинами. Над короной три шлема: в центре — серебряный с графской короной и два железных по краям. Основа герба — его центральная часть. В ней размещен родовой герб Толстых, напоминающий о древности этого рода. В первой верхней части мы видим половину российского герба — имперского орла как символ графского достоинства Российской империи. Каждая из следующих частей щита говорит о заслугах Петра Андреевича Толстого перед государем и Отечеством. Крест святого Андрея Первозванного указывает на то, что Петр Андреевич первым в роду Толстых был удостоен этого ордена. Маршальский посох императорского двора свидетельствует о должности графа во время коронования в Москве Екатерины I. Тогда он был верховным маршалом, а по учреждении 13 мая 1727 года «Доимочной канцелярии» назначается ее директором.

В первой из трех нижних частей герба на шахматном поле посредине зеленого столба размещена золотая княжеская корона. Эта символика обращает нас к трагическим страницам русской истории. Известно, что именно Петр Андреевич сыграл особую роль в возвращении царевича Алексея из Неаполя на родину. Выполняя волю Петра I, он сумел уговорить Алексея Петровича примириться с отцом. А затем, будучи сенатором, участвовал вместе с Меньшиковым, Апраксиным, Головиным, Долгоруким и другими в следственных допросах по делу царевича и подписался под его смертным приговором.

Во второй нижней части герба столб с тремя «глобусами» и полярная звезда знаменуют придворный и военный чин П. А. Толстого. С 1671 по 1676 гг. он — стольник царицы Натальи Кирилловны, затем получил чин стольника «государева», был капитаном гвардии; с 1718 по 1721 гг. — президент учрежденной Петром I коммерц-коллегии.

Изображением турецкой семибашенной крепости Едикюмле отмечена заслуга П. А. Толстого на посту посла в Турции. Это назначение он получил в ноябре 1701 года, а в ноябре 1710 года, когда Турция решила начать войну против России, был схвачен и заключен в семибашенный замок, где провел около 17 месяцев; в декабре 1712 года турецкий султан, угрожая России, потребовал от нее вывода русских войск из Польши, и, ввиду неисполнения этого требования, вновь заключили в Семибашенный замок Толстого, а вместе с ним Шафирова и Шереметева. Освобожденные в марте 1713 года Толстой и Шафиров успешно провели переговоры и в июне 1714 года вернулись в Россию. Щит с указанными выше семью частями держат две борзые собаки, «знаменуя скорый и верный в делах успех» и, очевидно, преданность Петра Андреевича Толстого государю. Биографы писателя свидетельствуют, что Петр I любил сдергивать парик с головы П. А. Толстого, и, ударяя его по плеши, приговаривать: «Головушка, головушка, если бы ты не была так умна, то давно бы с телом разлучена была».

После смерти Петра I жизнь Петра Андреевича складывается трагически. Петр II, сын царевича Алексея, лишает его в 1727 г. «чина, чести и данных деревень» и вместе с сыном Иваном Петровичем приговаривает к заточению в тюрьме Соловецкого монастыря. Здесь он и скончался в 1729 г. Титул графа был возвращен лишь в 1760 г. прадеду Льва Николаевича Андрею Ивановичу Толстому дочерью Петра I императрицей Елизаветой Петровной.

Т. КОМАРОВА

АЛЕКСАНДРА ТОЛСТАЯ

ПРОБЛЕСКИ ВО ТЬМЕ

ТОВАРИЩ СТАЛИН

Не только опасность превратиться в обыкновенные советские учреждения, но и опасность разгрома постоянно висела над толстовскими учреждениями.

Толстовский Музей, директором которого я была назначена после отъезда сестры Тани за границу, был в лучших условиях, так как находился под защитой центра. Ясная же Поляна была под постоянным наблюдением нескольких десятков местных коммунистов. Как мухи, вились они над усадьбой, стараясь найти слабые места в нашей организации, в которые можно было бы нас ужалить. И хотя я и отмахивалась от них постановлением ВЦИКа и каким-то мифическим договором между ВЦИКом и мною, тем не менее я не переставала ни на минуту ощущать грозящую нам опасность.

Мысль о праздновании столетия со дня рождения отца (1828—1928) явилась у нас, главным образом, как самозащита. Коль скоро Советы согласятся устроить празднование, пригласить иностранных делегатов, и удастся даже и за границей нашуметь этим юбилеем, Советам придется некоторое время считаться с имением Толстого, и таким образом нам удастся сохранить Толстовские учреждения в неприкосновенности.

Мы подали докладные записки и сметы еще в 1926 году. План был разработан грандиозный:

издание Госиздатом совместно с редакционной группой Черткова и Товариществом Изучения Творений Толстого первого Полного собрания сочинений отца, в 90—93 тома. Сюда должно было войти все пропущенное ранее цензурой: его дневники, письма, неизданные произведения, варианты и прочее;

реорганизация толстовского Музея, перевод его в каменное здание, пополненное коллекцией и прочее;

ремонт зданий в Ясной Поляне, дома Музея, флигеля, бывшего скотного двора, построенного Волконским, восстановление всего дома Музея в прежнем его виде и к моменту ухода отца из Ясной Поляны (1910 г.). Постройка школы-памятника Толстому, больницы, общежития для учителей и многое другое.

Был назначен специальный юбилейный комитет под председательством Луначарского. В него вошли Чертков, Гусев, представитель от яснополянского крестьянства, председатель тульского Губисполкома, профессор М. Цявловский и другие. Комитет должен был продвигать все сметы во ВЦИКе и Совнаркоме, быть главным инициатором всего юбилейного дела. Но на самом деле комитет собрался раза два-три и почти ничего не сделал.

Да и трудно было что-либо делать. Денег не было. Хозяйство Ясной Поляны, в 1925 году перешедшее от Артели в ведение Музея-усадьбы, едва-едва себя окупало. С самого начала существования Наркомпрос был всегда самым бедным ведомством. Сметы подавались из года в год, но удовлетворялись лишь в малой части.

Первое крупное ассигнование на школу было сделано в 1925/1926 сметном году. Вместо того, чтобы строить школу, я закупила рощу в Калужской губернии и поручила агенту по лесным заготовкам заготовку дров. На следующее лето 1926 года мы вызвали юхонцев из Калужской губернии и приступили к выделке и обжиганию кирпича.

Наркомпрос был поставлен в тупик, когда получил отчеты о заготовке нескольких вагонов леса и выработке кирпича. По всей вероятности, ни одна школа не представляла еще подобных отчетов. Я представила доказательства, что на Тульских заводах кирпича купить нельзя было, и цена его была, вместо прежних довоенных 7 рублей, 70—80 рублей тысяча; и Наркомпрос объяснениями моими удовлетворился.

Сделали миллион кирпича, вывели стены и опять не хватило денег. Рабочие руки стоили недорого, но заработная плата рабочих увеличивалась чуть ли не на сорок процентов надбавками: на спецодежду, страхование, союз, банные деньги, культурно-просветительные расходы и прочее. С рабочими были постоянные неприятности. Партийцы из профсоюза строительных рабочих то и дело наведывались и возбуждали рабочих против заведующего работами: то не выдали спецодежду вовремя, то переработали, то жалованье уплатили не по тому разряду.

Я металась со сметами между Ясной Поляной и Москвой. С одного заседания на другое. То по издательству Полного собрания сочинений, то по толстовскому Музею, то по Товариществу Изучения Творений Толстого. В Ясной Поляне школьные совещания сменялись совещаниями по детским садам, по музею, по организации больницы.

А денег все не было.

Наконец я решила во что бы то ни стало добиться толка. Надо было увидать Сталина.

Мне пришлось съездить несколько раз в Москву, прежде чем я добилась аудиенции. Любезный секретарь каждый раз находил какую-нибудь причину, чтобы Сталин меня не принял.

Но я настойчиво добивалась своего.

ЦК партии помещается в большом доме в одном из переулков около Никольской. Внизу у входа меня остановили.

— Простите, товарищ, разрешите осмотреть ваш портфель.

— Пожалуйста.

Под щупающими глазами красноармейца я вошла в подъемную машину.

— К товарищу Сталину? Сюда, пожалуйста!

Маленькая приемная. Кругом три кабинета: Сталина, Кагановича и Смирнова.

Очень любезная, немолодая секретарша.

— Немного подождите. Товарищ Сталин занят.

Бесшумно отворяющиеся двери. Посетители направляются большей частью ко второму секретарю, Кагановичу. Чувствуется, что он играет крупную роль, гораздо крупнее, чем третий секретарь, Смирнов.

Я не слыхала, как открылась дверь, и вошел секретарь Сталина — молодой, необыкновенно приличного вида, человек.

— Пожалуйте!

Громадная, длинная комната, и в конце ее одинокий письменный стол. Сидевший за столом человек поднялся и, обойдя стол слева, пошел мне навстречу.

— Садитесь, пожалуйста! — сказал он с кавказским акцентом. — Чем могу служить?

Я сказала ему о предполагаемом юбилее, об общем плане и необходимых средствах для осуществления этого плана.

— Для меня важно решение вопроса, — сказала я, — будем ли мы что-либо делать или нет? Если да, то нужно немедленно провести ассигновки. Если не будем, то так мне и скажите, но я тогда не несу никакой ответственности...

— Сумму, которую юбилейный Комитет просит — не дадим. Но кое-что сделаем. Скажите, какую минимальную сумму нужно, чтобы осуществить ну... самое необходимое.

Как я вспомнила, Комитет первоначально запросил около миллиона рублей. Я быстро прикинула, что нам нужно в первую очередь: достроить школу, больницу, общежитие для учителей, ремонтировать такие-то здания и сказала ему.

— Хорошо, постараемся.

Для меня было ясно, что ему хотелось, чтобы я скорее ушла. Толстой, толстовские учреждения были ему безразличны. Большевики смотрели на этот юбилей как на средство пропаганды за границей и думали о том, как бы им отделаться от этого подешевле.

По внешности Сталин мне напомнил унтера из бывших гвардейцев или жандармского офицера. Густые, как носили именно такого типа военные, усы, правильные черты лица, узкий лоб, упрямый, энергичный подбородок, могучее сложение и совершенно не большевистская любезность.

Когда я уходила, он опять встал и проводил меня до двери.

ЮБИЛЕЙ 1828—1928 гг.

Несколько дней дождь лил, не переставая. Утопая в грязи, рабочие засыпали ямы, где обжигался кирпич, мостили дороги.

Вешались последние картины и устанавливались экспонаты в новом музее, устроенном во флигеле — бывшей школе Л. Н. Толстого.

Шли репетиции «Власти Тьмы» и некоторых пьесок, переделанных из детских рассказов Льва Николаевича. Дети рисовали программы торжества.

Бюст Толстого во весь рост стоял уже в нише у входа, из которого лестницы с двух сторон вели в главный зал.

За несколько дней до юбилея председатель Тульского Губисполкома послал за мной. Он хотел знать: как мы будем перевозить гостей со станции? где мы будем угощать гостей? кто будет переводчиком иностранцев? Последний вопрос разрешился очень просто: в нашем коллективе говорили на восьми языках.

28-го августа в 7 часов утра я поехала на станцию встречать гостей.

Лил проливной дождь. Двор маленькой, обычно пустынной станции Ясная Поляна теперь заставлен машинами, автобусами, присланными из Губисполкома. Небольшая группа любопытных, местные партийцы, представители яснополянских крестьян толпились на платформе, ожидая гостей.

Комиссар по Народному Просвещению товарищ Луначарский, окруженный целой свитой, первый вышел из вагона специального назначения. За ним вышли Книппер-Чехова, артистка Художественного театра, профессора, группа иностранцев, которые резко отличались своей хорошей одеждой, ботинками и перекинутыми через плечо фотографическими аппаратами. Они с любопытством смотрели вокруг, точно ожидая чего-то необычайного. Шныряли репортеры, фотографы, ища знаменитостей.

Официальное заседание, назначенное в это же утро, открыл председатель Тульского Губисполкома. Говорил он долго, повторялся, заикался на каждой фразе и наконец так запутался, что никак не мог закончить свою речь. Лицо его побагровело, покрылось каплями пота, но он никак не мог выбраться из тупика. Наконец он судорожно выхватил из кармана носовой платок, вытер им нос, лоб и шею и, не закончив свою речь, сел.

Простую, сердечную и прочувствованную речь ученика старшей группы Вити Гончарова все выслушали с вниманием. Да, пожалуй, по своей искренности и чистоте она была лучшей из всех. Речь заведующей учебной частью школы была слишком профессиональная, многие не поняли, что она хотела сказать. Я говорила плохо, не могла сосредоточиться.

Прекрасную речь, перемешивая русские слова со словацкими, произнес словак Вельминский, который раньше знал и любил моего отца. Заканчивая, он обратился к советскому правительству: «Мы все, иностранные гости, приехавшие на это торжество, обращаемся к советскому правительству с просьбой разрешить дочери Толстого Александре Львовне вести работу в Музее и школе Ясной Поляны, следуя заветам отца...» Голос у Вельминского оборвался, глаза покраснели: он не мог больше говорить.

Его горячая и прочувствованная речь меня глубоко тронула и вдохновила. Я должна была ему ответить, должна была высказать то, что было у меня на душе.

— Анатолий Васильевич, — обратилась я к Луначарскому, — я должна ответить!

— Что вы хотите сказать?

— Я хочу сказать об исключительном положении Ясной Поляны... О декрете...

— Слово предоставляется Александре Львовне Толстой!

«Пан или пропал, — думала я, — или они признают слова Ленина, что Ясную Поляну в память Л. Н. Толстого освобождают от коммунистической, антирелигиозной пропаганды, или же будут проводить, как и всюду, сталинскую политику».

— В то время, когда по всей России проводится милитаризм и антирелигиозная пропаганда, товарищ Ленин... и мы верим, что и в настоящее время Советское правительство, которое, чтит память Толстого, что мы видим по сегодняшнему торжеству, даст возможность...

Но не успела я окончить, как Луначарский вскочил:

— Мы не боимся, — громко, как привычный оратор, начал он свою речь, — не боимся, что ученики Яснополянской школы будут воспитываться в толстовском духе, столь противном нашим принципам. Мы глубоко убеждены, что молодежь из этой школы поступит в наши вузы, перемелется по-нашему, по-коммунистическому. Мы вытравим из них весь этот толстовский дух и создадим из них воинствующих партийцев, которые пополнят наши ряды и поддержат наше социалистическое правительство.

Это была обычная пропагандная речь, и последствия ее не сулили нам ничего доброго.

Луначарский с самодовольным видом человека, исполнившего долг, прошествовал вниз в сопровождении толпы. Гости образовали полукруг с двух сторон лестницы против ниши, в которой стоял бюст Толстого, завешанный белым полотном. Ждали торжественного момента официального открытия школы.

— Сегодня, в день столетнего юбилея Льва Николаевича Толстого, мы собрались здесь...

Я не верила своим ушам. В первой своей речи говорил Луначарский, — узкий, подчиненный своей партии марксист. Здесь у памятника Толстого говорил живой человек. Он говорил о величии Толстого, о его понимании и любви к людям, о том, какое сильное влияние Толстой имел на него, на Луначарского, когда он был юношей. Это была прекрасная, вдохновенная, искренняя и прочувствованная речь. Несколько раз звучный голос Луначарского прерывался от волнения. И когда он кончил, он сильным театральным жестом отдернул полотно с бюста Толстого. Церемония была закончена.

Иностранцы устали и проголодались: несколько часов они слушали непонятные им русские речи.

Ко мне подошел Стефан Цвейг и сказал:

— Вы не знаете, какое влияние имел на меня ваш отец! Я всегда боготворил его!

Окончание. Начало в №№ 9, 12/1989, № 3/1990.

Шведский делегат сказал мне несколько любезных слов на прекрасном английском языке. Вельминский вспоминал свое первое посещение Ясной Поляны и свой разговор с отцом. У одного из иностранных гостей пропал фотографический аппарат, и кто-то высказал предположение, что он был украден одним из корреспондентов.

После завтрака нам надо было показать гостям Дом-Музей, свести их на могилу отца, давать объяснения на нескольких языках. Было пасмурно, но дождя уже не было, когда мы отправились на могилу. Подойдя к ограде, все молча сняли шляпы. Кто-то нарушил молчание.

— Почему нет памятника, даже цветов?!

— Эти дубы лучший памятник, а цветы не цветут, мы пробовали, слишком много тени.

Вельминский и некоторые гости опустились на колени. Профессор Сакулин произнес короткую речь, и мы пошли обратно.

Учителя и сотрудники музея приглашали гостей к себе домой, отдохнуть.

— Посмотрите, как мы живем.

Но они отказались. Только несколько человек заколебались. «А где Луначарский? — и покосившись на группу коммунистов, тоже отказались. — Нет, спасибо, может быть, Луначарский будет недоволен, если мы отколемся от группы».

Мы не могли понять, чего боятся иностранные гости, — ведь они же свободные граждане, не то, что мы...

Вечернее представление имело громадный успех. Хор детей-школьников — около 250 человек — пропел, как мы это назвали, «Прославление Природы» из Девятой симфонии Бетховена. Пели из опер Римского-Корсакова, Чайковского. Витя прекрасно прочел: «Воспоминания крестьян о Л. Н. Толстом», которые он сам собрал среди крестьян Ясной Поляны и изложил в литературной форме. Высокий, красивый 16-летний юноша произвел прекрасное впечатление на публику. И когда в смешных местах публика громко смеялась, он, вороша свои темные курчавые волосы, останавливался и выжидал.

Но успех последнего номера программы превзошел все ожидания. Не успел открыться занавес, как раздались дружные аплодисменты. Картина действительно была красочная. На сцене около 20 яснополянских баб стояли полукругом разодетые в старинные русские наряды: белые расшитые рубахи, яркие желтые, красные с разводами сарафаны и паневы, отделанные золотым позументом. Наряды эти не носились бабами годами, а хранились на дне их сундуков вместе с другим добром.

Были приглашены лучшие запевалы и плясуны из яснополянской деревни. Бабы встали в круг, взялись за руки и запели хороводную. А старик Спиридоныч в ярко-красной рубахе и новых, густо смазанных дегтем, сапогах и широких плисовых шароварах и бабка Авдотья изображали посреди хоровода все, о чем пелась песня.

Грустные старинные песни сменялись плясовыми и свадебными. Под конец хор спел старинную плясовую «Не будите меня, молодую, рано по утру...». Плавно, словно играючи, держа платочек высоко над головой, выплыла из заднего ряда молодая девушка Паша Воробьева, а за ней выскочил пулей брат ее, Васька Воробьев, в белой расшитой рубахе и новых лаковых сапогах.

Васька вертелся, как бес, вокруг сестры, то выбивая чечетку, то идя вприсядку, прыгал, кружился... Весь зал встал и разразился аплодисментами.

— Браво, браво! — кричали в публике. — Брава! — кричали бабы и тоже в полном азарте хлопали в ладоши. Но больше всех выражали свой восторг иностранные гости...

А тем временем, как я узнала уже на другой день, внизу в канцелярии школы, корреспонденты-большевики сообщали по телефону в Москву сведения о праздновании юбилея. О самой школе и речах при открытии школы, о посетивших Ясную Поляну иностранных гостях, об успехе программы ничего не было сказано в газетах. «Правда» только нападала на правительство: как можно было допустить, что полуголодных детей заставляли петь псалмы.

Полуграмотные необразованные газетчики, не имеющие никакого понятия о классической музыке, приняли симфонию Бетховена за церковное пение.

ИТОГИ НАШИХ КОНКУРСОВ

Может быть, оттого, что конкурсы были посвящены жизни и литературной судьбе писателей (№ 2 — Б. Пастернака, № 3 — П. Ершова), то и читатели наши очень творчески подошли к ответам на заданные вопросы. Некоторые из них, как, например, В. А. Колбасова из Томска, не ограничивались одним письмом, посылая вдогонку первому — второе, с дополнительными подробностями. А читательница Н. С. Харитонова из Чистополя вместе с ответами направила в редакцию книжку «Чистопольские страницы». В ее родном городе, где в годы войны жил Борис Пастернак, бережно хранят память о писателе. Нина Степановна сообщила, что очень надеется на победу, так как видит выигранный приз экспонатом вновь открытого в родном городе музея Пастернака. Мы можем поздравить Н. С. Харитонову с заслуженной победой, а вместе с ней еще шестерых победителей: Эляну Балютавичюте из Вильнюса, В. Ф. Боякову-Задарновскую из Климовска Московской области, М. А. Иванцова из Алма-Аты, М. А. Кирьянову из Свердловска, В. А. Колбасову из Томска, А. В. Цветкова из Ворошиловграда.

Называем правильные ответы на вопросы конкурса, объявленного в № 2 «Слова» и посвященного творчеству Бориса Пастернака:

1. «Соната для фортепиано», издательство «Советский композитор», 1979.

2. «Охранная грамота», часть II, глава 16.

3. Очерки: «Освобожденный город», «Поездка в армию»; стихотворения: «Смерть сапера», «Преследование», «Разведчики».

Теперь — правильные ответы на вопросы конкурса, посвященного творчеству П. П. Ершова:

1. Д. И. Менделеев.

2. Оперетта Козьмы Пруткова «Черепослов», сиречь Френолог».

3. Цитата из оды Г. Державина «Вельможа».

4. Постановщик балета — А. Сен-Леон, автор музыки — Ц. Пуни. Режиссер фильма А. Роу.

Призы — пять экземпляров книги «Конек-горбунок» — редакция «Слова» разыгрывала совместно с Новосибирским отделением издательства «Детская литература».

Жюри конкурса признало лучшими ответы О. В. Гараниной из Дзержинска Горьковской области, Э. В. Кузнецовой из Челябинска, Л. Н. Макеевой из башкирского города Мелуза, М. В. Маслова из Владимира, москвички М. С. Смородиновой.

Поздравляем победителей!



**«И в то лето
по грехом нашим
придоша языци
незнаемы,
никто же весть
кто суть
и откопе изидоша
и что язык их
и вера и какого
племени суть,
а зовуть ся Татары».**

НОВГОРОДСКАЯ ЛЕТОПИСЬ.

МИХАИЛ КАРАТЕЕВ

БИТВА НА КАЛКЕ

Битва с татарами на реке Калке принадлежит к числу немногих, окончившихся для русского оружия бесславно: несмотря на высокую доблесть и стойкость отдельных полков и лиц, в ней русские потерпели страшное поражение.

Вероятно именно поэтому ею наши военные историки особенно не занимались. Впрочем, следует отметить тот достойный сожаления факт, что они вообще не уделили достаточного внимания подробному изучению планов, диспозиций и обстоятельств многих крупных сражений нашей древности, важнейших по своим историческим последствиям. Считается, что о них сохранилось слишком мало данных, которых едва достает на то, чтобы лишь в общих чертах представить себе картину происходившего. В большинстве случаев такое мнение ошибочно: данные обычно есть, но они чрезвычайно разрознены, часто противоречивы и вкраплены по крупицам в самые разнообразные исторические источники, русские и иностранные. При внимательном их изучении и сопоставлении, часто представляется возможным восстановить весьма существенные детали и дать схему того или иного сражения с достаточной точностью.

Возьмем для примера Куликовскую битву. Она считается хорошо изученной и во многих исторических трудах можно видеть ее схему, составленную еще в прошлом столетии и с тех пор не подвергшуюся никаким изменениям, несмотря на то, что были опубликованы некоторые новые материалы, которые позволяют ее уточнить и дополнить, не говоря уже о том, что военная мысль пришла теперь к выводам, в свете которых следует дать более правильную оценку тактики Дмитрия Донского.

Все мы в свое время учили, что это сражение было выиграно главным образом потому, что Дмитрий оставил в засаде отряд, который в решающую минуту ударил сбоку на татар и обратил их в бегство. Во всем этом можно усмотреть лишь естественную предусмотрительность опытного военачальника. Но дело представляется совсем иначе, если указать, что эта «засада» состояла из семидесяти тысяч воинов[1]. Тут уже становится очевидным не простое благоразумие, а подлинный военный гений Дмитрия, — первого в мировой истории полководца, который не побоялся выделить в резерв целую треть своего войска, вопреки «классической» доктрине того времени, предписывавшей сразу бросать в бой все наличные силы, чтобы подавить противника своей массой.

Интересно отметить, что первым последователем этой новой тактики Дмитрия Донского оказался великий азиатский завоеватель Тимур (Тамерлан). Трудно приписать простому совпадению то обстоятельство, что в сражении с ханом Золотой Орды Тохтамышем, на реке Кундурче, он расположил свое войско точно так же, как за одиннадцать лет до этого Дмитрий расположил свое на Куликовом поле. Но Тимур на этот раз все же не рискнул выделить достаточно сильный резерв и потому едва не проиграл битвы. Четыре года спустя, — в сражении с Тохтамышем на Тереке, — он это учел: при том же расположении войска резервы теперь были удвоены, что и принесло Тимуру блестящую победу.

Приведу еще одну деталь, показывающую, что эта эпопея не привлекла к себе должного внимания исследователей: принято считать, что известно сорок или сорок пять имен участников Куликовской битвы, тогда как из очерка, помещенного в этом же сборнике, видно, что таких имен сохранилось вчетверо больше.

И если так обстоит дело с изучением одного из самых лестных для нас сражений, где русское оружие покрыло себя бессмертной славой, то что уж и говорить о сражениях нами проигранных! О них просто предпочитают

---

[1] Эту цифру дает «Задонщина» — повесть Софония Рязанца, бывшего современником и вероятно очевидцем Куликовского сражения, а потому этот источник заслуживает наибольшего доверия. Все остальные описания этой битвы написаны позже.

Продолжение очерков М. Каратеева. Начало в № 8/1990 г.



Поле Куликово. Дмитрий Донской здесь выиграл знаменитую битву 610 лет назад.

Фото ВАЛЕРИЯ СУХОДОЛЬСКОГО

молчать. И это вдвойне досадно, так как в подобных случаях особенно важно найти детали и обстоятельства, освещающие истинные причины неудачи и могущие иногда реабилитировать русское воинство.

К таким особенно непопулярным у нас событиям относится и битва на Калке. Постараюсь обобщить все, что о ней известно из русских и иностранных источников, и на основе возможных из этого материала логических выводов дать схему самого сражения, которая мне представляется близкой к истине.

* * *

В 1222 году монголы, покончив с завоеванием Средней Азии, двинулись дальше, на запад, и одна из их орд, под водительством Джебе-нойона и Субедей-баатура, — лучших полководцев Чингиз-хана, — вторгнулась в половецкие степи. Старые русские историки считали, что эта орда прошла между Каспием и Уральскими горами, но это совершенно неверно[1]. Наши летописцы прямо пишут, что им неведомо, откуда пришли татары, а восточные, — прекрасно осведомленные обо всем, что касалось монголов, — говорят вполне определенно, что отряд Джебе и Субедея действовал перед этим в Азербайджане и в Грузии, откуда вышел в земли кипчаков (т. е. половцев), победив по дороге осетин.

Вот что пишет о походе Джебе и Субедея персидский историк Рашид ад-Дин:

«Из Гурджистана (Грузии) они направились к Дербенду Ширванскому, по пути захватив Шемаху[2], учинили там поголовное избиение и увели много пленных. Так как пройти через Дербенд было невозможно, они послали ширваншаху сказать: «пришли несколько человек для заключения с нами мира»... Он прислал десять своих вельмож, — одного монголы убили, а другим сказали: «если вы покажете нам путь через горы, мы вас пощадим, а иначе тоже убьем». И они из страха показали путь, и те прошли».

Таким образом, татарская орда пришла в половецкие степи с Кавказа. Половцы с нею уже встречались в землях осетин, которым они хотели оказать помощь против татар. Но последние наделили их подарками и уговорили не вмешиваться, обещая мир. Однако, покончив с осетинами, татары неожиданно напали на половцев и нанесли им страшное поражение. Главные их ханы, Юрий Кончакович и Данила Кобякович полегли в битве, уцелевшие бежали к берегам Днепра.

Тут следует пояснить, что половцы к этому времени уже не были дикими кочевниками, жившими грабежом русских земель. Они повсеместно переходили на оседлый образ жизни, имели крупные города (Сугров, Шарукань, Балин, Чешуев, Судан, Гуркипчак и другие) и были связаны с Русью тесными политическими, торговыми и бытовыми узами. Множество русских князей было женато на половчанках, половецкие ханы тоже женились на русских княжнах и принимали православие. В простом народе такое смешение шло еще интенсивней, — не зря половцев в ту пору прозвали на Руси «сватами». Все это, взамен прежней острой вражды, создавало общность интересов и постоянную необходимость взаимопомощи, а потому половецкий хан Котян Сутоевич теперь обратился к своему зятю, Галицкому князю Мстиславу Удалому и к другим русским князьям, прося у них помощи против нового грозного врага.

«Сегодня татары взяли нашу землю, а завтра и вашу полонят, если мы все дружно не встанем против них», — говорил он. Северные русские князья к его призывам остались глухи, но южные съехались в Киев на совещание, под главенством трех «великих»: Мстислава Романовича Киевского, Мстислава Мстиславича Галицкого и Мстислава Святославича Черниговского.

Самым горячим сторонником похода был Мстислав Удалой. Он говорил: «Если мы не поможем половцам, они соединятся с татарами и вместе нападут на нас». Князья спорили долго, но в конце концов уговоры Мстислава Удалого и щедрые подарки, на которые не скупился хан Котян, сделали свое дело: было решено, что «лучше встретить басурманов на половецкой земле, нежели на своей», и все согласились на совместный поход.

В нем, кроме трех великих князей, приняли участие: сын Киевского князя Всеволод и сын Черниговского — Василий, со своими дружинами, Даниил Романович Волынский, Михаил Всеволодович Переяславский[1], Владимир Рюрикович Смоленский, Олег Курский, Александр Туровский, Андрей Вяземский, Изяслав Луцкий, Александр Дубровецкий, Изяслав Каневский, Святослав Шумский, Юрий Несвижский, Мстислав «Немой» Пересопненский, князья Рыльский, Путивльский, Северский, Трубчевский, Торопецкий и другие. Суздальский великий князь Юрий Всеволодович тоже послал на помощь отряд под начальством своего племянника, князя Василия Константиновича Ростовского, но он вовремя не подошел на соединение с другими и в походе не участвовал.

Сбор был назначен на правом берегу Днепра, у Зарубинского брода, недалеко от города Канева. Галичане и волынцы приплыли сюда на ладьях[2], спустившись по Днестру в Черное море. Сушею со всех сторон подходили рати и дружины других князей.

Узнав об этих сборах, татары прислали своих послов с такими словами: «Мы с Русью войны не хотим и на вашу землю не посягаем. Воюем мы с половцами, которые всегда были вашими врагами, а потому, если они бегут теперь к вам, — бейте их и забирайте себе их добро». Выслушав послов, русские князья приказали их всех перебить.

Вскоре собралось огромное войско, которое выступило вместе, всею массой, но не имело общего командующего. Оно состояло из трех обособленных ратей, подчинявшихся соответственно старшим князьям: Мстиславу Киевскому, Мстиславу Галицкому и Мстиславу Черниговскому, к каждому из которых примкнули со своими ополчениями и дружинами зависимые от них удельные князья. Четвертый самостоятельный элемент этого сборного войска составляли половцы, подчинявшиеся хану Котяну, который из всех русских военачальников признавал только своего зятя — Мстислава Удалого. Котян перед выступлением в поход крестился в православную веру.

От Зарубинского брода двинулись вниз, правым берегом Днепра. Когда подошли к Олешью, прибыли новые татарские послы, которые сказали: «Мы вас ничем не обидели и обижать не хотели, но если вы поверили половцам, а не нам, убили наших послов и сами хотите войны, — пусть нас рассудит Бог!» — На этот раз послов отпустили живыми и начали переправу.

Первыми перешли на левый берег Даниил Романович Волынский и Мстислав Удалой с десятью тысячами воинов[3] и, обнаружив здесь передовой отряд неприятеля, смело ударили на него. После короткого, но кровопролитного боя татары были обращены в бегство, а их командующий Гани-бек убит. Тем временем перешли Днепр половцы и пустились в преследованье татар, а затем переправились и все русские полки.

Передовым отрядом выступили отсюда волынцы, во главе со своим князем, за ними в непосредственной близости следовали Мстислав Удалой с галичанами и половцы, остальные двигались сзади. Такой порядок следованья сохранялся до самого конца похода.

На четвертый или пятый день пути Даниил Романович догнал орду и, оповестив о том Мстислава Удалого, который быстро подоспел к нему на подмогу, — вступил с нею в бой. Татары стойкого сопротивления не оказали и скоро обратились в бегство. Волынцы их преследовали до самой темноты, рубя отстающих, и отбили много скота.

После этого русское войско еще восемь дней двигалось на восток, не видя неприятеля. Но на берегу реки Калки[4] их ожидал передовой отряд татар, который после короткого боя был отброшен за реку и вскоре скрылся из виду.

Мстислав Удалой приказал Даниилу Романовичу с волынцами перейти Калку и осмотреть местность на другом берегу. Эта разведка не обнаружила поблизости крупных сил неприятеля, а потому все русское войско, не опасаясь нападения во время переправы, перешло реку и расположилось на левом берегу тремя отдельными станами, на расстоянии нескольких верст один от другого.

Едва устроив свой стан, Мстислав Удалой лично выехал вперед, на разведку. Очевидно именно тут произошла его встреча с атаманом бродников[1] Плоскиней, который обещал ему свою помощь против татар и, видимо, укрепил его в мысли, что победа над ними будет легка. Есть данные, позволяющие думать, что Мстислав чем-то обидел Плоскиню или отказал ему в какой-то просьбе, и потому бродники, вопреки данной ими клятве, не только ничем ему не помогли, но, как известно, в битве на Калке сражались на стороне татар.

Так или иначе, Мстислав Удалой доехал до татарского стана и, оглядев его, пришел к заключению, что силы неприятеля не слишком велики и что будет нетрудно разбить их без помощи Киевского и Черниговского князей, стяжав для себя одного всю честь победы. Возвратившись назад, он приказал своему войску и половцам изготовиться к бою, в то время как два другие Мстислава в полнейшем о том неведеньи спокойно отдыхали в своих станах.

Битва началась утром 31 мая 1223 года. Относительно расположения трех русских станов и боевого порядка войска Мстислава Удалого известно только то, что в сражении на правом фланге у него находился Даниил Романович со своими волынцами. Однако, призвав на помощь косвенные данные и логику, можно почти с полной уверенностью определить и все остальное.

Многие русские историки совершенно неосновательно считают, что на левый берег Калки перешел только Мстислав Удалой, тогда как Киевский и Черниговский князья разбили свои станы на правом берегу, почему и не могли вовремя поспеть на помощь Удалому. Этой грубой ошибки не избежала и советская историческая энциклопедия, в которой читаем: «князь Галицкий Мстислав Удалой, Волынский князь Даниил и половцы перешли через Калку, другие князья остались на западном берегу».

Это противоречит и логике, и летописным данным. Прежде всего, обратившиеся в бегство половцы не могли бы по пути смять стан Черниговского князя, — как отмечают все летописи, — если бы он находился на другом берегу. В новгородской летописи сказано совершенно определенно: «Князи рускии поидоша все въкупе и заидоша за Калак реку, а послаша в сторожжах Яруна с половцы, а сами сташа тут». В Симоновской летописи и у Татищева тоже находим: «Князь же великий (Киевский) перешедь реку Калку ста, а Мстислав Мстиславович (Удалой) иде с полком своим за татары и послан в сторожу Яруна с половци».

Таким образом, не может быть никакого сомнения в том, что все русское войско перешло Калку и расположилось на ее левом, восточном берегу тремя отдельными станами. Центральным, несомненно, был стан Мстислава Удалого: он все время шел впереди и находился в соприкосновении с неприятелем, догнав которого, остановился прямо перед ним, выдвинувшись, как отмечают летописи, немного вперед и выслав в сторожевое охранение половцев, под начальством одного из их князей — Яруна.

Стан Киевского князя находился на самом берегу реки, — это мы знаем совершенно точно из летописей. Приведем выдержку хотя бы из новгородской: «Мьстислав же Кыевскый князь став на горе над рекою, нвд Калкомь бо бе то место камянисто и тут устрои город округ себе на колех». Следовательно, он стоял позади и, как будет видно из дальнейшего, — справа от войска Мстислава Галицкого.

Продолжение следует.

87

[1] Этот взгляд опровергли Б. Д. Греков и А. Ю. Якубовский.
[2] Город Шемаха — столица Ширванского ханства.

[1] Будущий великий князь Черниговский, святой Михаил.
[2] Летописи указывают цифру в 2.000 ладей.
[3] Некоторые летописи указывают цифру в 20.000.
[4] Калка, — ныне Кальчик, — приток реки Кальмиуса, впадающей в Азовское море.

[1] Бродники — полуразбойничья вольница, состоявшая из всевозможного беглого люда, собиравшегося в низовьях Днепра и к этому времени представлявшая собой значительную и хорошо организованную общину.

Литературно-художественный
и общественно-политический
журнал Госкомпечати
СССР
Издается с сентября 1936 года.
№ 9. 1990.



ЖУРНАЛ
РЕДАКТИРУЮТ:

Художественно-технический
редактор **Е. М. Верба**
Технический редактор
Н. Н. Козлова
Корректор **М. Х. Асалиева**

Сдано в набор 24.05.90.
Подписано в печать 03.0В.90.
Формат В4×108¹/₁₆.
Бумага Знаменская 100 гр.
Печать глубокая и офсетная.
Усл. печ. л. В,40+0,В4+0,42.
Усл. кр.-отт. 21,42.
Уч.-изд. л. 14,16+1,13.
Тираж 238 000 экз.
Заказ 1318.
Цена 90 коп.

Адрес редакции:
129272, Москва,
Сущевский вал, 64
Телефон для справок: 281-50-98

Ордена
Трудового Красного Знамени
Тверской полиграфкомбинат
Госкомпечати СССР.
170024, г. Тверь,
проспект Ленина, 5.

В НОМЕРЕ:



Какой Троицын день
был вчера. Какая обедня
с вянущей черемухой,
седыми волосами и
яркокрасным кумачом
и горячее солнце.

Из письма Л. Н. Толстого А. А. Фету,
12 мая 1858 г.